

ЛУЧШАЯ КНИГА GOODREADS 2017 ГОДА ПЕРЕВЕДЕНА НА 30 ЯЗЫКОВ

СЕЛЕСТАМИГ И
ПОВСЮДУ
ТЛЕЮТ
ПОЖАРЫ



РОМАН



Annotation

Летом в Шейкер-Хайтс только о том и говорили, что Изабелл, младшенькая Ричардсонов, все-таки спятила и спалила дом...

В Шейкер-Хайтс, спокойном и респектабельном городке, все тщательно спланировано – от уличных поворотов и цветников у домов до успешной жизни его обитателей. И никто не олицетворяет дух городка больше, чем миссис Ричардсон, идеальная мать и жена. Но однажды в этом царстве упорядоченной жизни появляется художница Мия Уоррен. У миссис Ричардсон – роскошный дом, жилище Мии – маленький “фольксваген-кролик”. У одной есть все, но живет она в клетке из правил. У другой нет ничего, но она свободна как ветер. И в то же время так ли уж далеки они друг от друга? У обеих – дети-подростки, в которых до поры до времени тлеют пожары, и однажды пламя с ревом вырвется и попытается поглотить все вокруг. Столкновение двух миров – порядка и хаоса – окажется сокрушительным для обеих, но одновременно и подарит новую надежду. Второй роман автора интеллектуального бестселлера “Все, чего я не сказала” – это захватывающая история двух семей, в которой много пластов, нет деления на черное и белое, нет деления на героев и антигероев. В книге сплетена сложная сеть – из нравственных принципов, чувств, амбиций, ошибок прошлого. Селеста Инг постоянно меняет ракурс, она подает историю с точки зрения всех участников драмы, и от этого возникает ощущение полного погружения в созданный ею мир, а от детективной непредсказуемости и триллерного темпа кружится голова.

- [Селеста Инг](#)

-
-
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)

- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [Благодарности](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)

- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)

- [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
 - [61](#)
-

Селеста Инг

И повсюду тлеют пожары

© 2017 by Celeste Ng

© Анастасия Грызунова, перевод с английского, 2018

© Андрей Бондаренко, оформление, 2018

© “Фантом Пресс”, издание, оформление, 2018

* * *

*Тем, кто
выбрал свою дорогу
и в пути запалывает
пожары*

Вы покупаете участок под застройку в Школьном округе, большое поместье в пригороде или дом в одном из городских районов, представленный в ассортименте нашей компании? Вместе с покупкой вам предоставляются условия для занятий гольфом, верховой ездой, теннисом, греблей, непревзойденные школы, а также пожизненная гарантия от снижения стоимости вашего имущества и от нежеланных перемен.

*Рекламное объявление
“Компании «Ван Сверинген»”,
создателей и застройщиков
Шейкер-Виллидж*

Но в сущности, если разобраться, жители Шейкер-Хайтс ничем не отличаются от прочих американцев. Да, у них по три или четыре автомобиля на семью вместо одного-двух, по два

телевизора в доме вместо одного, а когда девушка из Шейкер-Хайтс выходит замуж, у нее, вероятно, прием на восемьсот персон и оркестр Мейера Дэвиса^[1] из Нью-Йорка, а не свадебный ужин на сто человек с местным оркестром, но все это – отличия количественные, а не качественные. “Мы – люди дружелюбные, и живется нам чудесно!” – недавно сказала одна дама в Загородном клубе Шейкер-Хайтс и была права: обитатели Утопии, похоже, и в самом деле живут довольно счастливо.

“Славная жизнь в Шейкер-Хайтс”, “Космополитен”, март 1963 г.

Летом в Шейкер-Хайтс только о том и говорили, что Изабелл, младшенькая Ричардсонов, все-таки спятила и спалила дом. Всю весну судачили о маленькой Мирабелл Маккалла – или о Мэй Лин Чжоу, кто за кого болеет, – а теперь наконец появилась новая дивная сенсация. В ту майскую субботу покупатели, катая тележки по “Хайненз”, вскоре после полудня услышали, как пожарные машины спросонок взвыли и помчались к утиному пруду. К пятнадцати минутам первого четыре машины корявой красной шеренгой выстроились вдоль Парклендрайв, где горели ясным пламенем все шесть спален дома Ричардсонов, и за полмили видно было, как над деревьями густо-черной грозовой тучей клубится дым. Позднее люди скажут: мол, уж сто лет как следовало догадаться, Иззи-то – малолетняя психичка, с Ричардсонами вообще не все *гладко*, а в то утро, едва завыли сирены, стало понятно *сразу*, что случилась ужасная беда. Само собой, Иззи к тому времени уже давно исчезла, защитить ее было некому, болтай что вздумается – и люди болтали. Но когда прибыли пожарные машины, да и потом, еще довольно долго, никто не понимал, что творится. Соседи толпились поближе к кустарному кордону – в нескольких сотнях ярдов от дома мостовую наискось перегородил патрульный автомобиль – и смотрели, как пожарные угрюмо, явно не надеясь на успех борьбы с огнем, разматывают шланги. Казарки в пруду через дорогу совали головы под воду в поисках водорослей – их эта катавасия ничуть не взволновала.

Миссис Ричардсон стояла на древесной полосе, тиская ворот бледно-голубого халата. Когда заверещали детекторы дыма, миссис Ричардсон еще спала, хотя времени было уже за полдень. Она поздно легла и нарочно решила не вставать: сказала себе, что после трудного дня она это заслужила. Вечером накануне она посмотрела из окна наверху, как к дому наконец-то подъехала машина. Дорожка перед домом длинная и округлая – долгая дуга-подкова, от обочины до парадной двери и назад к обочине, – до улицы футов сто, слишком далеко, толком ничего не разглядишь, и вдобавок, хоть на дворе и май, к восьми вечера уже почти стемнело. Но миссис Ричардсон узнала сияющий фарами маленький бежевый “фольксваген” квартирантки

Мии. Пассажирская дверца открылась и, не захлопнувшись, выпустила наружу худенькую фигурку – Пёрл, дочь Мии. Лампа залила салон светом, как витрину, но “фольксваген” до потолка был забит сумками и чемоданами, и миссис Ричардсон еле разглядела смутный абрис головы Мии с лохматым хохлом на макушке. Пёрл наклонилась к почтовому ящику, и миссис Ричардсон вообразила слабый взвизг – ящик открылся и закрылся вновь. Пёрл прыгнула в машину и хлопнула дверцей. Стоп-сигналы вспыхнули красным, погасли, и “фольксваген” запыхтел дальше, в сгущающуюся ночь. Вздыхая с облегчением, миссис Ричардсон сходила к почтовому ящику, где нашла ключи на кольце и не нашла записки. С утра она собиралась зайти в сдающийся дом на Уинслоу-роуд и проверить, хотя и так знала, что жильцы съехали.

Вот поэтому миссис Ричардсон и разрешила себе поспать, а теперь уже половина первого, и она в халате и кедах своего сына Трипа стоит на древесной полосе и смотрит, как ее дом сгорает дотла. Проснувшись от пронзительных воплей детекторов, она кинулась по комнатам искать Трипа, и Лекси, и Сплина. Сейчас она сообразила, что не искала Иззи, – будто знала, что это Иззи виновата. Все спальни пустовали – только пахло бензином и посреди кроватей потрескивали костерки, точно свихнувшаяся гёрлскаут разбивала там лагерь. К тому времени, когда миссис Ричардсон заглянула в салон, и в семейную гостиную, и в комнату отдыха, и в кухню, по дому уже пополз дым, и тогда она выскочила наружу, где и услышала, как на зов домашней сигнализации мчатся пожарные сирены. На дорожке не было ни Трипова джипа, ни “эксплорера” Лекси, ни велосипеда Сплина, ни, конечно, седана ее мужа. Тот субботними утрами обычно уезжал в офис – навестать недоделанное. Кто-то должен позвонить ему на работу. Тут миссис Ричардсон вспомнила, что Лекси, слава богу, ночевала у Сирины Вон. Интересно, куда подевалась Иззи. Интересно, где сыновья. Как их найти, как рассказать, что случилось.

* * *

Когда пожар потушили, оказалось, что дом, вопреки опасениям миссис Ричардсон, сгорел не вполне дотла. Оконные стекла

повылетали, но влажная и почерневшая кирпичная скорлупа стояла, исходя паром, и сохранилась почти вся крыша – свежеумытая темная черепица поблескивала, точно рыба чешуя. Еще несколько дней Ричардсонов в дом не пустят – сначала пожарные инспекторы проверят все уцелевшие балки, – но даже с древесной полосы (ближе не пройдешь из-за желтой ленты с надписью “ОСТОРОЖНО”) было видно, что спасать в доме особо нечего.

– Господи боже, – сказала Лекси.

Она припарковала машину через дорогу от дома, на травянистом берегу утиног пруда, и сидела на крыше. В начале первого Лекси и Сирина еще спали, свернувшись калачиком спина к спине в широченной Сириной постели, и тут доктор Вон потрясла Лекси за плечо и зашептала: “Лекси. Лекси, милая. Просыпайся. Твоя мама звонила”. Обе уснули в третьем часу ночи, болтали – как и всю весну – о маленькой Мирабелл Маккалла, спорили, правильно ли решил судья, стоило ли отдать ее под опеку новым родителям или вернуть родной матери. “Да блин, ее и зовут-то даже не Мирабелл Маккалла”, – в конце концов сказала Сирина, и после обе сердито, тревожно молчали, пока не заснули.

А теперь Лекси смотрела, как дымные клубы выплывают из окна ее спальни – фасадного, над древесной полосой, – и думала о том, что утрачено. Все футболки в комод, все джинсы в гардеробе. Все записки, которые Сирина писала ей с шестого класса, по-прежнему свернутые в бумажные мячики, – Лекси хранила их в обувной коробке под кроватью; и сама кровать, и простыни, и одеяло тоже погибли. Розовый букетик, который подарил ей на осенний бал Брайан, – букетик сох на туалетном столике, рубиновые лепестки потемнели запекшейся кровью. А теперь остался только пепел. Лекси – в сменной одежде, которую брала к Сирина, – вдруг сообразила, что ей повезло больше всех: на заднем сиденье у нее сумка, джинсы, зубная щетка. Пижама. Лекси глянула на братьев, на мать в халате. “У них же нет буквально ничего – только то, что на них”, – подумала она. “Буквально” – одно из любимых слов Лекси, и она прибежала к нему, даже когда ситуация была решительно небуквальна. Сейчас, в кои-то веки, оно было плюс-минус уместно.

Рядом Трип пальцами отрешенно расчесал волосы. Солнце уже взобралось высоко, и пропотевшие кудри Трипа ухарски встали

дыбом. Когда завывали пожарные сирены, Трип играл в баскетбол в общественном центре и ничего такого не заподозрил. (Нынче утром он был особенно задумчив, но, если честно, скорее всего, ничего не заметил бы по-любому.) В час дня, когда все проголодались и решили свернуть игру, Трип поехал домой. Верный себе, он даже с опущенными стеклами не разглядел, что впереди клубится громадная дымная туча, и догадался, что дело дрянь, лишь увидев патрульную машину поперек улицы. Десять минут он объяснялся с полицейскими, после чего ему наконец разрешили припарковать джип напротив дома, там, где уже устроились Сплин и Лекси. Все трое сидели на крыше, по порядку, как на семейных портретах, что некогда висели на лестнице, а теперь стали золой. Лекси, Трип, Сплин: двенадцатый класс, одиннадцатый, десятый. Подле себя они чуяли дыру на месте девятиклассницы Иззи – темной лошади, паршивой овцы, – хотя пока еще не сомневались, что дыра эта временна.

– Она совсем с дуба рухнула? – буркнул Сплин, а Лекси ответила:

– Да она *сама* понимает, что перегнула палку, потому и сбежала.

Когда вернется, мама ее убьет.

– А где мы будем жить? – спросил Трип.

Распустилась пауза – все обдумывали положение.

– Номер в гостинице, наверное, снимем, – наконец сказала Лекси. – Родители Джоша Трэммела, по-моему, в гостинице жили.

Известная история: несколько лет назад Джош Трэммел из десятого класса уснул, не потушив свечу, и сжег родительский дом. По школе ходили упорные слухи, что это была вовсе никакая не свеча, а косяк, но дом сгорел дотла, уже не узнаешь, а Джош от свечной версии не отступался. По сей день все называли его “этот дебильный качок, который поджег дом”, хотя с тех пор прошла целая вечность, а Джош недавно закончил Университет Огайо с отличием. Теперь-то, конечно, пожар у Джоша Трэммела лишится пальмы первенства в забеге знаменитых пожаров Шейкер-Хайтс.

– Один номер? На всех?

– Ну два номера. Без разницы. Или “Посольские апартаменты”. Не знаю. – Лекси побарабанила пальцами по коленке. Хотелось сигарету, но после такого – да еще на виду у матери и десятка пожарных – закурить боязно. – Мама с папой разберутся. А страховка все покроет.

В страховках она мало что понимала, но вроде похоже на правду. И вообще, это взрослые дела – дети тут ни при чем.

Последние пожарные выходили из дома, стаскивая противогазы. Дым почти рассеялся, но все заволочла влажная духота, как в ванной после долгого горячего душа. Крыша машины нагрелась, и Трип вытянул ноги по ветровому стеклу, носком вьетнамки потрогал дворники. И засмеялся.

– Что смешного? – спросила Лекси.

– Да представил, как Иззи бегаёт по дому и спичками чиркает. – И он фыркнул. – Во психованная.

Сплин провел пальцем по багажнику.

– А чего все так уверены, что это она?

– Да ладно тебе. – Трип прыгнул на землю. – Конечно, *Иззи*. И мы же все здесь. Мама здесь. Папа едет. Кого не хватает?

– Ну, Иззи нету. И что – поэтому непременно она несет ответственность?

– *Ответственность?* – встряла Лекси. – Иззи?

– Папа был на работе, – сказал Трип. – Лекси – у Сирины. Я в Сассексе, в баскетбол играл. Ты?

Сплин замялся.

– Я на велике в библиотеку ездил.

– Ну вот видишь? – Разгадка очевидна, считал Трип. – Здесь были только Иззи и мама. И мама спала.

– Может, проводку закоротило. Или плиту не выключили.

– Пожарные сказали, что повсюду горели костры, – возразила Лекси. – Множественные источники возгорания. Не исключено использование горючих веществ. Не случайность.

– Она всегда была чокнутая, всем же понятно. – Трип спиной привалился к дверце.

– Ты вечно к ней цепляешься, – ответил Сплин. – Может, она потому и ведет себя как *чокнутая*.

Пожарные машины уже втягивали в себя шланги. Трое младших Ричардсонов посмотрели, как пожарные откладывают топоры и снимают закопченные желтые куртки.

– Надо кому-нибудь с мамой побыть, – сказала Лекси, но никто не двинулся с места.

Спустя минуту Трип заметил:

– Мама с папой запрут Иззи в психушку на всю жизнь, когда найдут.

Об отъезде Мии и Пёрл из дома на Уинслоу-роуд никто и не вспомнил. Глядя, как капитан пожарной команды аккуратно делает пометки на планшете, миссис Ричардсон забыла о бывших жильцах напрочь. Мужу и детям она еще не сказала; Сплин обнаружил их отъезд лишь сегодня поутру и пока не знал, что и думать. Вдалеке на Паркленд-драйв показалась голубенькая точка – отцовский БМВ.

– С чего ты взял, что ее найдут? – спросил Сплин.

Год назад, в июне, когда Мия и Пёрл поселились в съемном домике на Уинслоу-роуд, ни миссис Ричардсон (формальная владелица дома), ни мистер Ричардсон (который отдавал ключи) про новых жильцов толком и не задумывались. Знали, что мистера Уоррена нет в природе, что Мие, судя по мичиганским водительским правам, которые она предъявила, тридцать шесть лет. Оба отметили, что кольца на безымянном пальце она не носит, зато носит много других колец: крупный аметист на указательном, колечко из черенка серебряной ложки на мизинце и еще одно на большом, в котором миссис Ричардсон заподозрила кольцо настроения. Но Мия была вроде ничего, и дочь ее Пёрл тоже – тихая пятнадцатилетняя девочка с длинной темной косой. Мия уплатила за первый и последний месяцы и залог пачкой двадцатидолларовых купюр, и бежевый “фольксваген-кролик” – уже тогда весьма помятый – попыхтел по Паркленд-драйв к югу Шейкер-Хайтс, где застройка теснее, а дворы поменьше.

Уинслоу-роуд – сплошная череда двухквартирников, но с тротуара этого и не разглядишь. С улицы видно только парадную дверь (одна штука), фонарь над парадной дверью (одна штука), почтовый ящик (одна штука), номер дома (тоже одна штука). Можно, пожалуй, засечь два электросчетчика, но они – по муниципальному указу – прячутся на задах вместе с гаражом. И только из прихожей открываются две внутренние двери – в верхнюю квартиру и в нижнюю – и вход в общий подвал. В домах на Уинслоу-роуд жило по две семьи, но дома прикидывались, будто семья у них внутри одна. Так спроектировали нарочно. Так жильцы не несли на себе клейма обитателей двухквартирных домов (то есть съемщиков, а не домовладельцев), а градостроители сохраняли облик улицы: всем известно, что районы со съемным жильем менее привлекательны.

И так в Шейкер-Хайтс всё. Здесь были правила, куча правил, что можно, что нельзя, и Мия с Пёрл, поселившись в новом доме, взяли их учить. Научились писать свой новый адрес: Уинслоу-роуд, 18434, Верх – прибавлять это последнее слово, чтобы почта попадала к ним, а не вниз к мистеру Яну. Узнали, что полоска травы между тротуаром и улицей называется *древесной полосой* – потому что осенена молодым

остролистным кленом, по одному деревцу на дом, – и что мусор по пятницам надо не выволакивать на улицу, а оставлять на задах, дабы избавить город от неприглядного зрелища помойных баков на тротуаре. Люди в оранжевых комбинезонах носились по дорожкам на крупных мотороллерах, укромно собирали мусор по задним дворам и отвозили к большому мусоровозу, урчавшему на улице, и Мия на много месяцев запомнит свою первую пятницу на Уинслоу-роуд – как она перепугалась, когда под окном кухни, точно пылающий гольфмобиль на полных оборотах, с ревом промчался мотороллер. Со временем Мия и Пёрл привыкли, как привыкли к отдельному гаражу – в глубине двора, тоже ради красоты улицы, – и не забывали брать зонтик, чтобы не мокнуть, в дождливые дни перебегая от машины к дому. Позже, когда мистер Ян на две недели в июле уехал к матери в Гонконг, Мия и Пёрл узнали, что некошенный газон вызывает вежливое, но суровое письмо из муниципалитета: уведомление о том, что трава стала выше шести дюймов и, если положение не исправится, муниципалитет через три дня выкосит ее сам – и возьмет с жильцов сотню долларов. Пришлось учить очень много правил.

А были и другие правила, о которых Мия и Пёрл догадаются отнюдь не сразу. К примеру, в какой цвет полагается красить дома. В помощь жителям муниципалитет составил табличку, все дома классифицировал – тюдоровские, английские, французские – и расписал архитекторам и домовладельцам приемлемую гамму. Ради эстетической гармонии на каждой улице дома “английского стиля” дозволялось красить только в аспидно-голубой, мшисто-зеленый или один конкретный тон бежевого; тюдоровские дома требовали особого оттенка кремового на штукатурке и особого оттенка темно-коричневого на древесине. В Шейкер-Хайтс было спланировано всё. В 1912 году, когда закладывали город – одно из первых плановых поселений в стране, – школы расположили так, чтобы все дети добирались туда, не переходя крупных улиц, переулки впадали в широкие проспекты, а в стратегических местах расположили остановки скоростного транспорта, доставлявшего пассажиров в центр Кливленда. Более того, девиз города – *буквально*, как сказала бы Лекси, – гласил: “Большинство сообществ складываются; лучшие – планируются”; согласно философии, на которой зиждилось это

сообщество, все может – и должно – быть спланировано во избежание невзрачностей, неприятностей и катастроф.

Но в первые недели город выказывал и другие знаки – знаки гостеприимства. В перерывах между уборкой, и покраской, и распаковкой Мия и Пёрл выучили имена окрестных улиц: Уинчелл, Латимор, Линнфилд. Освоили маршрут внутри местного продуктового “Хайненз”, где, говорила Мия, с покупателями носятся, как с аристократами. Здесь не нужно было выкатывать тележку на стоянку: носильщик в отглаженной поплиновой рубашке вешал на тележку номерок, а другой номерок, красно-белый, отдавал тебе. Цепляешь номерок на окно машины и подгоняешь ее ко входу в магазин, где другой носильщик выкатит тележку, опрятно уложит покупки в багажник и откажется от чаевых.

Они узнали, где всего дешевле бензин – на углу Ломонд и Ли-роуд всегда на цент меньше, чем на остальных бензоколонках, – где находятся аптеки и в каких дают двойные бонусы. Узнали, что в соседних Кливленд-Хайтс, и Уорренсвилле, и Бичвуде жители выставляют ненужное на тротуар, как простые смертные, и выяснили, где по каким дням вывозят мусор. Узнали, где купить молоток, и отвертку, и кварту краски, и кисть – все продается в хозяйственном магазине “Шейкер”, но только с половины десятого до шести вечера, а в шесть владелец отправляет сотрудников по домам ужинать.

А Пёрл совершила открытие: она открыла семейство Ричардсон – домовладельцев и их детей.

Первым домик на Уинслоу освоил Сплин. Он услышал, как мать описывает отцу новых жильцов.

– Она какая-то художница, – сказала миссис Ричардсон, а когда мистер Ричардсон спросил, какая же, пошутила: – Бедствующая.

– Да ладно, нормально, – утешил ее муж. – Она мне сразу внесла весь залог.

– Это не значит, что она будет платить за аренду, – возразила миссис Ричардсон, но оба понимали, что дело не в аренде – всего триста долларов в месяц за второй этаж, без этих денег они бы уж точно обошлись.

Мистер Ричардсон был адвокатом, миссис Ричардсон работала в местной газете “Сан-пресс”. Дом на Уинслоу – у них в необремененной собственности; родители миссис Ричардсон вложили

в него деньги, когда она еще была школьницей. Аренда помогла ей отучиться в колледже Денисон и стала ежемесячным “подспорьем” – как выражалась мать, – когда миссис Ричардсон только начала работать репортером. Затем, когда она вышла за Билла Ричардсона и стала, собственно, миссис Ричардсон, эти деньги помогли внести первый платеж за их прекрасный собственный дом – тот самый дом на Паркленд, что впоследствии сгорит у миссис Ричардсон на глазах. Когда ее родители умерли – пять лет назад, с разницей в несколько месяцев, – она унаследовала дом на Уинслоу. Под конец родители переехали в дом престарелых, и жилище, где выросла миссис Ричардсон, продали. А дом на Уинслоу оставили, плата за аренду перечислялась на уход, и впоследствии миссис Ричардсон тоже его сохранила – из сентиментальных соображений.

Нет, дело не в деньгах. Плата за аренду – все пятьсот долларов за обе квартиры – ежемесячно вносилась в отпускной фонд Ричардсонов, и в прошлом году семья на эти деньги съездила на Мартас-Виньярд, где Лекси отточила плавание на спине, а Трип заморозил всех местных девиц, а Сплин сгорел на солнце до хрусткой облезающей корочки, а Иззи, когда ее наконец уломали, согласилась сходить на пляж – в одежде, в “док-мартенсах” и злобно пылая глазами. Но если по правде, на отпуск хватило бы с лихвой и без аренды. И поскольку эти деньги не были *нужны*, миссис Ричардсон было важно, *кто* живет на Уинслоу. Приятно думать, что дом используется на доброе дело. Родители привили миссис Ричардсон привычку делать добро; каждый год жертвовали деньги в Общество защиты животных и ЮНИСЕФ, всегда посещали местные благотворительные приемы, а однажды выиграли трехфутового плюшевого медведя на закрытом аукционе “Ротари-клуба”. Миссис Ричардсон почитала дом своего рода благотворительностью. Аренду не повышала – в Кливленде недвижимость дешева, а вот квартиры в хороших районах, в Шейкер-Хайтс например, дороговаты – и сдавала только тем, кто, по ее мнению, заслужил, но по той или иной причине не получил в жизни шанс. Приятно восполнять эту недостачу.

Унаследовав дом, первым она поселила туда мистера Яна; он иммигрировал из Гонконга в Соединенные Штаты, никого тут не зная, и говорил на очень фрагментарном английском с густым акцентом. С годами акцент почти не сгладился, и, беседуя с мистером Яном, миссис

Ричардсон порой переходила на кивки и улыбки. Однако она чувствовала, что мистер Ян – хороший человек; он работал не покладая рук, рулил школьным автобусом соседней “Академии Лорел”, частной школы для девочек, и еще трудился разнорабочим. Жил он один на скудные доходы и ни за что не смог бы себе позволить такой приятный район. Очутился бы в серости тесной квартирке где-нибудь вблизи от Бакай-роуд, а еще вероятнее – в неприветливом треугольнике Восточного Кливленда, сходявшем за городской Чайна-таун, где жилье подозрительно дешево, каждое второе здание заброшено и минимум раз за ночь воют сирены. Вдобавок мистер Ян содержал дом в безукоризненном порядке: чинил протекшие краны, латал бетон перед фасадом и уговорил задний двор размером с почтовую марку расцвести роскошным садом. Каждое лето мистер Ян привозил миссис Ричардсон собственноручно выращенные зимние тыквы – свою десятину, – и миссис Ричардсон, хотя и не постигала, что с ними делать (они зеленые, морщинистые и мохнатые, брр), ценила такую заботу. Мистер Ян – безупречный жилец: добрый человек, миссис Ричардсон может выказать ему доброту, и он эту доброту оценит.

Но вот с верхней квартирой не задалось. Жильцы сменялись примерно раз в год: виолончелист, только что нанятый преподавать в Институте музыки; разведенка за сорок; молодожены едва-едва из Кливлендского университета. Все они заслуживали небольшого подспорья – так миссис Ричардсон это трактовала. Но никто не задерживался надолго. Виолончелисту отказали в должности первой виолончели Кливлендского оркестра, и он уехал из города, окутанный грозовой тучей злобы. Разведенка вновь вышла замуж после бурного четырехмесячного романа и переехала к новому супругу в новый шикарный дом-конструктор в Лейквуде. А молодожены – вроде бы такие искренние, такие верные и влюбленные – непоправимо рассорились и разбежались спустя жалких полтора года, оставив по себе преждевременно прекращенный договор, осколки ваз и три трещины в стене на высоте человеческого роста, где эти вазы разлетелись на куски.

Это мне урок, решила миссис Ричардсон. На сей раз буду осмотрительнее. Она попросила мистера Яна заделать штукатурку и не спешила с поисками нового жильца – правильного жильца. Уинслоу-

роуд, 18434, *Верх*, пустовал почти полгода, и тут возникли Мия Уоррен с дочерью. Мать-одиночка, вежливая, с художественными наклонностями, растит дочь – воспитанную, довольно красивую и, возможно, гениальную.

– Я слышала, школы в Шейкер-Хайтс – лучшие в Кливленде, – ответила Мия, когда миссис Ричардсон спросила, почему они приехали сюда. – Пёрл уже учится на уровне колледжа. Но частную школу я не осилю.

Она глянула на дочь – та тихонько стояла в пустой гостиной, сцепив руки перед собой, – и Пёрл застенчиво улыбнулась. Это переглядывание матери и ребенка уловило сердце миссис Ричардсон, словно бабочку сачок. Миссис Ричардсон заверила Мию, что да, школы в Шейкер-Хайтс прекрасные, Пёрл сможет записаться на углубленные программы по всем предметам; тут есть научные лаборатории, и планетарий, и учат пять языков.

– Замечательная театральная программа, если ей такое интересно, – прибавила миссис Ричардсон. – Моя дочь Лекси в том году играла Елену в “Сне в летнюю ночь”.

Она процитировала девиз местных школ: “Мера сообщества – его школы”. Налог на недвижимость в Шейкер-Хайтс рекордно высок, но жителям окупается сторицей.

– Впрочем, вы же снимаете – вам и рыбку съесть, и в пруд не лезть, – рассмеялась миссис Ричардсон.

Она протянула Мие заявку, но про себя уже все решила. С невероятным удовольствием она воображала, как здесь поселятся эта женщина и ее дочь, как Пёрл станет делать уроки за кухонным столом, а Мия, наверное, – трудиться над полотном или скульптурой – она не сказала, в какой технике работает, – на закрытой террасе над задним двором.

Сплин послушал, как мать живописует новых съемщиков, и заинтриговала его не столько художница, сколько “гениальная” дочь, его сверстница. Спустя несколько дней после переезда новых жильцов любопытство доконало Сплина. Как обычно, он оседлал велосипед – старый “швинн” с фиксированной передачей, еще отцовский, из Индианы. В Шейкер-Хайтс никто не ездил на велосипедах, да и на автобусах – тут либо водишь сам, либо тебя возят: город строили для машин и для людей на машинах. Сплин ездил на велосипеде.

Шестнадцать ему исполнится только будущей весной, и он старался по возможности не напрашиваться в машину к Лекси или Трипу.

Сплин брыкнул ногой и покатил по изгибу Паркленд-драйв, мимо утиноного пруда, где он в жизни не видал ни одной утки, только стаи крупных и наглых канадских казарок; поперек проспекта Ван Эйка; через трамвайные пути и на Уинслоу-роуд. Он туда заезжал нечасто – детям-то что делать в арендном доме? – но знал, где это. В детстве Сплину пару раз доводилось сидеть в урчащей машине на дорожке, смотреть на персиковое дерево во дворе и крутить ручку, перебирая радиостанции, пока мать забегала в дом что-нибудь занести или проверить. Такое случалось редко; в основном дом жил сам по себе – разве что мать подыскивала новых съёмщиков. Сейчас, подпрыгивая колесами на стыках крупных известняковых плит тротуара, Сплин сообразил, что никогда не бывал внутри. Из детей там, кажется, никто не бывал.

На газоне перед домом Пёрл вдумчиво раскладывала детали деревянной кровати. Сплин, подкатив и затормозив через дорогу, увидел худую девочку в длинной жатой юбке и мешковатой футболке с надписью, которую он не смог прочесть. Волосы у девочки были длинные и кудрявые, свисали по спине толстой косой и будто рвались на свободу. Изголовье девочка положила возле клумб, опоясывающих дом, дальше бортики, а рейки по бокам, аккуратными рядками, точно ребра. Слово кровать вдохнула поглубже и грациозно распласталась по траве. Сплин, отчасти прячась за деревом, смотрел, как девочка пробралась к “фольксвагену”, стоявшему на дорожке с распахнутыми дверями, и с заднего сиденья выволокла изножье. Это в какой же “Тетрис” им пришлось сыграть, чтоб запихнуть столько всего в такую крошечную машинку? Босыми ногами девочка прошагала по газону и уложила изножье на место. А затем, к смятению Сплина, ступила в пустой прямоугольник в центре, где полагалось быть матрасу, и хлопнулась на спину.

На втором этаже загрохотало окно и высунулась голова Мии.

– Всё на месте?

– Двух реек не хватает, – отозвалась Пёрл.

– Доберем. Нет, погоди, не шевелись. Замри.

Голова исчезла. А спустя секунду Мия появилась вновь с фотоаппаратом – настоящим фотоаппаратом, с толстенным

объективом, похожим на большую консервную банку. Пёрл замерла, глядя в небо с облаками, а Мия высунулась почти до пояса, выискивая ракурс. Сплин затаил дыхание – а вдруг камера выскользнет из рук, прямо в доверчиво запрокинутое девочкино лицо, а вдруг мать кувырнется из окна и рухнет на траву? Ничего такого не случилось. Мия наклонила голову так, потом эдак – кадрировала сцену в видоискателе. Лицо пряталось за фотоаппаратом – спряталось все, кроме волос, стянутых на макушке пушистой воронкой, темным гало. Позже, увидев фотографии, Сплин поначалу решит, что Пёрл на них похожа на хрупкую окаменелость, тысячелетиями запертую в скелете брюха доисторического зверя. А потом – что на ангела, который прилег отдохнуть, раскидав крылья. А потом, спустя еще миг, – что просто на девушку, которая уснула в мягкой зеленой постели, ждет, когда подле нее ляжет любимый.

– Все, – окликнула Мия. – Готово.

И снова исчезла в доме, а Пёрл села и посмотрела через улицу, прямо на Сплина, и сердце у него екнуло.

– Хочешь помочь? – спросила она. – Или так и будешь стоять?

Сплин не запомнит, как перешел дорогу, как поставил велик на дорожке, как представился. Поэтому Сплину будет казаться, что он всегда знал ее имя, а она всегда знала по имени его, что он и Пёрл знали друг друга всегда.

Вместе они частями заволокли кровать по узкой лестнице. Гостиная пустовала – только штабель коробок в углу и большая красная подушка в центре.

– Сюда. – Пёрл слегка подкинула грудку реек, ухватила поудобнее и провела Сплина в ту спальню, что побольше, – там не было ничего, только поблекший, но чистый двуспальный матрас прислонялся к стене.

– Держи, – сказала Мия и поставила к ногам Пёрл стальной ящик с инструментами. – Тебе пригодится. – Сплину она улыбнулась, точно старому другу. – Понадобятся еще руки – зови. – А затем вышла в коридор, и спустя миг они услышали, как она вспорола клейкую ленту на коробке.

Инструментами Пёрл орудовала мастерски – приставляла бортики к изголовью, подпирала щиколоткой, привинчивала на место. Сплин сидел у открытого ящика с инструментами и наблюдал с растущим

благоговением. У него в семье мать вызывала ремонтника, если что-то ломалось – плита, стиральная машина, мусороизмельчитель, – а почти все остальное выбрасывалось и заменялось. Раз в три-четыре года – или когда проседали пружины – мать выбирала новый гарнитур для салона, старый переезжал в подвальную комнату отдыха, а старей-старый гарнитур из комнаты отдыха – в детский приют для мальчиков в Уэст-Сайде или в женский приют в центре. Отец не возился с машиной в гараже; если под капотом что-то гремело или визжало, отец отгонял машину в “Здоровенный ключ”, где вот уже двадцать лет все машины Ричардсонов чинил Лютер. Сам Сплин держал в руках инструменты лишь однажды – на труде в восьмом классе: их разделили на группы, одна обмеряла, другая пилила, третья шкурила, и в конце семестра все старательно свинтили детали – получилась такая коробочка, раздатчик конфет, из которого, если дернуть за ручку, выпадали три штуки “скитллз”. Годом раньше Трип смастерил такую же, а годом раньше Трипа такую же смастерила Лекси, а спустя еще год – Иззи, и хотя все провели в мастерской по семестру, а в доме где-то валялись четыре одинаковых раздатчика драже, Сплин подозревал, что члены семейства Ричардсон способны разве что применить к делу отвертку “Филипс”.

– Ты где этому научилась? – спросил он, протягивая Пёрл очередную рейку.

Пёрл пожала плечами.

– У мамы, – сказала она, одной рукой прижав рейку, а другой выудив отвертку из груды инструментов на ковролине.

В собранном виде кровать оказалась односпальной и старомодной, с шишечками, в самый раз для Златовласки.

– Где вы ее взяли? – Сплин уложил матрас, сел и попрыгал для пробы.

Пёрл убрала отвертку в ящик и заперла его на защелку.

– Нашли.

Она тоже села на кровать, спиной привалившись к изножью, вытянула ноги и уставилась в потолок, словно проверяла, каково ей тут будет. Сплин сидел у изголовья, у нее в ногах. На пальцы Пёрл, и на щиколотки, и на подол налипли завитки травинок. Пахло от нее свежим воздухом и мятным шампунем.

– Это *моя комната*, – внезапно произнесла она, и Сплин вскочил.

– Извини, – сказал он, и щеки у него жарко вспыхнули.

Пёрл подняла глаза – кажется, на миг она про него позабыла.

– Ой, – сказала она. – Я не о том.

Она вынула травинку, застрявшую между пальцами, и щелчком отправила на пол, и оба посмотрели, как травинка опустилась на ковровин. Когда Пёрл снова заговорила, голос ее наполнился изумлением:

– У меня раньше никогда не было своей комнаты. Сплин повертел ее слова в голове.

– В смысле, ты всегда жила с кем-нибудь?

Он попытался вообразить мир, где такое бывает. Вообразить, как делит комнату с Трипом, который швыряет на пол грязные носки и спортивные журналы, а придя домой, первым делом включает радио – и непременно “Джеммин 92,3”, – словно без пульсации этого тупого баса у него остановится сердце. В отпусках Ричардсоны всегда снимали три номера – в одном родители, в другом Лекси с Иззи, в третьем Сплин и Трип, – и за завтраком Трип смеялся над Сплином, потому что порой тот разговаривал во сне. Чтобы Пёрл и мать жили в одной комнате... Даже не верится, что люди бывают так бедны.

Пёрл покачала головой.

– У нас раньше никогда не было своего дома, – пояснила она, и Сплин проглотил замечание о том, что это не дом, это лишь полдома. Пёрл пальцем вела по вмятинам на матрасе, обводила пуговицы в каждой ямке.

Наблюдая за ней, Сплин не видел всего, что она вспоминала: капризную печку в Урбане, которая разжигалась спичками; пятый этаж без лифта в Миддлбери, и заросший сорняками сад в Окале, и закоптелую квартиру в Манси, где предыдущий жилец выпускал своего кролика погулять в гостиной, о чем свидетельствовали прогрызенные дыры и несколько сомнительных пятен. И субаренду в Анн-Арборе, уже много лет назад, откуда Пёрл больше всего не хотелось уезжать, потому что у жильцов там была дочь всего годом-другим старше Пёрл, и все полгода, что они с матерью там провели, Пёрл каждый день играла с коллекцией лошадок этой везучей девочки, и сидела в ее детском креслице, и ложилась спать в ее крахмальную постель под балдахином, а порой среди ночи, когда мать спала, Пёрл включала лампу у кровати и открывала гардероб этой девочки и

примеряла ее платья и туфли, хотя они и были ей чуточку велики. По всему дому стояли девочкины фотографии – на каминной полке, на приставных столиках в гостиной и большой красивый студийный портрет на лестнице, девочка опиралась подбородком на руку, – и легче легкого было притвориться, что этот дом ее, Пёрл, и вещи ее, и комната, и жизнь. Когда жильцы с девочкой вернулись из долгого отпуска, Пёрл не могла смотреть на эту девочку, загорелую, жилистую и выросшую из своих платьев в гардеробе. Пёрл плакала всю дорогу до Лафайетта, где они с матерью останутся еще на восемь месяцев, и даже вставшая на дыбы фарфоровая пегая лошадь, которую Пёрл слямзила из девочкиной коллекции, не приносила утешения: Пёрл ждала и нервничала, но никаких жалоб о потере лошади не поступило, а что ж за радость красть, если человек так богат и даже не заметил пропажи? Мать, видимо, все поняла, потому что больше они субаренду не брали. И Пёрл не огорчалась, зная теперь, что лучше пустая квартира, чем квартира, набитая чужими вещами.

– Мы часто переезжаем. Каждый раз, когда маме приспичит.

Она посмотрела на Сплина – чуть не прожгла его взглядом, – и он увидел, что глаза у нее не ореховые, как он поначалу решил, а темно-зеленые, нефритовые. И тогда Сплин вдруг ясно постиг, что уже произошло этим утром: жизнь его разделилась на “до” и “после”, и он вечно будет их сравнивать.

– А завтра ты что делаешь? – спросил он.

Следующие несколько недель Сплина превратились в череду сплошных завтра. Пёрл и Сплин ходили в Фернуэй, его прежнюю начальную школу, – лазили на горку, и карабкались на шест, и с висячей лестницы прыгали в опилки. Сплин водил Пёрл в “Дрейгерз” и кормил мороженым с горячим шоколадом. На озере Подкова они лазили по деревьям, как мелкота, и кидали черствый хлеб уткам, качавшимся на воде. В местной закускойной “Искренне ваши” они сидели в деревянной кабинке за высокими спинками кресел и ели картошку фри под сыром с беконом и кормили музыкальный автомат четвертаками, чтоб он играл им “Огненные шары” и “Эй, Джуд”^[2].

– Своди меня к шейкерам, – как-то раз предложила Пёрл, и Сплин рассмеялся.

– В Шейкер-Хайтс нет никаких шейкеров, – ответил он. – Все повымерли. Не верили в секс. Просто город в их честь назвали.

Сплин был отчасти прав, хотя ни он, ни большинство местных детей историю города почти не знали. Шейкеры и впрямь ушли задолго до того, как на этой земле вырос Шейкер-Хайтс, и к лету 1997 года во всем мире их осталось ровно двенадцать. Но Шейкер-Хайтс основали пусть и не на принципах шейкеров, однако с тем же порывом к утопии. Ключ к гармонии, считали шейкеры, кроется в порядке – и правилах, прародителях порядка. Правила у шейкеров имелись на любой случай: когда вставать по утрам, какого цвета шторы, какой длины мужские волосы, как складывать руки при молитве (правый большой палец поверх левого). Если спланировать все до последней детали, верили шейкеры, можно создать кусочек рая на земле, маленькое убежище от мира, и основатели Шейкер-Хайтс разделяли этот подход. В рекламе они изображали свой город в облаках – он взирал вниз, на чумазый Кливленд, с горней вершины на конце радуги. Совершенство – такова была их цель, и, быть может, шейкеры до того рьяно вкладывали в совершенство душу, что оно просочилось в почву, напитало всех, кто здесь рос, пристрастием к перевыполнению планов и острой нетерпимостью к изъясам. В Шейкер-Хайтс даже подростки – чье столкновение с шейкерами ограничивалось в

основном пением “Простых даров”^[3] на уроках музыки – из воздуха улавливали это стремление к совершенству.

Пёрл мало-помалу узнавала свой новый город, а Сплин мало-помалу узнавал искусство Мии, а также чудеса и превратности финансового положения семейства Уоррен.

Сплин о деньгах особо не задумывался – не было нужды. Щелкнешь выключателем – вспыхнет свет; повернешь кран – потечет вода. Продукты регулярно возникали в холодильнике, а затем готовыми блюдами появлялись на столе, когда наставала пора поесть. Сплин получал карманные деньги с десяти лет – первоначальные пять долларов в неделю неуклонно росли вместе с инфляцией и дозрели до нынешней двадцатки. Этих денег, да еще деньрожденных открыток от тетушек и прочей родни, где непременно лежала свернутая купюра, хватало на подержанную книжку из лавки “Книги Никки”, временами на CD или новые гитарные струны – что требовалось, на то и хватало.

Мия и Пёрл все, что можно, покупали подержанным – а еще лучше, добывали бесплатно. За считанные недели они выяснили, где в Кливленде и окрестностях находятся все до единой лавки Армии спасения, “Викентия де Поля” и “Гудвилла”. Вскоре по прибытии Мия устроилась на работу в местном китайском ресторане “Дворец удачи”: несколько раз в неделю, днем и вечерами, за прилавком принимала и паковала заказы навынос. Вскоре выяснилось, что для походов по ресторанам в Шейкер-Хайтс предпочитают “Жемчуг Востока” всего в нескольких кварталах поодаль, зато во “Дворце удачи” заказы навынос шли нарасхват. Вдобавок к почасовой ставке официанты отдавали Мие долю чаевых, а когда оставалась лишняя еда, Мия носила ее домой в контейнерах – чуть залежавшийся рис, остатки кисло-сладкой свинины, овощи, чей час расцвета едва-едва миновал, – и на этом они с Пёрл жили почти всю неделю. Денег у них было в обрез, но об этом так сразу и не догадаешься: Мия умела приспособить что угодно к чему угодно. Сегодня вечером ло-мейн без соуса поливали рагу из банки, завтра дополняли говядиной с апельсинами и разогревали вновь. Старые простыни из благотворительной лавки, по четвертаку штука, превращались в занавески, скатерть, наволочки. Сплин вспоминал уроки математики: прикладная комбинаторика. Сколько возможно разных сочетаний блинчиков му-шу и начинок? Сколько разных комбинаций можно составить из риса, свинины и перцев?

– А чего твоя мама не найдет нормальную работу? – как-то днем спросил Сплин у Пёрл. – Ей же наверняка дадут и больше часов в неделю. Или даже полный рабочий день. В “Жемчуге Востока”, например.

Сплин об этом размышлял с тех пор, как узнал про работу Мии. Если взять больше часов, рассудил он, им хватит на настоящий диван, настоящую еду, может, телевизор.

Пёрл уставилась на него, нахмутив лоб, словно вообще не поняла вопроса:

– У нее же *есть* работа. Она художница.

Они годами жили так: Мия работала на полставки, чтобы им только-только хватало на жизнь. Пёрл понимала эту иерархию, сколько себя помнила: настоящая работа матери – искусство, а заработок – лишь для того, чтобы этим искусством заниматься. Мия работала каждый день по несколько часов – впрочем, Сплин не сразу догадался, что это она так работает. Порой она торчала внизу, в самопальной темной комнате, которую устроила в подвальной прачечной, – проявляла пленки, печатала снимки. Иногда целыми днями читала – всякую всячину, смысл которой Сплин не вполне постигал: кулинарные журналы 1960-х, или руководства к автомобилям, или толстенную библиотечную биографию Элеоноры Рузвельт – или просто смотрела из гостиной на дерево за окном. Как-то утром Сплин приехал, а Мия возилась с веревочным кольцом, играла в “колыбель для кошки”; когда Сплин и Пёрл вернулись, Мия все продолжала – в пальцах плела сети, все затейливее и затейливее, потом вдруг распускала в одно кольцо и начинала заново.

– Это процесс, – пересекая гостиную наискось, объяснила Пёрл невозмутимым тоном аборигена, которого не обескураживают любопытные обычаи местных народностей.

Иногда Мия уходила, прихватив с собой камеру, но чаще целыми днями, а то и неделями готовила объекты для съемки, хотя сама съемка длилась считанные часы. Ибо Мия, узнал Сплин, фотографом себя не считала. По сути своей фотография – это документирование, а Сплин вскоре понял, что для Мии она всего лишь инструмент: Мия орудовала фотографией, как художник орудует кистью или ножом.

Простую фотографию можно доделать: скрыть лица расшитыми карнавальными масками или вырезать фигуры, как бумажных кукол, и

нарядить в одежду, тоже вырезанную из модных журналов. Для одной серии Мия промывала негативы, а затем печатала причудливо искаженные снимки – кухня, пятнистая от лимонадных брызг; белье на веревке, искривленное отбеливателем до призрачности. Для другой серии она аккуратно экспонировала каждый кадр дважды – наслоила далекий небоскреб на собственный средний палец; на голубое небо наложила мертвую птицу, раскинувшую крылья на тротуаре, – если бы не закрытые глаза, птица как будто летела.

Мия работала своеобразно: фотографии, которые ей нравились, оставляла, прочие выкидывала. Исчерпав идею, сохраняла единственный отпечаток каждого кадра и уничтожала негативы.

– Синдицироваться не планирую, – весьма беспечно ответила она Сплину, когда он спросил, почему она не печатает больше.

Она редко фотографировала людей; порой снимала Пёрл – вот как с кроватью на газоне, – но в работе эти снимки не использовала. И сама не фотографировалась: однажды, рассказывала Пёрл, сделала серию автопортретов, надевала всякие штуки вместо масок – кусок черных кружев, пятипалые листья конского каштана, влажную и гибкую морскую звезду, – потратила месяц, свела серию к восьми отпечаткам. Они были прекрасны и зловещи, и по сей день Пёрл отчетливо помнила, как блестящий материн глаз жемчужиной выглядывал меж лучей морской звезды. Но в последний момент Мия сожгла и отпечатки, и негативы – причин не постигала даже Пёрл.

– Ты столько времени угробила, – говорила она, – а потом *пфф*, – Пёрл щелкала пальцами, – и до свидания?

– Не сложились, – только и отвечала Мия.

Но фотографии, которые она сохраняла – и продавала, – потрясали.

В роскошной субарендованной квартире в Анн-Арборе Мия разобрала хозяйскую мебель и из запчастей – болтов с ее палец толщиной, нелакированных поперечин, открученных ног – составила животных. Громоздкий секретер девятнадцатого века преобразился в быка: мускулистые ноги – боковины ящиков, бычий нос, и глаза, и блестящие яйца – чугунные ручки, горсть перьев из недр секретера распахнулась веером и раздвоилась полумесяцами рогов. Вместе с Пёрл Мия разложила детали на кремовом персидском ковре – задник напоминал поле в клубах парного тумана, – залезла на стол,

сфотографировала сверху, а потом они разобрали быка и снова собрали из него секретер. Старая китайская птичья клетка, разломанная на паутину гнутых стержней, обернулась орлом, что раскинул латунный скелет крыльев, точно собрался взлететь. Мягкий диван стал слоном, в трубном зове задравшим хобот. Серия фотографий, рожденная из этого проекта, притягивала взгляд и задевала нервы: звери получились замечательно затейливые и жизнеподобные, и зритель не сразу присматривался и понимал, из чего они сотворены. Немало этих фотографий Мия продала через подругу Аниту, владелицу галереи в Нью-Йорке, – человека, которого Пёрл никогда не видела, в городе, где Пёрл никогда не бывала. Мия ненавидела Нью-Йорк и не приезжала даже ради рекламы своих работ.

– Анита, – как-то раз сказала она в телефон, – я тебя люблю всей душой, но в Нью-Йорк на выставку приехать не могу. Нет, даже если продам сотню работ. *(Пауза.)* Я знаю, но и ты знаешь, что я никак. Хорошо. Сделай, что можешь, – мне этого довольно.

И все равно Аните удалось продать полдюжины, и еще полгода Мия не прибиралась в чужих домах, а трудилась над новым проектом.

Вот так она и работала: проект на четыре месяца или на полгода, а затем переходим к следующему. Она все работала и работала, и выходило сколько-то фотографий, и обычно Анита продавала в галерее хотя бы несколько штук. Поначалу расценки были до того скромные – несколько сотен долларов за снимок, – что Мие порой приходилось наниматься на две работы, а то и на три. Но время шло, в арт-кругах ее уже ценили довольно высоко, и Анита продавала больше и дороже: Мие и Пёрл хватало на еду, на жилье, на бензин для “фольксвагена-кролика” даже после того, как Анита забирала себе половину комиссионными.

– Иногда две или три тысячи долларов, – с гордостью говорила Пёрл, и Сплин быстро прикидывал в уме: если Мия продает десять фотографий в год...

Иногда снимки не продавались – из всего проекта со скелетами листьев продана лишь одна фотография, и несколько месяцев Мия хваталась за случайные заработки: убиралась в домах, составляла букеты, украшала торты. Она была рукастая и предпочитала места, где не нужно общаться с клиентами, где можно подумать в одиночестве, – не официанткой, не секретаршей, не продавщицей.

– Я как-то раз стояла за прилавком, еще до твоего рождения, – рассказывала она Пёрл. – Продержалась день. Один день. Менеджер нудил, как вешать платья на плечики. Покупатели отрывали с одежды бусины и требовали скидок. Лучше тихо мыть полы в пустом доме, чем такое.

Но другие проекты продавались и привлекали внимание. На одной серии – к ней Мия приступила, некоторое время побыв швеей, – они прожили почти год. Мия ходила в благотворительные лавки и скупала старые мягкие игрушки – поблекших медведей, шелудивых плюшевых собак, потертых зайцев, чем дешевле, тем лучше. Дома она распарывала их по швам, стирала шкуры, распушала набивку, полировала глаза. Потом опять сшивала, вывернув наизнанку, – и получалась леденящая красота. Вывернутый драный мех смотрелся стриженным бархатом. У заново сшитого и набитого зверя сохранялась форма, но менялась осанка – спина и шея прямее, острее уши, прозорливее блеск глаз. Зверь словно перерождался – постаревший, осмелевший, помудревший. Пёрл обожала смотреть, как мать трудится, склонившись над кухонным столом, с четкостью хирурга – скальпель, игла, булавки – преобразует эти игрушки в искусство. Анита продала все фотографии серии до единой; один снимок, отчиталась она, даже попал в Музей современного искусства. Анита умоляла Мию продолжить или напечатать серию еще раз, но та отказалась.

– Идея исчерпана, – сказала Мия. – У меня теперь другая в работе.

И так всегда – всякий раз по-другому, всякий раз то, что ее увлекало. В один прекрасный день она прославится – в этом Пёрл была убеждена; в один прекрасный день ее обожаемая мать станет одной из тех художниц, чьи имена знают все, – как де Кунинг, или Уорхол, или О’Кифф^[4]. И поэтому Пёрл – во всяком случае, отчасти – не возражала против такой жизни: поношенной одежды, кем-то выброшенных кроватей и стульев, неверной шаткости бытия. В один прекрасный день все увидят, что ее мать гениальна.

Сплин подобное существование постигал с трудом. Смотреть, как живут мать и дочь Уоррен, – все равно что наблюдать фокус: волшебство вроде превращения пустой банки из-под газировки в серебряный графин или извлечения дымящегося пирога из цилиндра. Нет, думал он, это все равно что наблюдать, как Робинзон Крузо

творит себе жизнь из ничего. Чем больше времени Сплин проводил с Мией и Пёрл, тем больше они его завораживали.

По полдня проводя с Пёрл, он постепенно узнавал кое-что об их жизни в дороге. Путешествовали они налегке: две тарелки, две чашки, букет разномастных приборов; у каждой по вещмешку с одеждой; и, разумеется, фотоаппараты Мии. Летом ехали с опущенными стеклами, потому что у “кролика” не было кондиционера; зимой ездили по ночам, включив печку на полную мощность, а днем парковались на солнышке, спали в уютной теплице машины и снова отправлялись в путь на закате. На ночь Мия ставила сумки возле сидений, поверх расстилала армейское одеяло – выходила постель, на которой они вдвоем еле-еле помещались. Чтобы никто не глазел, между дверцей багажника и подголовниками передних сидений натягивали простыню – получалась палатка. Ели, притормозив на обочине, из бумажных продуктовых пакетов, стоявших за водительским сиденьем: хлеб, арахисовое масло, фрукты, иной раз салями или палка пепперони, если Мия находила колбасу со скидкой. Иногда путешествовали пару дней, иногда неделю, приезжали куда-нибудь и, если Мия улавливала там созвучие, – останавливались.

Находили жилье: обычно студию, порой однокомнатную квартиру – то, что могли себе позволить и с помесечной платой, потому что Мия не любила сидеть на месте как привязанная. Обустраивались так же, как в Шейкер-Хайтс, – переделывали или хотя бы подновляли выброшенное и уцененное; Мия записывала Пёрл в местную школу и находила работу, чтоб хватало на жизнь. И приступала к новому проекту – работала, носилась с идеей, как собака с костью, по три месяца, четыре, полгода, пока не набирала серию, которую отправляла Аните в Нью-Йорк.

Темную комнату Мия устраивала в ванной, когда Пёрл засыпала. После пары-тройки переездов отладила процесс до лабораторной точности: лотки для промывки в ванне, просушка снимков на душевой штанге, скатанное полотенце под дверь, чтоб не светило из щели. Закончив, лотки она складывала штабелем, убирала фотоувеличитель в футляр, прятала под раковину банки с реактивами, до блеска оттирала ванну к утреннему душу Пёрл. Приоткрывала окно и отправлялась в постель; когда просыпалась Пёрл, от кислой вони фиксажа не оставалось и следа. Пёрл всегда знала: едва Мия отошлет серию, они

снова погрузятся в машину – и всё повторится. Один город – один проект, а затем пора двигаться дальше.

Но на сей раз будет иначе.

– Мы остаемся, – сказала Пёрл, и в головокружительном восторге Сплин будто воспарил, как туго надутый воздушный шарик. – Мама обещала. На этот раз мы остаемся насовсем.

Эта жизнь кочевых художников манила Сплина: в душе он был романтик. Каждый семестр он заканчивал с отличием, но быт его не обременял, и Сплин грезил о том, как бросит школу и отправится странствовать по стране а-ля Джек Керуак – только писать будет не стихи, а песни. “Книги Никки” снабдили его сильно потрепанными изданиями “На дороге” и “Бродяг Дхармы”, стихов Фрэнка О’Хары, и Райнера Марии Рильке, и Пабло Неруды, и, к великой своей радости, в Пёрл он обнаружил такую же поэтичную душу. Она, конечно, читала меньше – они же вечно мотались, – но почти все детство проторчала в библиотеках; вечной новенькой перепрыгивая из школы в школу, искала убежища меж стеллажей, книги поглощала как воздух и вообще-то, застенчиво поведала она Сплину, хотела стать поэтом. Любимые стихи она переписывала в помятую тетрадь на пружинке и никогда с этой тетрадью не расставалась.

– Чтoб они всегда были со мной, – сказала она, а когда наконец разрешила Сплину кое-что прочесть, он лишился дара речи. Хотелось телом своим оплести крошечные завитки ее почерка.

– Какая красота, – вздохнул он, и ее лицо вспыхнуло фонарем, и назавтра Сплин приволок гитару, обучил Пёрл трем аккордам и робко спел ей одну свою песню, которую никогда никому не пел.

Память у Пёрл, как он вскоре узнал, была фантастическая. Пёрл дословно повторяла целые пассажи, прочтя их всего раз, помнила даты Великой хартии вольностей, и имена английских королей, и всех президентов по порядку. Сплин добивался оценок усердными трудами и горами обучающих карточек, а Пёрл все давалось легко; она умела взглянуть на математическую задачу и нащупать ответ интуитивно, пока Сплин старательно, строку за строкой, заполнял страницу алгебраическими выкладками; она умела прочесть сочинение и мигом ткнуть пальцем в самый яркий тезис или самую крупную логическую ошибку. Она будто смотрела на кучу деталек от пазла и различала целую картинку, даже не сверяясь с коробкой. Разум ее – это что-то

невероятное; Сплин поневоле восхищался, как стремительно, играючи щелкает задачи ее мозг. Наблюдать, как она все раскладывает по полочкам, – чистый кайф.

Чем чаще они бывали вместе, тем сильнее Сплин раздваивался. Мгновенье за мгновеньем (все мгновенья, что удавалось улучшить, если честно) он был с Пёрл – в кабинке закуской, в развилке дерева – и смотрел, как ее глазницы с неутолимой жадностью вбирают все вокруг. Он сыпал тупыми шуточками, травил байки, выуживал из памяти факты – из кожи вон лез, только бы она улыбнулась. И в то же время он мысленно бродил по городу, судорожно искал, куда еще ее отвести, какое еще чудо пригородного Кливленда ей предъявить, ибо Сплин был убежден: едва его экскурсии подойдут к концу, Пёрл исчезнет. Он уже подмечал, что за картошкой фри она становится молчаливее, гоняет по тарелке последний кусочек застывшего сыра; что взгляд ее откровенно уплывает через озеро, к дальнему берегу.

Вот потому-то Сплин и принял решение, в котором будет сомневаться до конца своих дней. До того он ни словом не обмолвился родным ни о Пёрл, ни о ее матери, стерег их дружбу, как дракон стережет сокровище – безмолвно, жадно. В глубине души он чувствовал, что теперь все изменится: так в сказках магия перегорает, если выболтать секрет. Сохрани он Пёрл в тайне, возможно, будущее сложилось бы совсем иначе. Пёрл никогда не повстречалась бы с его родителями, и с Лекси, и с Трипом, и с Иззи, а если бы и повстречалась, они бы лишь здоровались, но не познакомились близко. Пёрл с матерью остались бы в Шейкер-Хайтс навсегда, как и собирались; может, одиннадцать месяцев спустя дом Ричардсонов стоял бы себе и стоял. Но Сплин считал, что не слишком интересен и не достоин ее внимания сам по себе. Он не тот Ричардсон: сестры-то его и брат не парились, нравятся ли они людям. У Лекси – солнечная улыбка и беззаботный смех; у Трипа – красота и ямочки; еще бы они не нравились, у них и вопроса такого не возникало, с чего бы? Иззи еще проще, ей по барабану, что о ней думают. Но у Сплина не было ни теплоты Лекси, ни хулиганского обаяния Трипа, ни самоуверенности Иззи. Сплин считал, ему нечего подарить Пёрл – лишь то, что может подарить его семья, лишь саму его семью, – и поэтому однажды в конце июля он сказал:

– Пошли к нам. Познакомишься с моими.

Впервые ступив в дом Ричардсонов, Пёрл замерла одной ногой на пороге. Это просто дом, сказала она себе. Здесь живет Сплин. Но даже эта мысль отдавала абсурдом. Сплин с тротуара кивнул ей не без робости.

– Вот так-то, – сказал он, а она сказала:

– Ты живешь *здесь*?

Не в размерах дело – ну да, большой дом, но на этой улице все дома большие, а за три недели в Шейкер-Хайтс Пёрл видела дома и побольше. Нет, дело в том, как зелен газон, и резки линии белого раствора между кирпичами, и шелестят кленовые листья на ветерке, и дует этот ветерок. И в прихожей пахнет моющим средством, и стряпней, и травой, и уголок коврика изогнулся вихром, словно кто-то взлохматил его и забыл пригладить. Пёрл точно вступала не в дом, но в *идею* дома – точно у нее на глазах ожил и задышал архетип. Она о таком слыхала, но никогда не видела. В глубинах дома бурчала жизнь – тихо бубнила реклама по телевизору, пищала микроволновка, ведя обратный отсчет времени, – но вдали, как во сне.

– Заходи, – сказал Сплин, и Пёрл вошла.

Позднее Пёрл почудится, будто ради нее Ричардсоны нарочно выстроились в эту живую картину – нельзя же изо дня в день жить в такой дивной семейной сказке. Вот миссис Ричардсон на кухне печет печенье, подумать только, – Мия никогда ничего не пекла, хотя, если Пёрл очень-очень попросит, иногда покупала полено теста в термоусадочной пленке, и они резали его на кругляши. Вот мистер Ричардсон – миниатюра на огромном зеленом газоне, ловко заправляет углем блестящую серебристую жаровню. Вот Трип, валяется на длиннющем угловом составном диване, красивый до невероятия, одну руку закинул на спинку, словно поджидает, когда некая везучая девушка подойдет и сядет рядом. И вот Лекси, против Трипа, в луже солнечного света, – отводит лучистые глаза от телевизора, взглядом встречает Пёрл на пороге и осведомляется:

– Так-так-так, а это у нас кто?

Из всего семейства Ричардсон в те первые пьянящие дни Пёрл почти не виделась только с Иззи – но заметила это не сразу. Как тут заметишь, когда остальные Ричардсоны раскинули длинные руки и заключили ее в объятия? Они ослепляли Пёрл, Ричардсоны, – своей беспечной самоуверенностью, ясной целеустремленностью, с утра до ночи. По приглашению Сплина Пёрл торчала у них долгими часами – приходила вскоре после завтрака и оставалась до ужина.

По утрам миссис Ричардсон на высоких каблуках парусником вплывала в кухню – ключи от машины и кружка-термос из нержавеющей стали в руках – и говорила:

– Пёрл, как приятно снова тебя видеть.

И цок-цокала в глубину дома по коридору, а спустя минуту рокотала гаражная дверь и по широкой дорожке скользил прочь ее “лексус” – золотой очаг прохлады посреди летней жары. Мистер Ричардсон в пиджаке и при галстучке давно уехал, но маячил фоном, плотный, и весомый, и важный, точно горная гряда на горизонте. Пёрл спросила Сплина, чем его родители целыми днями занимаются, и тот пожал плечами:

– Ну-у... так. Ходят на службу.

На службу! В устах матери от этих слов несло тоской рутины: обслуживать столики, мыть посуду, драить полы. Но для Ричардсонов “служба” была благородна: они делали что-то важное. По четвергам мальчишка-газетчик кидал Мие и Пёрл на крыльцо номер “Сан-пресс” – для всех жителей Шейкер-Хайтс бесплатно, – и, развернув газету, они читали имя миссис Ричардсон на первой полосе под заголовками: В ГОРОДЕ ОБСУЖДАЮТ НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ СБОР; ЖИТЕЛИ ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ПРЕЗИДЕНТА КЛИНТОНА; НА ШЕЙКЕР-СКВЕР ПРОХОДИТ ПОДГОТОВКА К “ОТНЮДЬ НЕ СКВЕРНОМУ СКВЕРУ”. Осязаемое черно-белое доказательство усердия миссис Ричардсон.

(– Да это все лабуда, – сказал Сплин. – “Плейн дилер” – это да, настоящая газета. “Сан-пресс” – это же местные штуки: совещания муниципалитета, комиссии по районированию, кто победил на

научной выставке. – Но Пёрл, глазами ощупывая подпись – *Элена Ричардсон*, – не поверила или пропустила мимо ушей.)

Они были знакомы с большими шишками, Ричардсоны: мэр, директор Кливлендской клиники, владелец “Кливлендских индейцев”^[5]. У них были сезонные абонементы на “Джейкобс-филд” и “Гунд”.

(– “Кавы”^[6] – отстой, – емко высказался Сплин. – Зато “Индейцы” могут выиграть вымпел, – возразил Трип.)

Иногда звонил мобильник – мобильник! – у мистера Ричардсона, и тот вытягивал антенну, выходя в коридор.

– Билл Ричардсон, – отвечал он; чтобы поздороваться, ему хватало просто назвать себя.

И даже у младших Ричардсонов то же самое – такая же уверенность в себе. Воскресными утрами Пёрл и Сплин сидели в кухне и Трип забредал после пробежки, стоял у кухонного островка, высокий, и загорелый, и худой, в спортивных трусах, совершенно непринужденный, и наливал себе соку, и внезапно сверкал улыбкой, повергая Пёрл в смятение. Лекси пристраивалась на кухонной столешнице, неэлегантная в спортивных штанах и футболке, с неопрятно заколотым пучком, сковыривала кунжутные семечки с бублика. И плевать, что Пёрл наблюдает их в таком виде. Они были безыскусно прекрасны, даже спросонок. Откуда берется такая раскованность? Как им дается эта естественность, эта уверенность, даже в пижаме? Читая меню, Лекси никогда не говорила: “А можно мне?..” Она говорила: “Я буду...” – убежденно, словно достаточно сказать – и все случится по ее слову. Это смущало и пленяло Пёрл. Лекси сползала с табурета и элегантно, как танцовщица, шагала по кухне, босиком по итальянской плитке. Трип заливал в горло остатки апельсинового сока и уходил к лестнице, в душ, и Пёрл смотрела, как он идет, и ноздри ее трепетали, ловя его запах в кильватере – пот, и солнце, и жар.

В доме у Ричардсонов были мягкие диваны – в них погружаешься, как в пенную ванну. Комоды. Громоздкие кровати-сани. Если завести себе вот такое гигантское кресло, думала Пёрл, тебе деваться некуда – придется сидеть на одном месте. Пустить корни и устроить себе дом там, где стоит это кресло. У Ричардсонов были оттоманки, и фотографии в рамочках, и горки, набитые утешительно

легкомысленными сувенирами. Не повезешь резную раковину с Ки-Уэста, или миниатюрную Си-Эн-Тауэр, или бутылочку песка не больше пальца с Мартас-Винъярд, если не планируешь остаться. В Шейкер-Хайтс жили три поколения семьи миссис Ричардсон – почти, как выяснила Пёрл, с самого основания города. Пустить стержневой корень в такую глубину, погрузиться в город так всецело, что он пропитывает все фибры твоего бытия... Пёрл и вообразить такого не умела.

Сама миссис Ричардсон тоже завораживала. На телеэкране она смотрелась бы нереальной, все равно что какая-нибудь миссис Брейди или миссис Китон^[7]. И однако вот она, вживую, то и дело отпускает комплименты.

“Какая красивая юбка, Пёрл, – говорит она. – Тебе идет этот цвет. «Отлично» по всем предметам? Какая ты умница. У тебя сегодня очень красивая прическа. Ой, не дури, зови меня Элена, я настаиваю”, – но Пёрл по-прежнему звала ее “миссис Ричардсон”, и та наверняка втайне одобряла такую почтительность. Миссис Ричардсон быстро завела привычку обнимать Пёрл – Пёрл, почти чужачку, – потому только, что она друг Сплина. Мия была нежна, однако сдержанна; на памяти Пёрл мать никогда никого, кроме нее, не обнимала. А тут миссис Ричардсон – возвращается к ужину, всех своих детей чмокает в макушку и ничуть не медлит, шагнув к Пёрл, клюет ее поцелуем в волосы, не замывшись ни на миг. Словно Пёрл – лишь еще один цыпленок в выводке.

Мия, конечно, видела, до чего околдована дочь Ричардсонами. Иногда Пёрл проводила у них целый день. Поначалу Мия радовалась, глядя на Сплина и свою одинокую дочь, которую столько раз срывали с места, которая никогда ни с кем особо не сближалась. Теперь-то стало ясно, что Пёрл давным-давно живет по указке материнских капризов: они уезжают, едва Мие требуются новые идеи, едва Мия заходит в тупик, едва Мие становится неудобно. *Теперь это позади*, пообещала Мия дочери по дороге в Шейкер-Хайтс. *Теперь мы остаемся насовсем*. В этих двух одиноких детях она различала сходство – отчетливее даже, чем они сами: у обоих внутри таились чувствительные души, у обоих книжная мудрость наслаивалась на глубинную наивность. Сплин приходил рано поутру, когда Пёрл еще даже не позавтракала, и Мия, просыпаясь, раздергивала занавески и

видела велосипед Сплина, распластавшийся на парадном газоне, и выходила в кухню, где Сплин и Пёрл сидели за столом, и в разномастных плошках перед ними болтались остатки отрубей с изюмом. Дети уходили на целый день, и Сплин шагал, толкая велосипед. Мия, споласкивая плошки в раковине, делала мысленную зарубку: надо поискать велосипед для Пёрл. Может, в велосипедном магазине на Ли-роуд найдется подержанный.

Но недели шли, и Мию уже слегка нервировало, что Ричардсоны так действуют на Пёрл, что они впитали ее в свою жизнь – или же наоборот. За ужином Пёрл болтала о Ричардсонах – она фанатела от них, как от телесериала.

– На будущей неделе приедет Дженет Рино^[8] – миссис Ричардсон возьмет у нее интервью, – объявляла она.

Или:

– Лекси говорит, ее парень Брайан станет первым чернокожим президентом.

Или, чуточку краснея:

– Трип играет в европейский футбол – осенью его переведут в форварды. Только что узнал.

Мия кивала, и угукала, и каждый вечер раздумывала, мудро ли, хорошо ли, что дочь так безоглядно поддалась чарам этой семьи. А затем вспоминала весну, когда у Пёрл начался такой ужасный кашель, что пришлось наконец отвезти ее в больницу, где обнаружилось, что у дочери пневмония. Сидя в темноте у ее постели, глядя, как она спит, поджидая, когда подействуют выданные врачом антибиотики, Мия позволила себе вообразить: случись худшее – какая жизнь выпала Пёрл? Кочевая, отшельническая. Одинокая. *С этим покончено*, сказала Мия себе, и, когда Пёрл поправилась, они очутились в Шейкер-Хайтс и Мия пообещала, что здесь они и останутся. Поэтому она помалкивала, и назавтра Пёрл вновь торчала у Ричардсонов с утра до вечера, и они пленяли ее все сильнее.

Пёрл то и дело приходила в школы новенькой, порой два-три раза в год, и давно не боялась, но на сей раз мандражировала страшно. Одно дело – поступить в школу, зная, что это временно и потому незачем переживать, что о тебе думают, – скоро тебя здесь не будет. Пёрл так и дрейфовала класс за классом, не трудясь ни с кем

знакомиться. Но знать, что с этими людьми тебе встречаться весь год, и на будущий год, и еще год спустя, – это совсем другое.

Однако выяснилось, что у них со Сплином совпадают почти все уроки, от биологии и углубленного английского до основ безопасности жизнедеятельности. Первые две недели Сплин уверенно, как умеют только десятиклассники, водил ее по школе и объяснял, в каких питьевых фонтанчиках вода холоднее, где лучше садиться в столовой, какие учителя напишут замечание, застав тебя после звонка в коридоре, а какие махнут рукой и снисходительно улыбнутся. Навигацию Пёрл осваивала по фрескам, за многие годы намалеванным учениками: взрывающийся “Гинденбург”^[9] указывал путь в естественно-научное крыло; Джим Моррисон томился у балкона большого зала; девочка, выдувающая розовые мыльные пузыри, приводила в загадочную Эвакуацию – гулкий коридор, куда в обед стекались все, кто не поместился в столовой. *Trompe-l’œil*^[10] с шеренгой шкафчиков помечал выход к Комнате Отдыха, гостиной выпускного класса, где стояли микроволновка – разогревать попкорн во время “окон”, – и автомат с кока-колой, которая стоила всего пятьдесят центов, а не семьдесят пять, как в столовой, и коренастый черный куб музыкального автомата, уцелевшего с семидесятых и теперь крутившего Сэра Микс-а-Лота, и “Смэшинг Пампкинз”, и “Спайс Гёрлз”^[11]. Годом раньше один школьник на купольном потолке у центрального входа нарисовал себя и троих друзей – все четверо выглядывали из-за стенки а-ля Килрой^[12], – и всякий раз, когда Пёрл проходила под этим куполом, ей чудилось, что это они гостеприимно с нею здороваются.

После школы она шла к Ричардсонам, валялась на угловом диване в семейной гостиной со старшими и смотрела шоу Джерри Спрингера. Этот маленький ритуал сложился у детей Ричардсонов в последние годы – один из редких случаев, когда они в чем-то сошлись. Никто ничего не планировал, никто ни с кем ничего не обсуждал, но каждый день, если у Трипа не было тренировки, а у Лекси репетиции, они собирались в семейной гостиной и включали Третий канал. Для Сплина – чарующий психологический этюд: каждый эпизод – очередной пример дикости человечества. Для Лекси – сродни антропологии: матери-стриптизерши, полигамные жены, малолетние наркотики открывали окно в далекий-далекий мир, все равно что из

книг Маргарет Мид^[13]. А для Трипа – чистая комедия: великолепный балаган с запиканными тирадами и обильным швырянием стульев. Больше всего он любил, как с гостей срывают парики. Иззи все это считала невыразимым идиотизмом, баррикадировалась наверху и играла на скрипке.

– Единственное, к чему Иззи относится серьезно, – объяснила Лекси.

– Нет, – возразил Трип, – Иззи ко всему относится слишком серьезно. В этом и беда.

– Ирония в том, – как-то днем сказала Лекси, – что через десять лет мы увидим Иззи у Спрингера.

– Через семь, – сказал Трип. – Максимум восемь. “Джерри, вытащи меня из тюрьмы!”

– Или “Моя семья хочет сдать меня в психушку”, – согласилась Лекси.

Сплин неуютно поерзал. Лекси и Трип относились к Иззи как к собаке, которая вот-вот взбесится, но между собой всегда ладили.

– Она просто немножко импульсивная, – сказал он Пёрл.

– Немножко импульсивная? – засмеялась Лекси. – Это, Пёрл, ты пока ее не знаешь. Увидишь еще.

И полились истории, а про Джерри Спрингера все временно забыли.

Когда Иззи было десять, ее задержали в Обществе защиты животных – она хотела освободить всех бродячих кошек. “Они там как заключенные перед казнью”, – сказала она. Когда ей было одиннадцать, мать – сочтя, что Иззи чересчур неуклюжа, – записала ее на танцы, улучшить координацию. Отец настоял, чтобы Иззи ходила туда весь семестр – потом может бросить, если хочет. На каждом занятии Иззи садилась на пол и отказывалась шевелиться. На концерте она – прибегнув к зеркалу и маркеру – написала на лбу и щеках Я ВАМ НЕ МАРИОНЕТКА прямо перед выходом на сцену, где простояла столбом, пока остальные конфузливо танцевали вокруг.

– Я думала, мама со стыда умрет, – сказала Лекси. – А в том году? Мама решила, что Иззи слишком много носит черного, и купила ей кучу красивых платьев. А Иззи запихала их в бумажный пакет, села на автобус, поехала в центр и всё отдала кому-то на улице. Мама ее наказала на месяц.

– Она не психованная, – возмутился Сплин. – Она просто не думает головой.

Лекси фыркнула, а Трип включил звук на пульте, и Джерри Спрингер вновь заревел.

На диване умещались восемь человек, но даже когда детей было трое, все ухищрялись, воюя за место получше. С появлением Пёрл маневры усложнились. При любой возможности она садилась – ненавязчиво, невозмутимо, надеялась она – рядом с Трипом. Всю жизнь она влюблялась издалека; ей никогда не хватало смелости заговорить с мальчиком, который ей нравился. А сейчас, раз она поселилась в Шейкер-Хайтс насовсем, а Трип здесь, в этом доме, сидит на том же диване, – ну, вполне естественно, говорила она себе, что время от времени она садится рядом; никто, конечно, ничего такого не подумает – уж точно не Трип. Между тем Сплин считал, что заслуживает места рядом с Пёрл: он привел ее сюда и полагал, что его претензии первичны – он же самый давний ее знакомый. В результате Пёрл пристраивалась к Трипу, Сплин плюхался рядом с ней, братья сплющивали ее между собой, а Лекси растягивалась в углу, с ухмылкой глядя на эту троицу, и включала телевизор, и все четверо переводили взгляд на экран, очень остро сознавая при этом, что творится в комнате.

Дети Ричардсонов, как вскоре узнала Пёрл, жарче всего дискутировали о Джерри Спрингере.

– Слава богу, мы живем в Шейкер-Хайтс, – сказала Лекси во время провокационного эпизода “Хватит водить белых девчонок домой к ужину!”. – В смысле, нам повезло. Здесь никто и не замечает расу.

– Все замечают расу, Лекс, – возразил Сплин. – Вопрос в том, кто притворяется, будто не замечает.

– Посмотри на нас с Брайаном, – ответила Лекси. – Мы с одиннадцатого класса вместе, и всем по-фиг, что я белая, а он черный.

– Может, его родители предпочли бы, чтоб он с чернокожей встречался, тебе не кажется?

– Мне-то кажется, что им все равно. – Лекси вскрыла еще банку диетической колы. – Цвет кожи ничего не говорит нам о том, кто ты есть.

– Ш-ш-ш, – вмешался Трип. – Продолжается.

И однажды во время такого сеанса – эпизод назывался “Я рожаю ребенка от твоего мужа!” – Лекси вдруг повернулась к Пёрл и спросила:

– А ты не думаешь поискать своего отца?

Пёрл ответила ей расчетливо пустым взглядом, но Лекси это не помешало:

– В смысле, выяснить, где он, например. Ты не хочешь с ним познакомиться?

Пёрл перевела взгляд на экран, где здоровенные охранники тщились усадить на место оранжевоволосую тетку, сложенную как кожаное кресло для великана.

– Для начала надо выяснить, *кто* он, – ответила Пёрл. – И, ну, ты глянь, как *прекрасно* это заканчивается. Это мне зачем такое? – Сарказм не был дарован ей природой, и даже ей самой показалось, что вышло скорее жалобно, чем иронично.

– Он же может быть кем угодно, – задумчиво сказала Лекси. – Бывший. Может, сбежал, когда твоя мама забеременела. Или, может, погиб от несчастного случая, когда ты еще не родилась. – Лекси побарабанила пальцем по губам, про себя жонглируя версиями. – Может, ушел к другой. Или... – И она в возбуждении подскочила. – Может, он ее *изнасиловал*. А она забеременела и решила родать.

– Лекси, – вдруг сказал Трип. Он сдвинулся по дивану и обнял Пёрл за плечи. – А ну заткнула пасть.

Чтобы Трип вникнул в беседу, не касавшуюся спорта, – более того, чтобы Трип уловил чужие чувства... прецедент необычайный, и это поняли все.

Лекси закатила глаза:

– Да я *пошутила*. Вот Пёрл меня поняла. Правда, Пёрл?

– Конечно, – ответила Пёрл. И выдавила улыбку. – А то.

Под мышками у нее внезапно повлажнело, сердце заколотилось как бешеное – то ли рука Трипа у нее на плече подействовала, то ли слова Лекси, то ли все это разом. Наверху, где-то над головой, Иззи разучивала Лало^[14] на скрипке. На экране две женщины снова вскочили и вцепились друг другу в волосы.

Однако вопрос Лекси задел за живое. Пёрл и сама всю жизнь гадала, но сейчас слова были сказаны вслух, прозвучали из чужих уст, и оттого вопрос показался еще настоятельнее. Время от времени Пёрл

тоже его задавала, но в детстве Мия отшучивалась. “Ой, да я тебя в «Гудвилле» нашла, в контейнере с уцененкой”, – как-то раз сказала она. А в другой раз: “Я тебя выкопала на капустной грядке. А ты не знала?” Подростком Пёрл наконец перестала спрашивать. В тот день вопрос еще ворочался в голове, когда Пёрл вернулась домой, где мать в гостинной ретушировала фотографию велосипедного скелета.

– Мам, – начала Пёрл и поняла, что повторить лобовое выступление Лекси не в силах. Вместо этого она задала вопрос, что полноводной подземной рекой тек в недрах всех прочих вопросов: – Я была желанна?

– Где желанна?

Аккуратным мазком Мия снабдила пустую велосипедную вилку колесом цвета берлинской лазури.

– Здесь. В смысле, ты меня хотела? Когда я была маленькая?

Мия не отвечала очень долго – Пёрл уже заподозрила, что мать не услышала. Но после паузы Мия с кистью в руке обернулась, и, к изумлению Пёрл, глаза у нее были влажные. Неужто мать плачет? Ее хладнокровная, могучая, неукротимая мать, которую Пёрл ни разу не видела в слезах: ни когда “кролик” заглох на обочине и какой-то человек в синем пикапе остановился, якобы хотел помочь, отнял у Мии сумочку и укатил; ни когда Мия уронила на ногу, на мизинец, тяжелую кровать – найденную на обочине же – и разбила так сильно, что ноготь в конце концов стал баклажанный и вообще сошел. И однако сейчас в материнских глазах незнакомое мерцание – будто смотришь на водяную рябь.

– Была ли ты желанна? – переспросила Мия. – О да. Ты была желанна. Очень, очень желанна.

Она отложила кисть в лоток и почти бегом кинулась из комнаты, больше не взглянув на Пёрл, оставив дочь рассматривать недоделанный велосипед, и заданный вопрос, и щетину кисти в лужице краски, что постепенно затягивалась кожей.

Эпизод Джерри спрингера будто открыл Лекси глаза на существование Пёрл, и с того дня Лекси заинтересовалась подругой младшего брата – Маленькой Сироткой Пёрл, как она сказала Сирине. Вон однажды вечером по телефону.

– Такая тихоня, – дивилась Лекси. – Будто боится заговорить. А если на нее смотришь, она краснеет – прямо красная-красная, как помидор. Буквально помидор.

– Она ужас какая стеснительная, – согласилась Сирине. Они с Пёрл несколько раз встречались у Ричардсонов, но пока Сирине не довелось услышать от Пёрл ни слова. – Наверное, заводить друзей не умеет.

– Не просто не умеет, – задумчиво сказала Лекси. – Она как будто пытается быть невидимой. Прямо на виду прячется.

Пёрл, такая робкая и тихая, такая боязливая, завораживала Лекси. А поскольку Лекси – это Лекси, начала она с внешности.

– Она симпатичная, – сказала она Сирине. – Если б не эти громадные футболки, была бы лапочка.

И вот так однажды под вечер Пёрл явилась домой с целым пакетом новой одежды. Не совсем новой, как выяснила Мия, складывая одежду в стирку: залатанные джинсы семидесятых, с тесьмой по шву, цветастая хлопковая блузка, сверстница джинсов, кремовая футболка с портретом Нила Янга на груди.

– Мы с Лекси ходили в лавку, – объяснила Пёрл, когда Мия вернулась из прачечной. – Она хотела прошвырнуться по магазинам.

Вообще-то Лекси сначала повезла Пёрл в торговый центр. Вполне естественно, сочла Лекси, что Пёрл обратится за советом к ней: Лекси привыкла, что все спрашивают ее мнения, – более того, зачастую считала, что ее мнения спросили, просто не совсем вслух. А Пёрл – такая лапочка, ежу понятно: эти огромные темные глаза, которые без макияжа кажутся еще больше; эти длинные темные кудри, которые, если распустить косу – как-то раз Лекси удалось уговорить Пёрл, – вот-вот поглотят ее целиком. И как Пёрл всё разглядывает в доме Ричардсонов – да, собственно, везде и всё разглядывает, – будто впервые в жизни видит. Когда Пёрл пришла во второй раз, Сплин

оставил ее в солярии и отправился за газировкой, а Пёрл не стала садиться – медленно крутилась на месте, точно не в дом Ричардсонов попала, а в страну Оз. Лекси как раз шла по коридору с последним номером “Космо” и диетической колой, спряталась за дверь и посмотрела. Пёрл протянула робкий пальчик и обвела лозу на обоях, и на Лекси теплой волной нахлынула жалость к ней, этой грустной мышке. Тут из кухни вышел Сплин с двумя банками “Вернорса”.

– А я тебя не видел, – сказал он. – Мы кино хотели посмотреть.

– Я за, – ответила Лекси, и, как выяснилось, и впрямь была за.

Устроившись в большом кресле в углу, она одним глазом наблюдала за Пёрл – та наконец села и вскрыла банку с газировкой. Сплин сунул кассету в видеоплеер, Лекси открыла журнал. Тут ее посетила идея – можно же сделать доброе дело.

– Эй, Пёрл, я дочитаю, и можешь взять, – сказала она, в душе смутно сияя подростковой щедростью.

А в тот день в начале октября Лекси решила поводить Пёрл по магазинам.

– Поехали, Пёрл, – сказала она. – Мы в торговый центр.

Говоря *торговый центр*, Лекси даже не вспомнила про ТЦ “Рэндалл-парк” неподалеку от запруженной Уорренсвилл-роуд, за шиномонтажом, ипотечной конторой и круглосуточным детским садиком, – ТЦ “Рэндалл-мрак”, иногда называли его школьники. Лекси жила в Шейкер-Хайтс и вспомнила только про торговый центр, где покупала всё, – “Бичвуд-плейс”, наманикюренный маленький ТЦ чуть поодаль от дороги, на отдельной овальной лужайке, с вывесками “Диллардс”, и “Сакса”, и нового “Нордстрема”. Лекси никогда не слышала выражения “отбеленное место”, а услышав, ужаснулась бы. Но, даже навестив и “Гэп”, и “Экспресс”, и “Боди шоп”, Пёрл купила только претцель и банку бальзама для губ со вкусом киви.

– Ничего не понравилось? – спросила Лекси.

Пёрл – у нее было всего семнадцать долларов, и она знала, что у Лекси двадцатка в неделю, – замялась.

– Там всё как с конвейера, – в конце концов сказала она. И обвела рукой “Чик-фил-Э” и торговый центр за ним. – В школе все как клоны. – Она пожала плечами и покосилась на Лекси – убедительно получилось? – Я люблю другие места. Где вещи, которых ни у кого нет.

Тут Пёрл осеклась и уставилась на бело-голубую сумку “Гэп” на шнурках, болтавшуюся у Лекси на локте, – испугалась, что Лекси обидится. Но Лекси обижалась редко – даже и не припомнить такого: от мелкой сеточки ее мозговых извилин отскакивали тонкие намеки и подтексты. Лекси склонила голову набок.

– Это какие, например, места? – спросила она. И Пёрл объяснила, как по Нортфилд-роуд мимо ипподрома доехать до благотворительной лавки, где вместе с ними рылись в вещах женщины, которым выпал обеденный перерыв в закусочной “Тако Белл” или предстояла ночная смена. За свою жизнь Пёрл побывала в десятках благотворительных лавок в десятках городов, и отчего-то все они пахли одинаково – сладкой пылью, – и она была уверена, что другие ребята чувят этот запах, даже после двух стирок, будто он впитывается прямо ей в кожу. Эта лавка, где Пёрл с матерью откопали в корзинах старые простыни на занавески, исключением не была. Но когда Лекси восторженно взвизгнула, Пёрл посмотрела на лавку новыми глазами: здесь найдется вечернее платье шестидесятых для осеннего бала, медицинская форма для дремотных домашних дней, всевозможные старые концертные футболки, а если повезет – клеша, *настоящие* клеша, не возрожденное ретро из каталога “Дилии”^[15], а реальные клеша, с широченными штанинами, у которых джинса на коленках истерта до полупрозрачности десятилетиями носки.

– Винта-аж, – вздохнула Лекси и благоговейно зарылась в вещи на вешалке. Вместо блузок и хипповых юбок, которые всегда покупала ей Мия, Пёрл добыла грудку чудных футболок, юбку из старых “ливайсов”, темно-синее худи на молнии. Она показала Лекси, как читать ценники (по вторникам полцены – зеленый, по средам – желтый), а когда Лекси нашла подходящие джинсы, Пёрл мастерски отколупала оранжевый ценник и поменяла его на зеленый, с уродского полиэстерного блейзера восьмидесятых. Под командованием Пёрл джинсы подешевели до 4 долларов, весь ее пакет – до 13,75 доллара, и Лекси так возрадовалась, что заехала в автокафе “Вендиз” и купила им обеим по “фрости”.

– Эти джинсы прямо для тебя *созданы*, – оплатила ей Пёрл за доброту. – Они были тебе суждены.

Лекси подождала, пока шоколад растает на языке.

– Знаешь что? – сказала она, полуприкрыв глаза, словно четче фокусируясь на Пёрл. – К этой юбке отлично пойдет полосатая рубашка. У меня есть старая, могу отдать.

Дома Лекси вытащила из гардероба полдюжины рубашек.

– Видишь? – сказала она, разгладив на Пёрл воротник, аккуратно застегнув одну-единственную пуговку между грудей, в режиме минимальной скромности, как в тот год носили все старшеклассницы. Развернула Пёрл к зеркалу и одобрительно кивнула. – Забирай. На тебе смотрится миленько. Мне и так одежду девать некуда.

Пёрл запихала рубашки в пакет. Если мать заметит, решила она, скажу, что они тоже из лавки. Она сама не знала, почему решила, что мать не одобрит наследование старых тряпок Лекси, хотя Лекси они и не нужны. Мия, отправляя вещи в стирку, заметила, что рубашки пахнут “Тайдом” и духами, а не пылью, что они свежие, будто поглаженные. Но ни слова не сказала, а на следующий вечер вся новая одежда Пёрл лежала в изножье постели аккуратной стопкой, и Пёрл с облегчением перевела дух.

Несколько дней спустя в кухне Ричардсонов Пёрл, облачившаяся в одну из рубашек Лекси, заметила, что Трип снова и снова искоса на нее поглядывает, и с крохотной самодовольной улыбочкой поправила воротник. Трип и сам не знал, отчего косится на Пёрл, но поневоле замечал песочные часы наготы, открытые рубашкой: голый треугольник под ключицами, голый треугольник живота с неглубокой впадинкой пупка, прерывистые вспышки темно-синего бюстгальтера над и под единственной застегнутой пуговицей.

– Хорошо сегодня выглядишь, – сказал он, словно только что ее заметил, и Пёрл густо порозовела, до самых корней волос. Трип, кажется, тоже смутился, будто сознался в пристрастии к совсем отстойной телепередаче.

Сплин это ему с рук не спустил.

– Она всегда хорошо выглядит, – вмешался он. – Иди ты, Трип.

Впрочем, Трип, по своему обыкновению, раздражения брата не заметил.

– В смысле, особенно хорошо, – пояснил он. – Эта рубашка тебе идет. Подчеркивает глаза.

– Это рубашка Лекси, – выпалила Пёрл, и Трип ухмыльнулся.

– Тебе она идет больше, – сказал он почти застенчиво и удалился из дома.

Назавтра Сплин совершил набег на свои сбережения и преподнес Пёрл блокнот – тонкий черный “молескин” на резинке.

– Хемингуэй точно в таких же писал, – сообщил Сплин, а Пёрл поблагодарила и спрятала блокнот в сумку на молнии.

Она перепишет туда свои стихи, думал Сплин, выбросит эту убогую тетрадку на пружинке, и слегка утешался – когда она улыбалась Трипу или вспыхивала от его комплиментов: зато он, Сплин, подарил ей блокнот, где живут ее любимые слова и мысли.

На следующей неделе миссис Ричардсон решила пропарить ковры, и детям было велено до ужина домой не приходить.

– Если я увижу на коврах хоть один след ботинка, Иззи, или кроссовки, Трип, вы, в свою очередь, не увидите карманных денег год. Все понятно?

Трип уехал на футбольный матч, Иззи ушла на скрипку, но так вышло, что Лекси заняться было нечем. У Сирины Вон тренировка по кроссу, у всех остальных друзей тоже дела. После десятого урока Лекси отыскала Пёрл у шкафчиков.

– Чем занимаешься? – спросила Лекси, уронив в ладонь Пёрл белый кругляш жвачки. – Ничем? Поехали к тебе.

Прежде Пёрл неохотно приглашала друзей в гости: квартиры были тесные и загроможденные, нередко в захудалых районах, и всегда велик шанс, что Мия работает над очередным проектом – то есть, с точки зрения стороннего наблюдателя, необъяснимо занята бог знает чем. Но Лекси подошла сама, Лекси просится в гости, Лекси хочет потусоваться с Пёрл – как будто принц протянул руку Золушке.

– Поехали, – ответила Пёрл.

К ее восторгу – и к великой досаде Сплина, – они втроем забрались в “эксплорер” Лекси и, оглушая прохожих “Ти-Эл-Си”^[16] из открытых окон, покатали по Паркленд-драйв на Уинслоу. Когда подъехали к дому, Мия, как раз поливавшая азалии во дворе, еле подавила нежданный, но необоримый порыв отбросить шланг, вбежать в дом и запереть дверь. Пёрл никогда не приглашала друзей – и Мия тоже не водила в дом чужаков. *Не дури*, сказала себе Мия. *Ты же этого хотела, да? Чтобы у нее были друзья.* Когда дверцы

“эксплорера” открылись и из машины высыпали три подростка, Мия уже выключила воду и улыбалась гостям.

Она разогревала попкорн – любимое блюдо Пёрл и единственный перекус в серванте – и гадала, захромает ли при ней беседа. А вдруг они будут сидеть в неловком молчании и Лекси больше не захочет приезжать? Но когда в крышку кастрюли застучали первые зерна, три подростка уже успели обсудить новую машину Энтони Брекера – древний “фольксваген-жук”, выкрашенный лиловым; и как Мег Кауфман на той неделе пришла в школу пьяной; и насколько лучше Анна Ламонт выглядит с выпрямленными волосами; и надо ли “Индейцам” менять эмблему (“Вождь Ваху, – сказала Лекси, – это голимый расизм”). Разговор застопорился, лишь когда зашла речь о подаче документов в колледж. Тряся кастрюлю, чтобы попкорн не пригорел, Мия услышала стон Лекси и глухой бум – вероятно, лоб треснулся о столешницу.

Поступление в колледж мучило Лекси все больше. В Шейкер-Хайтс к вузам относились серьезно: рейтинг поступлений в округе – девяносто девять процентов, и почти все школьники куда-нибудь поступали. Все вокруг подали документы заранее, и в Комнате Отдыха только и болтали о том, кто куда идет. Сирина Вон собиралась в Гарвард. Брайан, поведала Лекси, грезит о Принстоне. “Можно подумать, Клифф и Клэр меня еще куда-нибудь пустят”, – говорил он. На самом деле родителей Брайана звали Джон и Дебра Эйвери, но отец его был врач, а мать адвокат, и, правду сказать, они и впрямь были такие, в духе Косби^[17]: отец в свитере и дружелюбный, мать остроумна, компетентна и спуску не дает. Они познакомились студентами в Принстоне, и у Брайана были младенческие фотографии, на которых он в ползунках с надписью “Принстон”.

У Лекси прецеденты не так ясны: мать выросла в Шейкер-Хайтс и далеко не уезжала – только до Денисона, откуда затем вернулась бумерангом. Отец родился в маленьком городке в Индиане и, познакомившись с матерью в колледже, взял и остался, переехал в ее родной город, защитился в Университете Кейс Вестерн Резерв, поднялся от младшего юрисконсульта до партнера в одной из крупнейших юридических фирм города. Но Лекси, как и большинство ее одноклассников, хотела убраться из Кливленда куда подальше. Кливленд ютился на берегу мертвого грязного озера, а озеро питала

река, знаменитая тем, что умудрялась гореть; Кливленд построили на реке, чье имя во французском означало шероховатую кожу, а в английском – огорчение: Шагренъ. В честь реки назвали все остальное – разбросали по городу очаги агонии, прошили его жилами смятения: Шагренъ-фоллз, Шагренъ-бульвар, природный парк “Шагренъ”. Недвижимость “Шагренъ”. Автосервис “Шагренъ”. Эта шагренъ плодилась и размножалась – можно подумать, вот-вот наступит дефицит. Ошибка на Озере – так порой называли этот город, и Лекси, как и остальные младшие Ричардсоны, считала, что из Кливленда надлежит бежать.

Срок приближался, и Лекси решила заранее подать документы в Йель. Там хорошая театральная программа, а Лекси в том году сыграла главную роль в мюзикле, хотя и училась тогда только в одиннадцатом классе. При всем напускном легкомыслии, она была почти в голове класса – формально в Шейкер-Хайтс учеников не ранжировали, чтобы сгладить конкуренцию, но Лекси знала, что она где-то в первой двадцатке. Она взяла четыре углубленных курса и была секретарем Французского клуба.

– Пусть ее поверхностность тебя не обманывает, – объяснил Сплин Пёрл. – Знаешь, почему она по полдня телик смотрит? Потому что она успевает сделать уроки за полчаса перед сном. Раз – и готово. – И он щелкнул пальцами. – У Лекси хорошие мозги. Просто в реальной жизни она их не всегда включает.

Йель – не самый очевидный ход, но шансы велики, сказала Лекси профориентолог.

– И к тому же, – прибавила миссис Либерман, – там знают, что ребята из Шейкер всегда многого добиваются. У тебя будет преимущество.

Лекси и Брайан встречались с одиннадцатого класса, и ей нравилось, что до него можно будет добраться на поезде.

– Будем друг к другу мотаться, – заметила ему Лекси, распечатывая заявление в Йель. – Сможем даже встречаться в Нью-Йорке.

Вот этот аргумент и убедил ее окончательно – Нью-Йорк, в ее фантазиях дышавший гламурным обаянием с тех самых пор, как она в детстве прочла “Элоизу”^[18]. Лекси не хотела учиться в Нью-Йорке – профориентолог подкинула идею насчет Коламбии, но Лекси слыхала,

что райончик там *сомнительный*. Однако съездить на денек приятно – посмотреть картины утром в Метрополитен, или, может, потранжирить деньги в “Мейсиз”, или даже провести с Брайаном выходные – а потом метнуться прочь от толп, и грязи, и шума.

Но для начала нужно написать сочинение. Хорошее сочинение, твердо сказала миссис Либерман, выделит Лекси из толпы.

– Вы послушайте, какая тупая тема, – простонала Лекси в кухне у Пёрл, выуживая распечатанное заявление из сумки. – “Перепишите известный сюжет с другого ракурса. Например, перескажите «Волшебника страны Оз» с точки зрения Злой Ведьмы”. Это же заявка в колледж, а не писательский семинар. У меня в школе углубленный английский. Ну вы хотя бы задайте мне нормальное сочинение.

– Может, сказку? – предложил Сплин. Он оторвался от тетради и открытого учебника по алгебре. – “Золушку” с точки зрения сводных сестер. Вдруг они не такие уж и злые? Вдруг это она травила *их*.

– “Красную Шапочку” с точки зрения волка, – вставила Пёрл.

– Или “Румпельштильцхен”, – задумчиво сказала Лекси. – Дочь мельника, она же его надула. Он ей прятл-прятл, она ему ребенка обещала, а потом взяла и обманула. Может, это она злодейка. – Бордовым ногтем Лекси постучала по крышке диетической колы, купленной после школы, и вскрыла банку. – Тогда нечего было и обещать, раз отдавать не хотела.

– Кто его знает, – внезапно встряла Мия. Она развернулась к ним с миской попкорна в руках, и все трое подпрыгнули, точно с ними заговорила мебель. – Может, она не сразу поняла, от чего отказывается. Может, увидела ребенка и передумала. – Мия поставила миску посреди стола. – Не суди с наскака, Лекси.

Лекси на миг устыдилась, потом закатила глаза. Сплин стрельнул взглядом в Пёрл: “Видишь? Поверхностная”. Но Пёрл не заметила. Когда Мия, смутившись своей вспышки, ушла в гостиную, Пёрл повернулась к Лекси.

– Я могу помочь, – сказала она тихо, думая, что Мие не слышно. А спустя миг сочла, что этого маловато: – Истории я умею. Могу даже тебе написать.

– Правда? – просияла Лекси. – Господи, Пёрл, я перед тобой в долгу навеки.

И она бросилась Пёрл на шею. Сплин решил забить на уроки и с грохотом захлопнул учебник, а в гостиной Мия, поджав губы, ткнула кистью в банку с водой, и краску смыло с щетины вихриком цвета грязи.

Пёрл сдержала слово и на следующей неделе вручила Лекси отпечатанное сочинение – историю короля-лягушонка с точки зрения лягушонка. Ни Мия, не желавшая признаваться, что подслушивала, ни Сплин, который не хотел, чтоб его обзывали пай-мальчиком, не сказали ни слова. Но обоим все отчетливее становилось не по себе. Когда Сплин утром перед школой заходил за Пёрл, она появлялась из комнаты в рубашке Лекси, или в ее топе на бретельках, или с темно-красной помадой.

– Мне Лекси дала, – объясняла она, равно матери и Сплину, и оба глядели на нее в смятении. – Она сказала, для нее слишком темная, а мне идет. Потому что у меня волосы темнее.

Под пятном помады губы у нее были как синяк, нежные и воспаленные.

– Смой, – впервые в жизни велела Мия.

Но на следующее утро Пёрл вышла в колье Лекси – точно черный кружевной рубец вокруг шеи.

– Я приду к ужину, – сказал Пёрл. – Мы с Лекси после школы по магазинам.

Документы в колледж отсылались и отсылались, и к концу октября в двенадцатом классе воцарился праздничный дух. Лекси тоже подала документы и пребывала в благодушном настроении. Сочинение у нее – спасибо Пёрл – получилось, результаты экзаменов хороши, средний балл выше 4,0 – спасибо углубленным курсам, – и она уже воображала себя в кампусе Йеля. Надо бы как-то вознаградить Пёрл за помощь, решила Лекси и, поразмыслив, придумала идеальную награду: наверняка Пёрл понравится, но сама она приглашения не получит ни за что.

– У Стейси Перри тусовка в эти выходные, – сказала Лекси. – Хочешь пойти?

Пёрл замялась. О тусовках у Стейси Перри она слыхала, и попасть туда было очень соблазнительно.

– Не знаю – если мама разрешит.

– Да ладно тебе, – сказал Трип, перегнувшись через подлокотник дивана. – Я пойду. Мне же нужно там с кем-то танцевать.

После чего уговоры уже не требовались.

В средней школе Шейкер-Хайтс о тусовках у Стейси Перри ходили легенды. Мистер и миссис Перри жили в большом доме, часто бывали в разъездах, и Стейси пользовалась этим на всю катушку. После ранней подачи документов нервы у всех поуспокоились, и старшие намеревались повеселиться. Всю неделю только и разговоров было, что о вечеринке на Хэллоуин: кто идет, кто не идет?

Сплин и Иззи, естественно, не пригласили; Стейси Перри оба знали понаслышке, а в списке приглашенных значились в основном двенадцатиклассники. Пёрл, невзирая на участие Лекси, так и не познакомилась почти ни с кем, кроме Ричардсонов, и нередко в школе общалась только со Сплином. Однако и Лекси, и Сирину Вон пригласила Стейси лично, и они вправе были привести гостя – даже десятиклассницу, которую толком никто не знал.

– А я думал, мы “Кэрри” в прокате возьмем, – проворчал Сплин. – Ты говорила, что не смотрела.

– В следующие выходные, – пообещала Пёрл. – Это же и будет настоящий Хэллоуин. Если, конечно, ты не хочешь пойти по домам просить конфеты.

– Это мы уже переросли, – ответил Сплин.

Как и во всем, насчет Хэллоуина в Шейкер-Хайтс имелись правила: в шесть и восемь выли сирены, отмечающие начало и конец процедуры, и хотя формальных возрастных ограничений не было, на заявившихся под дверь подростков люди смотрели косо. В последний раз Сплин ходил по домам в одиннадцать лет – нарядился тогда M&M's.

Однако для вечеринки у Стейси костюм был *de rigueur*^[19]. Брайан идти не собирался – затянул с подачей документов в Принстон и вместе с горсткой других тормозов лихорадочно заканчивал к последнему сроку, – так что его в расчет не брали.

– Давайте Ангелами Чарли! – в припадке вдохновения вскричала Лекси, поэтому и она, и Сирина, и Пёрл нарядились в клеша и полиэстерные блузы, а волосы зачесали как можно выше.

До невозможности раздвув прически, они попозировали перед зеркалом в дымке лака для волос – спина к спине, тыча пальцами, как пистолетами.

– Идеально, – одобрила Лекси. – Блондинка, брюнетка и черная. – И она наставила палец на нос Пёрл: – Ну что, ты готова повеселиться?

Разумеется, верный ответ – нет. Пёрл в жизни не выпадало таких запредельных ночей. Весь вечер у кромки гигантского газона перед домом Стейси парковались машины – со скейтбордистами, и зверями, и Фредди Крюгерами за рулем. Минимум четверо парней надели маски из “Крика”; двое-трое облачились в футбольные куртки и шлемы; немногочисленные творческие личности явились в сюртуках, и федорах, и черных очках, и боа из перьев. (“Сутенеры”, – пояснила Лекси.) Девчонки в основном надели минималистичные платья и шляпки или звериные ушки; впрочем, одна преобразилась в Принцессу Лею, а другая, передевшись фемботом, висла на локте Остина Пауэрса^[20]. Сама Стейси была ангелом: серебристое мини-платье на бретельках, блестящие крылья, колготки-сеточки и нимб из обруча для волос.

Лекси, Пёрл и Сирина прибыли к половине десятого, когда все уже напилось. Воздух загустел от пота и едкой пивной кислятины, по темным углам терлись парочки. Пол в кухне был липкий; какая-то девица лежала навзничь на столе среди полупустых бутылок, курила косяк и хихикала, а какой-то мальчик вылизывал ром у нее из пупка. Лекси и Сирина налили себе выпить и ввинтились в толчею на танцполе в гостиной. Пёрл в одиночестве осталась в углу кухни – обниматься с красным пластиковым стаканом “Столичной” с колой и выглядывать Трипа.

Спустя полчаса она заметила его в патио – Трип оделся дьяволом, в красном блейзере из благотворительной лавки и с дьявольскими рогами.

– Я даже не знала, что он знаком со Стейси, – прокричала Пёрл в ухо Сирина, когда та вернулась за добавкой.

Сирина пожала плечами:

– Стейси говорит, она его как-то увидела без рубашки после тренировки и решила, что он *хорош*. Она сказала – цитирую, – что он бомба. – Она отпила из стакана и хихикнула. Лицо ее, отметила Пёрл, горело. – Не рассказывай Лекси, ладно? Она сблюет.

И Сирина зашагала назад в гостиную, слегка пошатываясь на танкетках, а Пёрл сквозь раздвижные стеклянные двери посмотрела, как Трип пластмассовыми вилами тычет какую-то рыжую девчонку

между лопаток. Пёрл взбила волосы и составила план. Вскоре стакан у Трипа опустеет. Трип зайдет в кухню и увидит Пёрл. “Как жизнь, Пёрл?” – скажет он. И в ответ она скажет что-нибудь умное. Что бы это могло быть? Что сказала бы Лекси мальчику, который ей нравится?

Но, перебирая знойные и остроумные варианты, она заметила, что Трип куда-то пропал. Зашел в дом или уже свалил? Пёрл протолкалась в гостиную, держа стакан повыше, – никого не разглядишь. В магнитофоне грохотали Пафф Дэдди с Мейсом^[21], пульсируя басом так громко, что Пёрл чувствовала его горлом; затем магнитофон притих и перешел к Бигги^[22]. Освещалось все это лишь редкими свечами, и Пёрл различала только силуэты, что извивались и категорически нецеломудренно терлись друг о друга. Она протиснулась на задний двор, где стайка парней заливала в себя пиво банками и спорила о шансах своей команды на отборочных по американскому футболу.

– Если мы выиграем у Игнатия, – орал один, – а Университи – у Ментора...

Тем временем у Лекси случилась грандиозная ночь. Танцевать она обожала, с Сириной и другими подругами ездила в город всякий раз, когда в каком-нибудь клубе проводили вечер для подростков, – или если можно проскочить мимо вышибалы с липовыми документами, где они значились третьекурсницами. Как-то раз они просочились на рейв на заброшенном складе во Флэтс и танцевали до трех ночи, и на шеях и запястьях у них горели ободки. Сирина с Лекси часто танцевали вместе – непринужденно, две девчонки, которые знают друг друга больше половины жизни, бедро к бедру или лобок к лобку, и Лекси выгибалась и терлась о Сирину задом. Сегодня они танцевали вдвоем, и тут кто-то прижался к Лекси сзади. Оказалось, Брайан, и Сирина отвернулась, многозначительно ей ухмыльнувшись.

– Ты даже не в костюме, – возмутилась Лекси, заехав ему по плечу.

– Я в костюме, – возразил Брайан. – Я человек, который только что отослал документы в Принстон. – Он обхватил Лекси за талию и прижался губами к ее шее.

Спустя полчаса оба были в лихорадочном жару от танцев, и алкоголя, и сладкой головокружительности восемнадцати лет. С тех пор как они встречались, они уже кое-что делали, как Лекси уклончиво говорила Сирине, но *это*, главное *это* разделяло их, точно глубокий

бассейн, куда они разве что опускали пальчики. Сейчас, прижимаясь к Брайану, разгорячившись от рома с колой, чувствуя, как музыка пульсирует в их телах одним на двоих сердцебиением, Лекси вдруг захотелось погрузиться в этот бассейн – и нырнуть до самого дна. Когда Лекси была моложе и не такая опытная, она воображала свой первый раз. Все спланировала: свечи, цветы, “Бойз ту Мен”^[23] на CD-проигрывателе. Уж по меньшей мере – спальня и кровать. Не заднее сиденье машины, как у некоторых подруг, и уж точно не школьная лестница, как, по слухам, у Кендры Соломон. А теперь Лекси поняла, что ей все это по барабану.

– Хочешь, прокатимся? – предложила она. Оба понимали, что она предлагает.

Не обменявшись ни словом, они выбежали к обочине, где ждала машина Лекси.

К тому времени Пёрл вернулась в свой угол на кухне – ждать, когда снова появится Трип. Но Трип не появился – ни к половине одиннадцатого, ни к одиннадцати. Проходил час за часом, опустошалась бутылка за бутылкой, вечеринка дичала и кричала все громче. В начале первого Стейси Перри, наливая себе воды в стакан, сблевала в кувшин, и Пёрл решила, что пора домой. Но Лекси она не нашла, даже пробившись сквозь пульсирующую массу тел в гостиной. А выглянув наружу, не поняла, стоит ли “эксплорер” Лекси в неровном ряду машин.

– Лекси не видели? – спрашивала она всех, кто хоть отдаленно смахивал на трезвого. – А Сирину?

Большинство выкатывали глаза, будто тщились вспомнить, кто она такая.

– Лекси? – переспрашивали они. – А, Лекси Ричардсон? Ты пришла с ней?

В конце концов одна девчонка, растянувшаяся на коленях у футболиста в большом кресле, сказала:

– По-моему, она со своим парнем уехала. Да, Кев? Кев в ответ мясистыми руками взял ее за лицо, притянул ее губы к своим, и Пёрл отвернулась.

Она не вполне понимала, где находится, а от водки и без того условная карта Шейкер-Хайтс в голове помутилась еще больше. Можно отсюда добраться до дома пешком? Долго идти? Как эта улица-

то называется? Пёрл позволила себе минутку пофантазировать. Вот бы Трип шагнул сейчас в дом сквозь раздвижные стеклянные двери, и вслед за ним в кухню ворвалась холодная свежесть. “Тебя подвезти?” – спросил бы Трип.

Но, разумеется, ничего такого не произошло, и в конце концов Пёрл умыкнула беспроводной телефон с кухонной столешницы, шмыгнула во двор к гаражу, где было потише, и позвонила Сплину.

Спустя двадцать минут к дому Стейси подкатила машина. Пассажирское окно опустилось, и со своего места на парадном крыльце Пёрл разглядела хмурого Сплина.

– Залезай, – только и сказал он.

Салон в машине был сплошь обит мягчайшей кожей – она гладила бедра Пёрл, будто человеческая.

– Это чья машина? – глупо спросила Пёрл, когда они отъезжали.

– Мамина, – ответил Сплин. – И, предвзято твой вопрос: она спит, так что давай не тормозить.

– Но у тебя же еще нет прав.

– “Мне можно” и “я умею” – две разные вещи. – Сплин свернул на Шейкер-бульвар. – Ну, ты сильно пьяная?

– Я выпила один стакан. Я не пьяная. – Еще не договорив, Пёрл засомневалась, правда ли это – водки в стакане было немало. Голова кружилась, и Пёрл закрыла глаза. – Я просто не знала, как добраться домой.

– Машина Трипа, между прочим, там еще стояла. Мы ее проехали. Чего ж ты не попросила его?

– Я его не нашла. Никого не могла найти.

– Небось наверху с девчонкой какой-нибудь.

Некоторое время они ехали молча, и слова эти ворочались у Пёрл в голове: “наверху с девчонкой какой-нибудь”. Она попыталась вообразить, каково это, что происходит в этих темных комнатах, представила, как к ней прижимается тело Трипа, и ее залило красным жаром. Судя по часам на приборной доске, дело близилось к часу ночи.

– Вот теперь ты понимаешь, – сказал Сплин. – Какие они. – Возле квартала Мии и Пёрл он выключил фары, подкатил к тротуару. – Мама твоя рассердится.

– Я сказала, что буду с Лекси, а она сказала, что мне можно до двенадцати. Я не очень опоздала. – Пёрл глянула на горящее окно кухни. – От меня воняет?

Сплин склонился ближе.

– От тебя немножко пахнет дымом. А вот бухлом не пахнет. На. – И он вытащил из кармана пачку “Трайдента”.

По словам всех очевидцев, хэллоуинская вечеринка продлится до четверти четвертого утра и под конец кое-кто отрубится на восточном ковре у Перри в гостиной. Лекси прокрадется домой в полтретьего, Трип – в три, и на завтра оба проспят за полдень. Позже Лекси извинится перед Пёрл и исповедуется шепотом: они с Брайаном давно думали, а ночью им показалось, что пора, и... ну, она не знает, просто хотела кому-то рассказать, она даже Сирина еще не говорила, а она теперь иначе выглядит? И Пёрл решит, что да, Лекси выглядит иначе – худее, резче, волосы забраны в вислый хвост, в уголках глаз остались мазки туши и блеска; в крохотной складочке у нее между бровей Пёрл различит, какой станет Лекси через двадцать лет, – похожей на мать. И с того дня Пёрл будет казаться, что каждый жест, каждый поступок Лекси окрашен сексом – некая умудренность в смехе, и косые взгляды, и беспечная манера всех трогать за плечо, за руку, за коленку. Это расслабляет, решит Пёрл, это растормаживает.

– А ты как? – наконец спросит Лекси, пожав ей локоть. – Домой нормально добралась? Весело было?

И Пёрл в ответ лишь осторожно – ибо только что обожглась – молча кивнет.

А сейчас она вышелушила жвачку из обертки и сунула в рот, и на языке распустилась мята.

– Спасибо.

* * *

Вопреки заверениям Пёрл – мол, Мия на опоздание не рассердится, – Мия рассердилась очень сильно. Когда Пёрл наконец поднялась в квартиру – воняя дымом, и алкоголем, и еще чем-то (Мия была плюс-минус уверена, что травой), – Мия не знала, что сказать.

– Иди в постель, – наконец выдавила она. – Поговорим утром.

Настало утро, Пёрл проспала, а когда поднялась около полудня, взлохмаченная и с резью в глазах, Мия так и не придумала, что сказать. Ты же хотела, чтобы у Пёрл была нормальная жизнь, напомнила себе она; ну вот, пожалуйста, подростки так и живут. Надо бы, наверное, включиться активнее – быть в курсе, что творится с Пёрл, что творится с Лекси, что творится с ними со всеми, – но как? Таскаться с ними на вечеринки и хоккей? Запрещать Пёрл выходить из дому? В итоге Мия так ничего и не сказала, а Пёрл безмолвно проглотила ложку хлопьев и вернулась в постель.

Вскоре, однако, случай представился сам. Во вторник после тусовки у Стейси Перри на Уинслоу-роуд заехала миссис Ричардсон.

– Вы обжились – я хотела посмотреть, не нужно ли вам чего, – пояснила она, но Мия видела, как взгляд ее блуждает по кухне и утекает в гостиную.

Мия не впервые сталкивалась с такими визитами (невзирая на прописанные в договоре “ограниченные права посещения”) и попятилась, чтобы миссис Ричардсон лучше было видно. Миновало почти четыре месяца, но мебели в квартире не прибавилось. В кухне – два разномастных стула и стол-книжка без одной откидной секции (все найдено на обочине); в комнате Пёрл – узкая кровать и комод с тремя ящиками; у Мии – по-прежнему только матрас на полу и штабеля одежды в кладовке. В гостиной – рядок подушек на полу, обернутый яркой цветастой скатертью. Но линолеум на кухне оттерт, плита и холодильник блестят, ковролин без единого пятнышка, а матрас Мии застелен свежими полосатыми простынями. Обстановка скудна, но квартира не казалась пустой. “Можно мы тут покрасим?” – спросила Мия, когда они въезжали, и миссис Ричардсон, помявшись, ответила: “Только чтобы не очень темно”. Она подразумевала, что не надо черного, темно-синего, красно-бурого, но назавтра сообразила, что, может, Мия имела в виду фрески – она же все-таки художница – и в итоге получится Диего Ривера^[24] или претенциозные граффити, которым грош цена в базарный день. Но нет, никаких фресок. Каждая комната своего цвета – кухня солнечно-желтая, гостиная густого оттенка мускусной дыни, спальни тепло-персиковые; вся квартира – будто шкатулка солнечного света, даже в пасмурный день. И повсюду висели фотографии – без рамок, прилепленные клейкой массой и все равно потрясающие.

Этюды с тенями на кирпичной стене, груды перьев, сбившиеся у берега озера Шейкер, эксперименты Мии с печатью на разных поверхностях – на кальке, на фольге, на газетах. Одна серия растянулась по всей стене – многонедельная съемка на ближайшей стройке. Сначала ничего, только бурый холмик на фоне бурой пустоты. Постепенно, кадр за кадром, холмик зеленел сорняками, покрывался косматой травой и прочей порослью, и наконец к макушке холмика цеплялся кустик. Позади холмика медленно рос трехэтажный бежевый дом – точно громадная зверюга выбиралась из-под земли. Фронтальные погрузчики и самосвалы возникали и пропадали, точно призраки, которые не подозревают, что на них смотрят. На последней фотографии бульдозер ровнял землю, выглаживал почву, расплющивал пейзаж – словно мыльный пузырь лопнул.

– Батюшки, – сказала миссис Ричардсон. – Это всё ваши?

– Иногда нужно поглядеть, как они смотрятся на стене. Тогда ясно, получилось ли. И ясно, какие мне нравятся.

Мия оглянулась на фотографии, будто на старых друзей – будто воскрешала в памяти их лица.

Миссис Ричардсон взгляделась в снимок угрюмой девочки в ковбойском костюме. Мия щелкнула ее на параде по дороге в Огайо.

– У вас замечательный портретный дар, – сказала миссис Ричардсон. – Надо же, как вы ее уловили. Почти в душу ей заглядываешь.

Мия ничего не ответила, но кивнула, – это из скромности, решила миссис Ричардсон.

– Вам бы заняться портретами профессионально, – посоветовала она. Осеклась. – Я не в том смысле, что вы не профессионал, разумеется. Но может, в студии. Или на свадьбах и помолвках. За вами гоняться будут. – Она обмахнула рукой фотографии на стене, точно они лучше объяснят ее мысль. – Более того – может быть, вы сделаете портреты нашей семьи? Я вам, разумеется, заплачу.

– Может быть, – сказала Мия. – Но с портретами беда в том, что надо показывать людей, какими они хотят выглядеть. А я люблю показывать людей, какими их вижу я. Скорее всего, в итоге я нас всех только расстрою.

Она безмятежно улыbnулась, и миссис Ричардсон не нашлась с ответом.

– А ваши работы продаются? – спросила она.

– У моей подруги галерея в Нью-Йорке, кое-что она продает. – Мия погладила одну фотографию, пальцем обвела изгиб проржавевшего моста.

– Тогда я хочу купить, – сказала миссис Ричардсон. – Более того, я настаиваю. Если не поддерживать наших художников, как им творить великое искусство?

– Это весьма великодушно.

Взгляд Мии на мгновение скользнул в окно, и миссис Ричардсон уколола досада – как-то вяловат отклик на ее филантропию.

– И финансово вы справляетесь? – спросила она. Мия верно трактовала это как вопрос об аренде квартиры и своей способности за нее платить.

– Мы всегда справлялись, – ответила она, – так или иначе.

– Но ведь наверняка фотографии продаются не всегда. Не по вашей вине, разумеется. А сколько обычно стоит фотография?

– Мы всегда справлялись, – повторила Мия. – Если надо, я подрабатываю. Уборщицей в домах, поваром на кухне. В таком духе. Сейчас на полставки во “Дворце удачи”. Китайский ресторан на Уорренвилл. У меня не бывало долгов, которых я не возвращала.

– Да нет, конечно, я совсем не это имела в виду, – вознегодовала миссис Ричардсон.

И перевела взгляд на самый большой отпечаток, в одиночестве прилепленный над каминной полкой. Женщина – спиной к камере, танцует. Пленка запечатлела ее в размазанном движении – сплошные руки: закинута над головой, прижаты к бокам, подогнуты к талии, путаница рук, и женщина, в шоке сообразила миссис Ричардсон, походила на гигантского паука в дымке паутины. Это ошарашивало, ошеломляло, но она не могла отвести взгляд.

– Мне бы в голову не пришло превратить женщину в паука, – чистосердечно призналась она.

Художники мыслят не как нормальные люди, напомнила себе миссис Ричардсон и наконец воззрилась на Мию с любопытством. Миссис Ричардсон никогда в жизни таких не встречала.

Все свое земное бытие миссис Ричардсон проводила упорядоченно и единообразно. Раз в неделю взвешивалась, и хотя вес ее колебался в пределах трех фунтов, а это, уверял врач, совершенно

нормально, она старательно ухаживала за собой. Каждое утро отмеряла ровно полчашки “Чириос” (размер порции указан на упаковке) цветастой пластиковой мерной чашкой, которую купила в “Хигбиз” еще новобрачной. Каждый вечер за ужином позволяла себе бокал вина – красного, в новостях говорили, что оно полезнее для сердца, – и тоненькая царапинка на бокале отмечала, докуда наливать. Трижды в неделю ходила на аэробiku, всю тренировку поглядывала на часы – следила, чтобы сердцебиение не превышало сто двадцать ударов в минуту. Миссис Ричардсон с детства учили жить по правилам, верить, что, если слушаться, мир будет крутиться как надо, и она жила по правилам – и верила. У нее был план, с девичества и до упора, и она скрупулезно ему следовала: школа, колледж, парень, замужество, работа, ипотека, дети. Седан с подушками и инерционными ремнями безопасности. Газонокосилка и снегоочиститель. Стиральная машина и сушилка комплектом. Короче, она все делала правильно, построила хорошую жизнь – желанную жизнь, всем желанную. А тут эта Мия, совсем другая женщина, и у нее совсем другая жизнь, и она сама себе сочиняет правила, и ничто ее не смущает. Как и фотография танцующей паучихи, это ошеломляло, но странным образом пленяло миссис Ричардсон. Отчасти хотелось изучать Мию, с антропологических позиций, понять, зачем – и как – Мия делает то, что делает. А отчасти – пока, впрочем, миссис Ричардсон сознавала это смутно – ей было тревожно, хотелось приглядывать за Мией, как за опасным зверем.

– У вас так чисто, – в конце концов произнесла миссис Ричардсон, пальцем проведя по каминной полке. – Надо бы нанять вас к нам.

Она рассмеялась, и Мия откликнулась вежливым эхом, но увидела, как семечко идеи уже треснуло, уже пустило росток у миссис Ричардсон в мозгу.

– Вот было бы прекрасно, да? – продолжала миссис Ричардсон. – Вы бы приходили на пару часов в день, слегка прибраться. Я бы вам, само собой, платила. И остаток дня можете снимать.

Мия подыскивала точные деликатные слова, дабы вырвать идею с корнем, но было поздно. Миссис Ричардсон уже вцепилась в свою мысль мертвой хваткой.

– Нет, ну правда. Приходите к нам. У нас раньше была одна женщина, прибиралась, к ужину кое-что готовила, но она весной

вернулась в Атланту, а мне бы очень не помешала помощь. Вы бы меня прямо выручили. – И она развернулась, уставилась на Мию в упор. – Более того, я настаиваю. Ваше искусство требует досуга.

Ясно было, что от возражений толку не выйдет – от возражений выйдет хуже, от возражений выйдет вражда. Это Мия уже выучила: обычно, если человек во что бы то ни стало желает сделать добро, его не отговорить ни в какую. Она в смятении вообразила Ричардсонов, и громадный блистающий дом Ричардсонов, и какое будет лицо у Пёрл, когда ее мать посмеет ступить на эти драгоценные земли. А потом Мия вообразила, как обоснуется в царстве Ричардсонов, сольется с фоном, станет приглядывать за дочерью. Возвратится в ее жизнь.

– Спасибо, – ответила она. – Это очень великодушное предложение. Как тут отказаться?

И миссис Ричардсон просияла.

Обо всем вскоре уговорились: за триста долларов в месяц Мия будет трижды в неделю пылесосить, вытирать пыль и прибираться в доме Ричардсонов и ежевечерне готовить ужин. Вроде бы замечательная сделка – всего несколько часов работы в день в обмен на стоимость месячной аренды, – но Пёрл не обрадовалась. – Но почему она попросила *тебя*? – застонала она, а Мия прикусила язык и напомнила себе, что дочери ее, как ни крути, всего пятнадцать.

– Потому что она хочет нам удружить, – парировала Мия, и Пёрл, по счастью, оставила эту тему.

Но про себя она ярилась, воображая, как Мия вторгнется в дом Ричардсонов – в *ее* пространство, пространство Пёрл. Мать будет в считанных ярдах, в кухне – слушать, наблюдать. Дневные посиделки на диване, уже понятные шуточки, даже нелепый ритуал с Джерри Спрингером – всё коту под хвост. Лишь несколько дней назад Пёрл набралась храбрости шлепнуть Трипа по руке, когда он пошутил про ее брюки. *А зачем так много карманов?* – поинтересовался он. – *Ты что там прячешь?* Сначала обхлопал карманы сбоку на коленках, потом на бедрах, а когда добрался до тех, что на заду, Пёрл шлепнула его по руке, и он, к ее влюбленному восторгу, сказал: “Да не злись, ты же знаешь, что я тебя люблю” – и обхватил ее рукой за плечи. Если в доме будет мать, Пёрл ни за что на такое не отважится – да и Трип, надо думать, тоже.

Новый быт смущал и мистера Ричардсона. Одно дело, считал он, нанимать экономку; другое – нанять знакомую, мать подруги детей. Однако он видел, что миссис Ричардсон довольна своим великодушием, спорить не стал и счел своим долгом поговорить с Мией в ее первое утро в доме.

– Мы очень благодарны вам за помощь, – сказал он, когда она выволокла ведро с тряпками из-под раковины. – Это просто огромное подспорье.

Мия улыбнулась, достала бутылку “Виндекса”, ничего не ответила, и мистер Ричардсон задумался над следующей репликой.

– Как вам в Шейкер-Хайтс?

– Занятный город. – Мия сбрызнула столешницу и обмахнула губкой, сгоняя крошки в раковину. – Вы тоже здесь выросли?

– Нет, только Элена, – покачал головой мистер Ричардсон. – Я, пока с ней не познакомился, про Шейкер-Хайтс и не слышал.

Едва приехав в Денисон, он влюбился в пылкую молодую женщину, которая собирала по кампусу подписи за отмену армейского призыва. К выпуску он влюбился и в Шейкер-Хайтс – в Шейкер-Хайтс, который описывала Элена: первое плановое, самое прогрессивное поселение, идеальный город для молодых идеалистов. В родном городке мистера Ричардсона к идеям относились настороженно: мистер Ричардсон рос в атмосфере обреченного цинизма, но верил, что мир мог бы быть и получше. Поэтому он так рвался уехать – и поэтому с первого взгляда втюрился в Элену по уши. Поступать он хотел в Северо-западный университет; его завернули, и он выбрал из своего списка единственный колледж за пределами штата, только чтоб уехать, а повстречав Элену, счел, что это вмешалась судьба. После учебы Элена собиралась вернуться домой, и чем больше рассказывала, тем сильнее мистер Ричардсон склонялся поехать с ней. Вполне естественно, казалось ему, что такой город воспитал его принципиальную невесту-перфекционистку, и после выпуска он с радостью последовал за нею в Шейкер-Хайтс.

Прошло почти двадцать лет, и их карьеры, их семья, их жизнь замечательно устаканились, мистер Ричардсон заливал в бак высококачественный бензин, натирал клюшки для гольфа, подписывал детям разрешение на лыжный поход, а студенческие дни были смутны и далеки, точно старые поляроидные снимки. Элена тоже смягчилась: конечно, по-прежнему жертвовала на благотворительность и голосовала за демократов, но долгие годы уютного пригородного бытия переменили их обоих. Радикальны они не были никогда – даже во времена протестов, сидячих забастовок, маршей, бунтов, – но теперь владели двумя домами, четырьмя автомобилями, небольшой яхтой на стоянке в центральной марине. Нанимали работника – убирать снег зимой и стричь газон летом. И, само собой, годами держали экономку – целую вереницу экономок, – и теперь появилась очередная, вот эта молодая женщина, которая стоит и ждет, когда мистер Ричардсон уйдет с кухни и можно будет прибраться в его доме.

Он опамятовался, сконфуженно улыбнулся, взял портфель. В дверях гаража замялся.

– Если эта работа перестанет вас устраивать, пожалуйста, скажите мне. Никто не обидится, честное слово.

Вскоре у Мии сложился распорядок: она приходила по утрам в восемь тридцать, вскоре после того, как все расходились на работу и в школу, и к десяти заканчивала. Потом возвращалась домой к своей фотокамере и приходила вновь к пяти вечера стряпать.

– Зачем же вам дважды мотаться? – говорила миссис Ричардсон, но Мия уверяла, что снимать лучше всего в середине дня.

Если по правде, она хотела изучать Ричардсонов – при них и без них. Каждый день Пёрл вбирала от них что-нибудь новое: оборот речи (“Я буквально чуть не умерла”), жест (отброшенные волосы, закаленные глаза). Она подросток, твердила себе Мия, она примеряет новую кожу, как все подростки; но перемены настораживали ее. Теперь она будет ежедневно видеть Пёрл в этом доме, наблюдать этих Ричардсонов, так замороживших ее дочь. А по утрам – спокойно вести расследование в одиночестве.

Прибираясь, Мия пристально смотрела. Понимала, когда Трип завалил контрольную по математике, – по бумажным клочкам в мусорной корзине; вычисляла, когда Сплин писал песни, – по выброшенным бумажным комкам. Знала, что у Ричардсонов никто не ест корки от пиццы и побуревшие бананы, что у Лекси слабость к светским журналам и – судя по ее книжному шкафу – Чарльзу Диккенсу, что мистер Ричардсон, ночами засиживаясь в кабинете, целыми пакетами поглощает карамельные драже с кремом. Полтора часа наводя порядок в доме, она прекрасно понимала, чем заняты Ричардсоны день за днем.

Так и вышло, что спустя неделю Мия была в кухне Ричардсонов, когда в девять тридцать утра туда забрела Иззи.

Накануне Иззи перепугала, но не удивила родных, схлопотав временное отстранение от уроков. Посреди репетиции оркестра она, по словам завуча девятиклассников, об колено переломила учительский смычок и швырнула обломки учительнице в лицо. Невзирая на упорные расспросы и суровые нотации в школе и дома, Иззи так и не сообщила, что побудило ее к такому выплеску чувств. Винтажная Иззи, как выразилась Лекси: психануть неведомо с чего,

выкинуть фортель, ничему не научиться. В результате после краткой беседы матери, директора и разобиженной руководительницы оркестра Иззи отстранили от занятий на три дня. Мия мыла плиту, и тут Иззи протопала в кухню – топтать босиком она умудрялась не хуже, чем в “док-мартенсах”, – и замерла.

– Ой, – сказала она. – Это вы. Закабаленная служанка. В смысле, наша жиличка, она же уборщица.

Накануне Мия из третьих рук – от Пёрл – слышала, что произошло.

– Я Мия, – сказала она. – А ты, я так понимаю, Иззи.

Иззи устроилась на барном стуле.

– Ага, психованная.

Мия тщательно протерла столешницу.

– Мне никто ничего такого не говорил.

Она прополоскала губку и выложила на подставку сушиться.

Иззи погрузилась в молчание, а Мия принялась драить раковину. Закончив, включила духовку. Отрезала кусок от буханки в хлебнице, намазала маслом, густо посыпала сахаром и держала в духовке, пока сахар не растаял булькающей золотистой карамелью. Сверху положила еще кусок хлеба, разрежала сэндвич напополам и поставила перед Иззи – предложением, не приказом. Иногда Мия делала так для Пёрл, когда у той случался, как выражалась Мия, “гнилой день”. Иззи, наблюдавшая молча, но с интересом, подтащила к себе тарелку. По ее опыту любезности ей оказывали из жалости или опаски, но этот простой жест, похоже, не имел второго дна: доброта по мелочи, без обязательств. Проглотив последнюю крошку, Иззи слизала масло с пальцев и посмотрела на Мию.

– Ну, рассказать, что было? – спросила она, и всплыла вся история.

* * *

Руководительницу оркестра миссис Питерс остро недолго любили все. Была она высокая, болезненно тощая, волосы красила под ненатуральную солому и стригла под Дороти Хэмилл^[25]. По словам

Иzzi, *из миссис Питерс дирижер – как из слона балерина*, и все знали, что следить надо за первой скрипкой Керри Шульман – темп задает она. Ходили упорные слухи – с годами закаменевшие фактом, – что миссис Питерс попивает. Иззи особо не верила, пока однажды утром миссис Питерс не одолжила у нее скрипку – показать, как двигать смычком, – а когда отдала назад, обильно смочив подбородник потом, от скрипки явственно несло виски. Если миссис Питерс принесла в класс большой походный термос кофе, говорили в школе, – значит, накануне вечером квасила. Вдобавок зачастую она желчно язвила, особенно в адрес вторых скрипок и *особенно* тех, кто – как сухо выразилась одна виолончелистка – “пигментно одарен”. Байки про миссис Питерс просачивались к Иззи еще в средних классах.

Казалось бы, Иззи, которая музицировала с четырех лет и стала второй скрипкой, хотя училась всего-то в девятом, бояться нечего.

– С тобой ничего не будет, – сказала виолончелистка, ощупывая глазами ее золотые кудри, – “афродуванчик”, называла эту прическу Лекси.

Если б Иззи не лезла на рожон, миссис Питерс, вероятно, на нее и не смотрела бы. Но Иззи лезла на рожон.

В то утро, когда Иззи отстранили, она сидела на стуле, отрабатывала сложную аппликатуру на первой струне в пьесе Сен-Санса, над которой трудилась на частных уроках. Гуд альтов и виолончелей затих: в класс ворвалась миссис Питерс с термосом наперевес. Мигом стало ясно, что настроение у нее рекордно поганое. Она рявкнула на Шаниту Граймз – велела выплюнуть жвачку. Она гавкнула на Джесси Лейбовиц, которая порвала струну “ля” и искала в футляре запасную.

– Похмелье, – беззвучно диагностировала Керри Шульман, и Иззи угрюмо кивнула. Что такое похмелье, она понимала лишь в общих чертах – несколько раз наутро после вечеринок хоккеистов Трип тупил и пошатывался чересчур даже для Трипа, – но знала, что от похмелья болит голова и на всех рычишь. Кончиком смычка она постучала по ботинку.

Миссис Питерс за дирижерским пультом от души глотнула кофе из кружки.

– Оффенбах! – гаркнула она, воздев правую руку. Ученики зашуршали нотами.

На двенадцатом такте “Орфея” миссис Питерс замахала руками:

– Кто-то фальшивит. – Она смычком указала на Дейху Джонсон, сидевшую в последнем ряду вторых скрипок. – Дейха. С шестого такта.

Дейха, про которую все знали, что она отчаянно застенчива, глянула на миссис Питерс испуганным кроликом. Она заиграла, и легкий тремор дрожащей руки слышали все. Миссис Питерс потрясла головой и постучала смычком по пультам:

– Смычком не то. Вниз, вверх-вверх, вниз, вверх. Еще раз.

Дейха еще раз продралась сквозь фрагмент. Класс кипел негодованием, но никто не говорил ни слова.

Миссис Питерс опять надолго присосалась к кофейной кружке.

– Дейха, встань. Еще раз, медленно и со вкусом, – пусть все послушают, как *не надо*.

Уголки губ у Дейхи задрожали, будто она вот-вот заплачет, но она приложила смычок к струне и опять заиграла. Миссис Питерс снова потрясла головой и, перекрикивая одинокую скрипку, пронзительно завизжала:

– Дейха! Вниз, вверх-вверх, вниз, вверх. Я что, непонятно говорю? Мне на негритянский перейти?

Тут Иззи вскочила и цапнула ее смычок.

Даже пересказывая эту историю Мии, Иззи не знала, почему ей снесло крышу. Отчасти потому, что лицо у Дейхи Джонсон всегда тревожное, словно она ожидает худшего. Все знали, что мать у нее медсестра, работает с матерью Сирины Вон в Кливлендской клинике, а отец – складской менеджер в Уэст-Сайде. Но в оркестре было мало чернокожих, и родители Дейхи, приходя на концерты, садились в последний ряд, особняком; они никогда не болтали с другими родителями про лыжи, или ремонт, или планы на весенние каникулы. Всю Дейхину жизнь они прожили в уютном домике на южной окраине Шейкер-Хайтс, и Дейха дотянула от детского сада до старших классов, произнося – как шутили в школе – каких-то десять слов в год.

Но, в отличие от многих других скрипачей – которые дулись на Иззи за то, что получила вторую скрипку в первый же год, – Дейха никогда не язвила и не обзывала Иззи “малолеткой”. В первую неделю, когда они выходили после репетиции, Дейха застегнула молнию на кармане сумки Иззи, откуда торчала физкультурная форма. Спустя

несколько недель Иззи рылась в сумке, отчаянно ища тампон, и тут Дейха незаметно наклонилась через проход и протянула зажатый кулак.

– Возьми, – сказала она, и Иззи поняла, что там, еще прежде, чем на ладони зашуршала пластиковая обертка.

Смотреть, как миссис Питерс на глазах у всех придирается к Дейхе, все равно что наблюдать, как котенка выволокли на улицу и забивают кирпичом; Иззи сорвалась. Сама не заметила, как разломила смычок миссис Питерс об колено и швырнула в нее обломками. Миссис Питерс вякнула – занозистые половины смычка, еще держась на конском волосе, хлестнули ее по лицу – и истошно завопила: дымящийся кофе из кружки плеснул ей на грудь. Репетиционный класс загомонил – все засмеялись, закричали, заулюлюкали, – а миссис Питерс, капая кофе с жилистой шеи, за локоть выволокла Иззи за дверь. У директора, дожидаясь приезда матери, Иззи гадала, обрадовалась Дейха или смутилась, и жалела, что не видела, какое у Дейхи было лицо.

Иззи уже уверилась, что Мия поймет, но не знала, как объясниться словами. Сказала только:

– Миссис Питерс – первостатейная стерва. Нельзя так с Дейхой разговаривать.

– Ну? – спросила Мия. – И что ты будешь делать? Такой вопрос Иззи еще никогда не задавали.

До сего дня жизнь ее наполнилась безгласной и бесплодной яростью. В первую неделю девятого класса, прочитав Т. С. Элиота, Иззи на все доски объявлений прикрепила цитаты: “Я ЖИЗНЬ СВОЮ ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ ОТМЕРЯЮ”, и “СКУШАЮ ЛИ ГРУШУ?”, и “РАЗВЕ Я ПОСМЕЮ ПОТРЕВОЖИТЬ МИРОЗДАНЬЕ?”^[26]. На этом стихотворении она думала о матери – как мать отмеряет сухие сливки чайной ложкой, орет про пестициды, если Иззи вгрызается в немывтое яблоко, жестко ограничивает каждый шаг – и о старших детях тоже думала, о Лекси, Трипе, обо всех им подобных, то есть, похоже, обо всех. Им бы только носить, что положено, говорить, что положено, дружить, с кем положено. Иззи фантазировала, как однокашники перешептываются в коридорах: “Эти объявления, да? Их кто повесил? Это что значит?” – замечают их, думают о них, *просыпаются*, черт бы всех взял. Но в суматохе перед первым уроком школьники носились

вверх-вниз по лестницам, были слишком заняты – обменивались записками, зубрили напоследок перед тестами, – и на доски объявлений никто не взглянул, а после второго урока выяснилось, что какой-то строгий охранник содрал послания – в недоумении, надо полагать, – и оставил только флаеры “Молодежи против мирового голода”, “Модели ООН” и Французского клуба. На вторую неделю, когда мисс Беллами задала выучить стих и прочесть перед классом, Иззи выбрала “И еще одну заповедь...”, сочтя, что стих этот – по опыту ее четырнадцати с половиной лет – подытоживает жизнь очень точно. Добралась она лишь до “Родители засрут мозги...”^[27] – затем мисс Беллами безапелляционно погнала ее на место и поставила ноль.

И что тут будешь делать? Тут *можно* что-то сделать? Сама эта мысль ошеломляла.

По дорожке к дому подкатила машина сестры, и в кухню вошла Лекси с сумкой на плече, благоухая сигаретами и духами “КК Уан”.

– Слава богу, вот он, – сказала она, схватив со столешницы кошелек. Лекси, как нередко отмечала миссис Ричардсон, забывала бы дома голову, если б голова не была пришита. – Ну как, весело тебе на каникулах? – спросила она у Иззи, и Мия увидела, как у той погас взгляд.

– Спасибо за сэндвич, – сказала Иззи, сползла с табурета и удалилась наверх.

– Господи, – закатила глаза Лекси. – Я никогда ее не пойму.

Она посмотрела на Мию, ожидая сочувственного кивка, но ничего такого не дождалась.

– Езжай осторожно, – только и сказала Мия, и Лекси ускакала с кошельком в руке, и спустя миг снаружи взревел “эксплорер”.

У Иззи была душа радикала, но опыт четырнадцатилетки из пригорода на Среднем Западе. Посему она прикинула, как лучше отомстить – яйца в окна или горящие пакеты с собачьим говном, – и выбрала что получше из скудного репертуара.

Три дня спустя Пёрл и Сплин в гостиной смотрели “Рики Лейк”^[61], а Иззи невозмутимо прошествовала по коридору – под мышками две упаковки по шесть рулонов туалетной бумаги. Оба мигом переглянулись и, не сговариваясь, ринулись за Иззи следом.

– Да ты совсем с дуба рухнула, – сказал Сплин, когда они перехватили Иззи в прихожей и успешно загнали в кухню. За многие

годы Сплин не раз спасал Иззи от ее собственной глупости – так он сам это понимал, – но сейчас решил, что Иззи идет на рекорд. – Забрасывать ее дом туалетной бумагой?

– Бумагу хрен уберешь, – пояснила Иззи. – Она взбесится. И так ей и надо.

– И догадается, что это ты. Она же тебя только что отстранила. – Сплин пинком отправил туалетную бумагу под стол. – Если не поймает за работой. Скорее всего поймает.

Иззи набычилась:

– А ты что предлагаешь?

– Одной миссис Питерс будет мало, – сказала Мия. Трое детей вылупились в изумлении. Про Мию они позабыли, однако вот она, Мия, – режет перец к ужину и говорит так, как родители не говорят никогда. Пёрл вспыхнула и прожгла мать взглядом. О чем она думала? Встревать, да еще в *такую* беседу? Думала-то Мия про свою юность – эти воспоминания она убрала на хранение давным-давно, а сейчас достала и отряхнула.

– У меня когда-то знакомый заклеил замок в кабинете истории, – продолжала Мия. – Он опоздал, учительница оставила его после уроков, а у него был важный футбольный матч, и он все пропустил. Утром залил ей в замок целый тюбик клея. Пришлось выламывать дверь. – Губы ее изогнула отрешенная улыбка. – Но он заклеил дверь только ей, и его сразу вычислили. Наказали на месяц.

– Мам. – Лицо у Пёрл горело. – Спасибо. Мы разберемся.

И она поспешно вытолкала Иззи и Сплина с кухни, чтоб Мие не было слышно. Теперь они решат, что мать совсем чокнутая. Пёрл не смела взглянуть им в лицо. Но если бы взглянула, увидела бы не насмешку, а восхищение. По блеску в глазах Мии оба поняли, что она гораздо толковее – и гораздо интереснее, – чем они думали. В этот миг (сообразят они позднее) оба впервые заподозрили, что Мия не так проста.

Весь вечер Иззи обмозговывала историю Мии, ее вопрос: *Что ты будешь делать?* В нем Иззи услышала разрешение поступить так, как ей всю жизнь поступать не велели: взять дело в свои руки, натворить безобразий. Гнев разрастался и уже целил не только в миссис Питерс, но и в директора, который ее нанял, и в завуча, которая подписала отстранение от занятий, и во всех учителей – во всех взрослых, – что

обрушивали на школьников незаслуженную деспотическую власть. Назавтра Иззи приперла Сплина и Пёрл к стенке и изложила свой план.

– Она взбесится, – сказала Иззи. – Все взбесятся.

– Ты спалишься, – возразил Сплин, но Иззи покачала головой.

– Я уже все решила, – сказала она. – Я спалюсь, только если вы не поможете.

* * *

Зубочистка, если ее воткнуть в стандартную замочную скважину и сломать заподлицо, – отличная штука. Замок цел, но ключ не войдет, и дверь не откроется. Зубочистку не так просто достать без тонконосого пинцета, а он редко бывает под рукой, и его еще поди найди. Чем больше досадует обладатель ключа, чем сильнее и настойчивее сует ключ в скважину, тем упрямее зубочистка застревает в нутре замка и тем дольше ее оттуда выковыривать, даже и подходящим инструментом. Умеренно ловкий подросток, если пошевеливаться, может вставить зубочистку в замок, отломать кончик и уйти примерно за три секунды. То есть трое подростков, работая слаженно, способны обездвижить все старшие классы, все сто двадцать шесть дверей, менее чем за десять минут – никто ничего не успеет заметить, – а потом устроиться в коридоре и посмотреть, что будет.

Когда первый учитель обнаружил, что замок заклинило, на часах было 7:27. К 7:40, когда большинство учителей разошлись по классам и уткнулись носами в запертые двери, смотритель мистер Ригли кончиком перочинного ножа добывал первую щепку из замка химлаборатории наверху в естественно-научном крыле. К 7:45 мистер Ригли, направившись к себе в кабинет за ящиком с инструментами и пинцетом в этом ящике, узрел громадную толпу учителей – все сгрудились у него под дверью и орали про заклинившие замки. В сумятице кто-то выбил из-под двери упор, дверь захлопнулась, и мистер Ригли наконец обнаружил зубочистку, которую Иззи лично вставила ему в скважину давным-давно, пока он ходил за кофе.

Между тем в школу ручейками стекались ученики – сначала ранние пташки, которые прибывали к 7:15, чтобы занять место на стоянке, огибавшей школу, потом те, кого привозили родители и кто приходил пешком. К 7:52, когда подтянулись тормоза и прозвенел звонок на первый урок, в коридорах было не протолкнуться от ликующих школьников, растерянных секретарш и разгневанных учителей.

Спустя еще двадцать минут мистер Ригли вернется, сходя к своему фургону, порывшись в ящике с инструментами в багажнике и, к невероятному своему облегчению, отыскав там другой пинцет. Затем пройдет еще десять минут, прежде чем удастся извлечь первую зубочистку из первой двери и учитель химии наконец сядет за свой стол. Утренние объявления отложили, а вместо них по громкой связи зачитали суровые наставления – о том, что ученикам надлежит выстроиться возле своих классов, – которых никто не расслышал. В коридорах бушевал праздник-сюрприз – хозяев нигде не видать, а все школьники обернулись довольными гостями, и сюрприз преподнесли им. Кто-то достал из шкафчика магнитоу на батарейках. Андре Уильямс, футбольный кикер, вытащил антенну, забросил магнитоу на плечо, настроил на WMMS – “Радио-Гриф”, – и танцы под “Майти Майти Босстонз”^[60] продолжались, пока преподавательница американской истории миссис Аллертон не пробилась сквозь толпу и не велела все выключить. Мистер Ригли перемещался вдоль коридора, от двери к двери, выуживал щепки из йельских замков и собирал в мозолистую ладонь.

В крыле изящных искусств, в компании громадного термоса и оглушительной мигрени ерзала миссис Питерс. Репетиционный класс располагался очень далеко от естественно-научного крыла, которое неторопливо обрабатывал мистер Ригли. Такими темпами до ее двери он доберется не скоро, а то и в самом конце. Миссис Питерс несколько раз спрашивала его, нельзя ли побыстрее, не мог бы он ненадолго отвлечься и сначала открыть ее дверь, и на третий раз мистер Ригли обернулся и взмахнул пинцетом с щепкой.

– Я тороплюсь как могу, миссис Питерс, – ответил он. – Тороплюсь как могу. Всем придется подождать своей очереди.

И он снова отвернулся к замочной скважине: мистер Десанти, учитель математики девятого класса, впихивая ключ, расщепил

зубочистку и загнал ее между штифтами.

– Всем бы поперед пролезть, – буркнул мистер Ригли погромче, чтоб миссис Питерс наверняка расслышала. – Все цацы. Ну что поделать. А человек с пинцетом говорит, что все подождут своей очереди.

Он снова сунул пинцет в замок, и миссис Питерс удалилась.

Было это полтора часа назад, и она догадывалась – весьма проникательно, – что мистер Ригли оставил ее класс напоследок, дабы ей насолить. Ладно, подумала она. А нельзя хотя бы открыть учительскую? Миссис Питерс проверяла трижды – заперто. Минуты текли, и термос кофе – почти целый кофейник, – который она успела опустошить, пока ждала, напоминал о себе все настойчивее. В туалетах для девочек двери распашные, не запираются. Не пойдет же она туда вместе со школьницами, правда? Наверняка мистер Ригли вот-вот откроет учительскую, и там она воспользуется унисексовым учительским туалетом. Минуты текли дальше, досада на мистера Ригли разрослась, объяла и директора, и весь мир. А что, наперед никто не думает? Приоритеты расставлять не умеет? Учесть базовые человеческие потребности не в состоянии? Миссис Питерс оставила свой пост у репетиционной и приступила к дежурству возле учительской, щитом прижимая сумочку к низу живота. Пять чашек кофе потихоньку сочились сквозь нутро сверху вниз. С минуту миссис Питерс подумывала сесть в машину и уехать. Двадцать пять минут – и она дома. Но чем дольше она стояла, тем дольше казались эти двадцать пять минут и тем сильнее она подозревала, что сейчас положение сидя – в любом контексте – приведет к катастрофе.

– Доктор Шваб, – сказала она, когда мимо прошел директор. – Вы бы не могли попросить мистера Ригли открыть учительскую, будьте добры?

У доктора Шваба выдалось непростое утро. На часах было 9:40, и половина классов оставалась заперта; он попросил учителей запустить учеников в классы и там держать, пока не откроются все двери, но восемьсот школьников по-прежнему бродили на воле по коридорам. Кое-кто утек и на крыльцо; стайки учеников стояли на газоне, смеялись, пинали бобовый мячик, а кое-кто прямо-таки курил – прямо-таки на школьной территории. Директор костяшкой потер висок. Воротник тер шею, и директор поелозил под ним пальцем.

– Хелен, – промолвил он, призвав на подмогу все свое терпение, – мистер Ригли торопится как может. Дальше по коридору есть туалет для девочек. Мне кажется, ты прекрасно можешь разок зайти туда.

И он зашагал прочь, подсчитывая в уме. Если все разойдутся по классам к 10:30 – это, пожалуй, оптимистичный прогноз, – на сегодня объявим сокращенное расписание, уроки по тридцать четыре минуты вместо пятидесяти...

Миссис Питерс подождала еще четверть часа, а дальше ждать уже не могла. Она покрепче стиснула ручки сумки, словно от этого будет прок, и потрусилась по коридору в туалет для девочек. Центральный туалет располагался там, где центральная лестница выходила в центральный же коридор, и здесь было людно даже в обычный день, а сегодня вообще не повернуться. Снаружи стояли мальчики – били яблоки друг другу о лбы и с утробным ревом подначивали друг друга. Стайка девочек собралась у питьевого фонтанчика – половина делала вид, что не замечает мальчиков, другая половина откровенно с ними кокетничала. На стене над ними раззявила пасть нарисованная акула. Миссис Питерс мимолетно рассердилась – на их юность, на их легкомыслие, на их раскованность. В обычный день она бы велела им разойтись или у каждого спросила разрешение уйти с уроков, но сейчас ей было не до того.

Работая локтями, она протиснулась сквозь толпу.

– Позвольте. Позвольте. Мальчики. Девочки. Пропустите учителя.

Девочек в туалет набилось битком. Девочки сплетничали, девочки поправляли прически, девочки прихорашивались. Миссис Питерс пробивалась мимо – уже не было никакого терпезу.

– Позвольте. Девочки. Девочки, дайте пройти.

Все девочки в туалете созерцали это вторжение, распахнув глаза.

– Здравсьте, миссис Питерс, – сказала Лекси. – А я не знала, что учителя сюда ходят.

– Учительская еще закрыта, – ответила миссис Питерс, понадеявшись, что прозвучало с достоинством.

Девочки приумолкли. В нормальных обстоятельствах миссис Питерс одобрила бы такую уважительность, но сегодня предпочла бы, чтобы на нее не обращали внимания. Она направилась к самой дальней кабинке у окна, но, добравшись до нее, обнаружила, что в кабинке нет двери.

– А где дверь? – спросила она как дура.

– Сто лет уже сломана, – пояснила Лекси. – С первой недели. Давно пора починить. Приходишь, а кабинок всего три, и ты опаздываешь на урок.

Миссис Питерс эту речь не дослушала. Она рванула дверь соседней кабинки и захлопнула за собой. Дрожащими руками опустила щеколду и повозилась с юбкой. Но при встрече с белым фаянсовым унитазом тело ее – прождавшее почти два с половиной часа – не стерпело. Мочевой пузырь опорожнился водопадом, по ногам заструилось тепло, и ширящаяся лужа запетляла по плиткам под дверь.

За хлипкой перегородкой кто-то сказал:

– Мать. Моя. Женщина.

А затем – потрясенное гробовое молчание. Миссис Питерс застыла, как будто – идиотски подумала она – девочки могут про нее забыть. Тишина тянулась, как ириска. Влажное пятно на юбке и промокшие колготки похолодели. А потом в туалете захихикали – и хиханьки были тем отчетливее, поскольку их тщились подавить. Судорожно завжикали молнии. Метнулись прочь шаги. Миссис Питерс услышала, как дверь распахнулась, потом захлопнулась, а спустя миг в коридоре оглушительно загоготали. Она простояла в кабинке очень долго, пока доктор Шваб по громкой связи не объявил, что все двери открыты и ученикам надлежит разойтись по классам, не то их оставят после уроков. Когда миссис Питерс вышла из кабинки, в туалете никого не было, и она удалилась, закрывая сумочкой пятно на юбке и подчеркнуто не глядя на лужу, что медленно ползла мимо раковин к стоку в углу.

Если на втором уроке, который все-таки начался, в оркестре и заметили, что миссис Питерс сменила одежду, никто и виду не подал. С застывшими лицами они играли Оффенбаха, и Барбера, и Двадцать пятую Моцарта. Но слухи разлетелись. Пройдут дни, и миссис Питерс, задержавшись у двери класса, услышит, как ее называют “миссис Писсерс”, и пройдет немало лет – многие годы после ее выхода на пенсию, – прежде чем канут в небытие и прозвище, и анекдот, передаваемые из класса в класс.

Школе история с зубочистками тоже отойдет. Видеокамер в коридорах не ставили, вандалов не засекли и не опознали. Поговаривали об усилении охраны – несколько учителей помянули

соседний Евклид, который недавно попал в новости, повсюду понаставив металлодетекторы, – но все сочли, что Шейкер-Хайтс, в отличие от Евклида, в таких мерах *не нуждается*, и администрация решила списать инцидент на мелкий розыгрыш. Однако среди местных школьников День Зубочистки стал легендарным, и в последующие годы во время Шутейной недели у старшеклассников проносить зубочистки в школу запретили под страхом наказания.

Назавтра Иззи поймала взгляд Дейхи Джонсон и улыбнулась, а Дейха – которая знать не знала, что весь этот праздник устраивался ради нее, и уж тем более не догадывалась, что все подстроила Иззи Ричардсон, – улыбнулась в ответ. Не сказать, что они подружились, но Иззи чувствовала с Дейхой Джонсон некую связь, и каждый день в оркестре непременно ей улыбалась, и с удовлетворением отмечала, что миссис Питерс больше к Дейхе не цепляется.

Но сильнее всего зубочистки повлияли на саму Иззи. Она все вспоминала, как в тот день Мия улыбнулась – как выдала умение восторгаться озорством, нарушением правил. Мать Иззи была бы в ужасе. Иззи распознала в Мие родственную душу – в сердце Иззи тоже нередко вспыхивала эта подрывная искра. После школы Иззи больше не запиралась в спальне: она спускалась, едва приходила Мия, и торчала на кухне, пока Мия стряпала, что немало изумляло остальных детей. Да и наплевать. Мия завораживала Иззи – остальное Иззи не волновало. А спустя еще несколько дней Мия открыла дверь квартирки на Уинслоу и на пороге узрела Иззи.

– Я хочу быть вашей ассистенткой, – выпалила та.

– Мне не нужна ассистентка, – сказала ей Мия. – И я не уверена, что твоей матери это понравится.

– Мне все равно. – Иззи взялась за косяк, словно боялась, что Мия захлопнет дверь у нее перед носом. – Я хочу научиться тому, что вы делаете. Могу вам реактивы смешивать или бумаги сортировать, например. Что угодно.

Мия помялась.

– Я не могу себе позволить ассистентку.

– А не надо мне платить. Я забесплатно. Пожалуйста. – Иззи не привыкла просить об одолжениях, но в голосе ее Мия расслышала не желание, а нужду. – Что надо сделать, я сделаю. Ну пожалуйста.

Мия сверху вниз посмотрела на Иззи – на эту своенравную, кипучую, яростную девочку, внезапно оробевшую, и подавленную, и в отчаянии. Странное дело: похожа на Мию в том же возрасте – на Мию, что бродила по городу, лазила через заборы и стены в поисках удачного кадра, вызываясь транжирила материны деньги на пленку. Настырная сверх всякой меры. Искра в душе Иззи коснулась искры в душе Мии – и вспыхнул пожар.

– Ладно, – сказала Мия и открыла дверь пошире, пропуская Иззи в дом.

Очарование не рассеивалось. Иззи больше не уединялась в спальне со скрипкой – из школы она шла в дом на Уинслоу, за полторы мили, где у Мии кипела работа. Иззи наблюдала, училась кадрировать, проявлять пленку, печатать снимки. Пёрл тем временем поступала ровно наоборот – со Сплином шла пешком к его дому, болталась в солярии с тремя старшими детьми Ричардсонов. В глубине души она была признательна Иззи за то, что отвлекает мать: Пёрл столько лет провела с матерью наедине и теперь блаженно растягивалась на огромном диване Ричардсонов. В пять вечера Иззи запрыгивала на пассажирское сиденье “кролика”, и Мия ехала к Ричардсонам, где Иззи пристраивалась на краешек кухонной столешницы, а Мия готовила ужин, чутко прислушиваясь, что творится за стенкой, у дочери и остальных. Лишь когда Мия уезжала домой – на сей раз увозя на пассажирском сиденье Пёрл, – Иззи выходила к братьям с сестрой и плюхалась на диван.

– Кое-кто влюбился в Мию, – нараспев произносила Лекси, а Иззи закатывала глаза и удалялась наверх.

Но, пожалуй, да – *влюбилась*. Иззи ловила каждое слово Мии, спрашивала ее мнения по любому поводу – и доверяла. Вместе с основами фотоискусства впитывала эстетику Мии, училась у нее восприимчивости. Когда спросила, откуда Мия знает, какие образы друг с другом сочетать, та покачала головой.

– Я не знаю, – сказала она. – Это всё... так я понимаю, о чем думаю.

Она обвела рукой канцелярский нож на столе и фотографию, которую аккуратно резала: вереница машин мчится по мосту Лорейн-Карнеги под бдительным взглядом двух громадных статуй, выточенных в опорах моста. Мия тщательно вырезала все машины, оставляя только их тени.

– У меня нет плана, увы, – сказала она, снова берясь за нож. – Но плана нет ни у кого, кто бы что ни говорил.

– У моей матери есть план. Она считает, у нее спланировано все.

– Наверняка ей от этого легче.

– Она меня ненавидит.

– Ой, ну Иззи. Не может такого быть.

– Нет, правда. Ненавидит. Поэтому ко мне цепляется, а к остальным нет.

Работая у Ричардсонов, Мия и впрямь уже успела понаблюдать странные отношения Иззи с родными, особенно с матерью. Честно говоря, мать с Иззи *и в самом деле* обходилась строже: вечно критиковала поступки, быстрее раздражалась на ошибки и изъяны. Она будто задавала Иззи планку выше, чем остальным, требовала больше, но замечала не успехи, а промахи. А Иззи в ответ только больше изводила мать, давила на кнопки мастерски, как умеют только дети.

– Иззи, – сказала Мия, – я знаю один секрет. Очень часто родители видят своих детей не очень-то отчетливо. А в тебе столько прекрасного.

Она слегка пожала Иззи локоть, смахнула горсть бумажных обрезков в корзину, а Иззи просияла. В эти часы, когда они с Мией оставались вдвоем, так легко было вообразить, будто Мия – ее мать, будто спальня дальше по коридору – ее спальня, и когда наступит ночь, Иззи уйдет туда, и уснет, и проснется там поутру. Будто Пёрл – которая в полутора милях отсюда смотрит телик с братьями и сестрой Иззи – вообще нет на свете, будто эта жизнь принадлежит Иззи, и только Иззи. Вечерами дома, слушая, как в спальне у Сплина скрежещет джаз, у Лекси завывает Аланис Мориссетт, а приемник Трипа подкладывает под этот саундтрек басовую пульсацию, Иззи представляла себе, что лежит в спальне на Уинслоу: читает в постели, скажем, или пишет стих, а Мия работает в гостиной, засиживается до поздней ночи. Фантазия приводила Иззи в эту жизнь петляющими тропами: Иззи и Пёрл перепутали при рождении; Иззи забрали ее родители, которые, выходит, вовсе не ее родители, вот почему дома ее никто не понимает, вот почему она так не похожа на остальных. А теперь в прихотливом плетении грез она воссоединилась со своей настоящей матерью. *Я так и знала, что однажды тебя отыщу*, скажет ей Мия.

В семействе Ричардсон все заметили, что Иззи стала лучше себя вести.

– С вами она почти *любезна*, – как-то раз сказала Лекси Мие.

Иззи не ограничивалась полумерами ни в чем – и в своем обожании тоже: ради Мии она была готова на все. И вскоре

обнаружила то, чего Мие наверняка захочется.

В середине ноября Пёрл и Сплин с классом новейшей истории Европы поехали в музей смотреть живопись. Экскурсовод, пожилой и тощий, выглядел так, будто все жизненные соки из него высосали трубочкой через поджатые губы. Школьные группы он недолго любил: подростки никогда не слушают. Подростки ничего не замечают, кроме сексуальности друг друга – пышут ею, как паровозы. Веласкес, решил экскурсовод; какие-нибудь натюрморты, может, Караваджо по верхам. Никакой обнаженки. Он повел группу в итальянские залы, сделав большой крюк через центральный вестибюль с гобеленами и латами в стеклянных витринах.

Школьники – впрочем, как и все школьники на экскурсиях – искусством особо не интересовались. Энди Кин тыкал Джессику Кляйнман между лопаток и прикидывался, что это не он. Клейтон Бут и Дэвид Шёрн обсуждали футбол – какие шансы у “Рейдеров” против Святого Игнатия на предстоящем матче. Дженни Леви и Таниша Макдауэлл усердно игнорировали Джейсона Грэма и Данте Сэмюэлза, а те волочили ноги и любовались голыми грудями на картинах, мимо которых гнал группу экскурсовод. Сплин, любивший живопись, наблюдал за Пёрл и жалел – уже не впервые, – что он не фотограф: он бы запечатлел, как свет из матового стеклянного потолка галереи бьет в ее запрокинутое лицо и как оно сияет.

Пёрл старалась сосредоточиться на пожухшей лекции экскурсовода, но мысли ее разбегались. Она шагнула вбок, в соседний зал, что отвели под выставку, посвященную Мадонне с Младенцем. Сплин, старательно делая пометки о Караваджо, понаблюдал через зал, как Пёрл уходит. Она не возвращалась три минуты, четыре, пять; Сплин сунул карандаш в пружинку тетради и направился следом.

Зал был небольшой, всего несколько дюжин работ, и на всех Дева с Иисусом на коленях. Средневековые работы в позолоченных рамах, немногим больше коробки от CD; условные карандашные наброски статуй эпохи Возрождения; громадные полотна маслом, больше человеческого роста. Был один постмодернистский коллаж – фотографии из светских журналов, у Девы голова Джулии Робертс, у Иисуса – голова Брэда Питта. Но взгляд Пёрл был прикован к фотографии – черно-белому отпечатку восемь на десять, женщина на диване улыбается новорожденному ребенку. И женщина эта – Мия.

– Но как?.. – начал Сплин.

– Не знаю.

Некоторое время оба молча смотрели на фотографию. Прагматик Сплин приступил к сбору данных. Работа, судя по табличке, называлась “Дева и дитя № 1” (1982), художницу звали Полин Хоторн. Все это он записал в тетради под забытыми заметками о Караваджо. Никаких комментариев куратора – сообщалось только, что фотографию одолжили для выставки у лосанджелесской “Галереи Элсуорт”.

А Пёрл разглядывала снимок. Это ее мать – чуть моложе, чуть худее, но такой же призрачной конституции, с теми же высокими скулами и острым подбородком. Крошечная родинка прямо под глазом, шрам, белой ниточкой пересекающий левую бровь. Тонкие материнские руки – вроде бы такие хрупкие, птичьи, вот-вот надломятся под тяжким весом, хотя Пёрл не встречала женщин, способных столько вынести. Даже волосы те же: небрежный пучок прямо на макушке. Мия испускала красоту волнами, как жар, на фотографии она словно сияла. В камеру не смотрела – все ее внимание целиком, безраздельно поглощал ребенок. Я, подумала Пёрл. Конечно, на фотографии она. Какое еще дитя станет обнимать Мия? У Пёрл не было младенческих снимков, но в этом ребенке она узнавала себя – свою переносицу, и уголки глаз, и стиснутые кулачки, которые она сжимала и в два года, и в пять, и сейчас, сосредоточившись, сжимала снова, даже не замечая. Откуда взялась фотография? Диван, где сидит мать на черно-белом снимке, – может, бежевый, или бледно-голубой, или даже канареечный; в окне у матери за спиной – размытые высоченные дома. Снимали изблизи – точно фотограф присела на подлокотник кресла у дивана. Кто снимал?

– Мисс Уоррен, – позади нее сказала миссис Джейкоби. – Мистер Ричардсон.

Пёрл и Сплин развернулись, лица у них горели.

– Если вы готовы двигаться дальше, весь класс вас заждался.

И в самом деле, под строгим надзором экскурсовода класс сгрудился в дверях, позакрывав тетрадки; Сплин и Пёрл встретили хиханьками и шепотками.

В автобусе по дороге обратно одноклассники перешучивались о том, чем эти двое занимались в музее. Сплин побагровел и сполз по

сиденью, делая вид, что не слышит. Пёрл смотрела в окно и ничего не замечала. Ни слова не произнесла, пока автобус не затормозил на школьной стоянке и все не потянулись наружу.

– Я хочу обратно, – сказала она Сплину, когда они вылезли из автобуса.

И они вернулись, в тот же день после школы, уговорили Лекси их отвезти, потому что иначе до музея неудобно добираться, и прихватили с собой Иззи, потому что она настояла, едва услышав *Мия* и *фотография*. Сплин взял на себя уговоры, но не сказал Лекси, что они хотят посмотреть, и, когда они шагнули в зал, у Лекси отпала челюсть.

– Ничего себе, – сказала она. – Пёрл... это же твоя мама.

Вчетвером они разглядывали фотографию: Лекси – из центра зала, будто издали ей лучше видно; Сплин – носом едва не тычась в стекло, будто надеясь отыскать разгадку в зернистости фотографии; он наклонился так близко, что сработала сигнализация. Пёрл просто смотрела. А Иззи застыла – портрет Мии ее заворожил. Мия сияла, точно полная луна в ясную ночь. “Дева и дитя № 1”, прочла Иззи на табличке и на миг дозволила себе вообразить, будто на руках у Мии лежит она сама.

– Рехнуться можно, – в конце концов сказала Лекси. – Господи, можно просто рехнуться. Почему твоя мама на фотографии *в музее*? Она что, звезда, а мы не в курсе?

– Люди на фотографиях не звезды, – возразил Сплин. – Звезды – те, кто снимал.

– Может, она была музой знаменитого художника. Как Патти Смит и Роберт Мэплторп. Или Эди Седжвик и Энди Уорхол. – Прошлым летом Лекси ходила в музей на историю искусств. – Давайте ее спросим, – прибавила она. – Возьмем и спросим.

И они спросили, едва приехали домой, гуськом зашли в кухню, где Мия как раз приправила курицу к ужину.

– Вы куда подевались? – спросила она. – Я приехала в пять, а тут ни души.

– Мы из музея, – сказала Пёрл и осеклась.

Что-то не так – под ногами шатко, будто ступила на разболтанную ступеньку и спустя миг она треснет под ногой. Сплин, Иззи, Лекси сгрудились вокруг, и Пёрл представила, какими их видит мать – покраснелись, распахнули глаза, полны любопытства.

Лекси пихнула ее в спину:

– Спроси.

– Что спросить? – Мия уложила курицу в сотейник, пошла к раковине помыть руки, и Пёрл заговорила – словно шагнула с высоченного трамплина.

– Там твоя фотография, – выпалила она. – В музее искусств. Ты на диване с ребенком на коленях.

Мия стояла к ним спиной, вода лилась ей на руки, но все четверо заметили: она вся слегка закаменела, будто у марионетки натянули веревочку. И не обернулась – терла и терла между пальцами.

– Моя фотография? В музее искусств? – переспросила она. – То есть модель на меня похожа?

– Нет, это вы, – сказала Лекси. – Точно вы. Точечка под глазом, и шрам на брови, и вообще.

Мия костяшкой коснулась брови, словно забыла про шрам, а теперь вспомнила, и по виску потекла теплая мыльная капля. Мия сполоснула руки и закрутила кран.

– Ну, может, и я, – сказала Мия. Она развернулась, бодро растирая руки полотенцем, и Пёрл огорчилась, увидев, что лицо у матери застыло, закрылось. Это сбивало с толку – точно внезапно захлопнулась дверь, всегда стоявшая нараспашку. Какой-то миг Мия вовсе на себя не походила. – Фотографы, знаете, постоянно ищут моделей. Художники, пока учатся, только и делают, что позируют.

– Но вы бы запомнили, – не отступила Лекси. – Вы сидите на диване, в красивой квартире. У вас на коленях Пёрл. А фотографа звали... – Она обернулась к Сплину: – Как ее звали?

– Хоторн. Полин Хоторн.

– Полин Хоторн, – повторила Лекси, словно Мия могла и не расслышать. – Наверняка вы помните.

Мия резко встряхнула полотенце.

– Лекси, я где только не подрабатывала. Всего и не упомнишь, вот правда, – сказала она. – Когда денег в обрез, хватаешься за все подряд, только чтобы сводить концы с концами. Ты вообще можешь представить, каково это?

Она снова отвернулась к раковине, повесила полотенце, и Пёрл поняла, что сваяла дурака. Не надо было спрашивать здесь, в кухне Ричардсонов с гранитными столешницами, и с холодильником из

нержавейки, и с итальянской терракотовой плиткой, перед детьми Ричардсонов в развеселых ярких куртках “Норт фэйс”, и уж тем более перед Лекси с ключами от “эксплорера” в руке. Надо было подождать, пока Пёрл с Мией останутся одни, у себя дома, в сумрачной кухоньке верхнего этажа на Уинслоу-роуд, устроятся на разномастных стульях за единственной целой секцией стола с обочины, – вот тогда мать, может, и рассказала бы. Пёрл осознала свою ошибку: это личное дело, это касается только их двоих, а она, подключив Ричардсонов, нарушила границу, которую нельзя было нарушать. Глядя на выпяченный подбородок матери, на ее тусклые глаза, Пёрл понимала, что от дальнейших расспросов толку не будет.

А вот Лекси объяснения Мии устроили.

– Какая ирония, да? – заметила она, когда они выходили из кухни, и Пёрл прикусила язык, не сказала даже, что “ирония” означает совсем другое. Лишь порадовалась, что тема закрыта.

По дороге домой и весь вечер мать была необычайно молчалива, и Пёрл жалела, что открыла рот. Она всегда помнила про деньги – как не помнить, в их-то обстоятельствах? – но прежде не задумывалась, каково было матери перебиваться с новорожденным ребенком. Интересно, чем еще в те первые годы приходилось заниматься матери, чтобы выжить – чтобы выжили они обе. Пёрл ни разу не ложилась спать без поцелуя на ночь, но в тот вечер Мия ее не поцеловала, осталась сидеть в гостиной, в луже света, погружившись в раздумья, с затворенным лицом.

Наутро Пёрл вышла из спальни и вздохнула с облегчением: Мия в кухне, как обычно, жарила тосты, вела себя как ни в чем не бывало, словно вчерашнего дня и не случилось. Но история с фотографией воню висела в воздухе, и Пёрл запихала вопросы подальше и решила больше о фотографии не поминать – ну уж точно не сейчас.

– Заварить чаю? – спросила она.

* * *

А вот Иззи намеревалась найти разгадку. Фотография скрывала некий секрет о Мие, это было ясно, и Иззи пообещала себе, что его раскроет. У девятиклассников не было “окон”, но несколько больших

перемен Иззи посвятила разысканиям в библиотеке. Проверила Полин Хоторн по каталогу и обнаружила книги по истории искусств. Оказалось, Полин Хоторн была знаменита. “Пионер современной американской фотографии”, – называли ее в одной работе. А в другой – “Синди Шерман^[28], прежде чем Синди Шерман стала Синди Шерман”. (Тут Иззи ненадолго отвлеклась, проверяя, кто такая Синди Шерман, засмотрелась на фотографии и чуть не опоздала на урок.)

Работы Полин Хоторн, узнала Иззи, славились своей непосредственностью и задушевностью, раскрывали вопросы женственности и идентичности. “Полин Хоторн открыла дорогу мне и другим женщинам-фотографам”, – говорила сама Синди Шерман в одном очерке. Иззи разглядывала репродукции – больше всего ей нравился снимок с домохозяйкой и девочкой на качелях: ребенок так брыкался, что цепи изгибались дугой, бросая вызов гравитации, а женщина тянула руки, словно отталкивала дочь или отчаянно ловила. Фотографии будили чувства, не подвластные словам, – значит, решила Иззи, это, видимо, подлинное искусство.

Она прошерстила все книжки из каталога, где упоминалась Полин Хоторн, и наконец составила общее представление о ее биографии: родилась в 1947-м в Нью-Джерси, училась в Колледже Садового штата, впервые выставлялась в Нью-Йорке в 1970-м, первую персональную выставку провела в 1972-м. Ее фотографии были крайне востребованы в семидесятых. В энциклопедии был портрет Полин Хоторн – худой женщины с большими темными глазами и серебристыми волосами в строгом пучке. Она походила на какую-то учительницу математики.

Полин Хоторн умерла от рака мозга в 1982 году. Иззи устроилась за одним из двух библиотечных компьютеров, подождала, когда подключится модем, и вбила имя в “АльтаВисту”. Обнаружила еще фотографии – одну в фотобанке “Гетти”, три на сайте Музея современного искусства, а также несколько аналитических статей и некролог в “Нью-Йорк таймс”. Больше ничего. В обоих отделениях публичной библиотеки нашлось еще несколько фотоальбомов и статей на микрофишах, но ничего нового Иззи там не узнала. Полин Хоторн и Мия как-то связаны – как? Может, Мия сказала правду и просто была моделью; может, так сложилось, что она позировала Полин Хоторн. Но

такой ответ не устраивал Иззи – слишком невероятное совпадение, сочла она.

В конце концов она обратилась к единственному источнику, до которого додумалась, – к матери. Мать журналистка – ну, хотя бы по названию. Да, в основном мать писала о ерунде, но журналисты умеют доискиваться правды. У них есть связи, есть методы, которые не каждому доступны. С ранних лет Иззи была яростно, упрямо независима; не просила помощи никогда и ни в чем. К матери ее подтолкнула лишь острая жажда распутать тайну загадочной фотографии.

– Мам, – сказала Иззи как-то вечером, несколько дней потратив на бесплодные поиски, – можешь помочь?

Как обычно, миссис Ричардсон слушала Иззи вполуха. Надвигался срок сдачи материала – заметки про ежегодную распродажу растений в Центре природы.

– Иззи, скорее всего, это даже не мать Пёрл. Кто угодно может быть. Похожая женщина. Наверняка совпадение.

– Не совпадение, – заупрямилась Иззи. – Пёрл узнала мать, и я тоже видела. Проверь, а? Позвони в музей, я не знаю. Поспрашивай. Пожалуйста. – Канючить она никогда не умела, всегда считала, что лезть – разновидность вранья, но сейчас уж очень приперло. – Ты же это умеешь. Ты же *репортер*.

Миссис Ричардсон сдалась.

– Хорошо, – сказала она. – Я попробую. Но придется подождать, пока не сдам текст. У меня срок завтра... Но ты особо-то не надейся, – прибавила она, когда Иззи, еле скрывая ликование, протанцевала к двери.

Слова Иззи “Ты же репортер” задели гордость миссис Ричардсон, точно палец вдавили в застарелый синяк. Миссис Ричардсон мечтала быть журналисткой всю жизнь, задолго до того, как профориентолог провел тест на способности в старших классах.

“Журналисты, – вещала она в докладе о профессии своей мечты на обществознании, – ведут хронику повседневной жизни. Они обнажают истины и факты, которые публика вправе знать, составляют летопись для истории, дабы будущие поколения учились на наших ошибках и совершенствовали наши достижения”. Сколько миссис Ричардсон себя помнила, ее мать вечно работала в таком или сяком

комитете, добивалась увеличения финансирования для школ, беспристрастности, справедливости и всегда брала с собой дочь. “Перемены не случаются сами, – твердила мать, вторя девизу Шейкер-Хайтс. – Перемены надо планировать”. На уроках истории юная Елена узнала выражение *noblesse oblige*^[29] – и мигом прочувствовала. Журналистика виделась ей благородным призванием, которое изнутри меняет систему к лучшему; в фантазиях ей представлялся гибрид Нелли Блай и Лоис Лейн^[30]. Четыре года она проработала в школьной газете и к выпускному классу доросла до главного соредатора – журналистская карьера казалась не просто возможной, но неизбежной.

Она окончила школу, заняв второе место в рейтинге по классу, и у нее был выбор: полная стипендия в Оберлине, частичная – в Денисоне, документы приняли по всему штату, от Кеньона до Кента и Вустера. Ее мать склонялась к Оберлину, уговаривала поступать туда, но Елена съездила в кампус и поняла, что ей там не место. Общаги совместные, парни ходят в трусах и майках, девушки в халатах, в любой момент парень может зайти в комнату – или, хуже того, в ванную. На крыльце корпуса сидели трое длинноволосых студентов в дашики и играли на цуг-флейтах; за газоном молча протестовали студенты с плакатами: “КИСЛОТА, А НЕ БОМБЫ”, “МНЕ ПЛЕВАТЬ НА ПРЕЗИДЕНТА”, “БОМБИТЬ РАДИ МИРА – КАК ТРАХАТЬСЯ РАДИ ДЕВСТВЕННОСТИ”. Будто чужая страна, куда не дотягивались правила. Елена давила желание ерзать, словно этот кампус – чесучий свитер.

Поэтому осенью, наметив себе честолюбивое и блистательное грядущее, она отправилась в Денисон. На второй день занятий познакомилась с Билли Ричардсоном, высоким и красивым, эдаким Кларком Кентом, и к концу месяца они уже встречались. Целомудренно планировали будущее после выпуска – традиционная свадьба в Кливленде, дом в Шейкер-Хайтс, куча детей, юридический факультет для него, начало репортерской карьеры для нее – и тщательно следовали этому плану. Поженились, поселились в съемном дуплексе в Шейкер-Хайтс, мистер Ричардсон вскоре пошел учиться юриспруденции, миссис Ричардсон предложили должность младшего репортера в “Сан-пресс”. Газетка маленькая, новости местные, зарплата соизмеримо низка. Но, решила миссис Ричардсон, для начала довольно многообещающе. Может, со временем удастся перейти в

“Плейн дилер”, кливлендскую “настоящую” газету, – хотя, разумеется, из Шейкер-Хайтс она никуда не поедет, в голове не укладывается, что можно растить детей где-то еще.

Она старательно освещала местные пресс-конференции, муниципальную политику, влияние новых указов на городскую жизнь, от строительства мостов до древесных посадок, и делила эту обязанность с другим младшим репортером Дуайтом, на год ее моложе. Хорошая должность, дали полтора месяца отпуска, когда родилась Лекси, и когда родился Трип, и Сплин. Но к рождению Иззи миссис Ричардсон все еще трудилась в “Сан-пресс” – правда, старшим репортером, но ее по-прежнему отряжали писать мелкие заметки, мелкие новости. Дуайт переехал в Чикаго – его позвали в “Трибьюн”. Потому ли, что миссис Ричардсон брала отпуска, или – как она уже заподозрила – потому, что ей ничуть не хотелось вкладываться в серьезные сюжеты и горькие трагедии? Наверняка она так и не узнает, но чем больше проходило времени, тем менее вероятной становилась смена работы, и вся история свелась к вопросу о курице и яйце. Уже под сорок, четверо детей и сопутствующие обязательства, в жизни не написала ни одной большой статьи – в “Плейн дилере”, да и вообще нигде такая репортер никого не интересовала; курица это или яйцо – уже неважно.

Короче, миссис Ричардсон осталась. Писала оптимистические заметки, панегирики прогрессу: новый проект переработки мусора, ремонт в библиотеке, открытие новой игровой площадки за библиотекой. Отчитывалась о присяге нового городского управляющего (“торжественно”) и параде на Хэллоуин (“воодушевленно”), об открытии “Книг за полцены” в Центре Ван Эйка (“очень нужное дополнение к торговому району Шейкер-Хайтс”), о дебатах вокруг спреев против непарных шелкопрядов (“бурные с обеих сторон”). Рецензировала постановки “Бриолина” в Унитарианской церкви и “Парней и куколок” в старших классах:

“разухабистая”, сообщала она про одну, и “сядьте, они раскачивают лодку!” – про другую. Славилась обязательностью и грамотностью, хотя – вслух этого, впрочем, не говорили – тексты ее были скучны, и весьма банальны, и страшно *милы*. Шейкер-Хайтс – город надежный, поэтому и новости здесь (уж какие были) тоже скучны. Снаружи в мире извергались вулканы, правительства

возносились, и рушились, и торговались из-за заложников, взрывались ракеты, ломались стены. Но в Шейкер-Хайтс жизнь мирно текла своим чередом, а бунты, и бомбы, и землетрясения доносились издалека, приглушенными толчками. Дом у миссис Ричардсон был велик; дети в безопасности, и счастливы, и получают хорошее образование. В общих чертах, говорила она себе, много лет назад я это и планировала.

Однако просьба Иззи привнесла в эту жизнь нечто новое. Интригу – ну хотя бы интерес. Пожалуй, теперь наконец-то есть что расследовать.

* * *

Миссис Ричардсон сдержала слово: сдал заметку, занялась таинственной фотографией. Назавтра в обеденный перерыв она зашла в музей и глянула на снимок.

Она была уверена, что Иззи насочиняла, но нет, дочь не ошиблась: на фотографии безусловно Мия. На фотографии Полин Хоторн! О Полин Хоторн миссис Ричардсон, конечно, слыхала. Что тут за история? В раздумьях миссис Ричардсон сунула пятерку в музейный ящик для пожертвований и, весьма заинтригованная, направилась к машине.

Первым делом она позвонила в художественную галерею, одолжившую фотографию для выставки. Да, сказал владелец, они купили фотографию в 1982-м у арт-дилера в Нью-Йорке. Было это вскоре после смерти Полин, и художественные круги страшно всполошились, когда на продажу выставили эту прежде неизвестную фотографию. Аукцион был зверский, галерея получила работу за пятьдесят тысяч – задешево, можно сказать, большая удача. Да, это точно фотография Полин Хоторн: за многие годы арт-дилер продала немало ее работ, а на обороте снимка – единственного отпечатка, сказали им – стоит автограф Полин. Нет, владелец фотографии неизвестен, но галерея рада сообщить миссис Ричардсон имя арт-дилера.

Миссис Ричардсон его записала – какая-то Анита Риз – и, звякнув в нью-йоркскую справочную, добыла телефон “Галереи Риз” на

Манхэттене. Когда дозвонилась, Анита Риз оказалась прямо-таки воплощением нью-йоркского духа: резкая, трескучая и невозмутимая.

– Полин Хоторн? Да, наверняка я и продала. Я представляла Полин Хоторн много лет.

Миссис Ричардсон расслышала в трубке далекий визг сирен, что промчались мимо и растворились вдали. В ее воображении Нью-Йорк всегда звучал так – клаксоны, грузовики, сирены. Она бывала там лишь однажды, в колледже, – в те времена сумочку приходилось держать обеими руками, а в подземке нельзя было ни к чему прикоснуться, даже к поручням. В памяти Нью-Йорк таким и зацементировался.

– Но эту фотографию, – сказала миссис Ричардсон, – продали после смерти Полин. Кто-то другой продал. Фотография женщины с ребенком на коленях. Называется “Дева и дитя № 1”.

В телефоне вдруг стало очень тихо – миссис Ричардсон подумала даже, что их разъединили. Но после паузы Анита Риз ответила:

– Да, помню.

– Я что хотела спросить, – сказала миссис Ричардсон. – Вы не скажете, кто продал фотографию?

Тут в голосе Аниты полыхнуло что-то новое – подозрение.

– Откуда вы, напомните?

– Меня зовут Елена Ричардсон. – На миг она замялась. – Я репортер из “Сан-пресс”, в Кливленде. Мне это нужно для статьи.

– Ясно. – Снова пауза. – Простите, но первый владелец фотографии пожелал остаться неизвестным. По личным причинам. Я не вольна сообщить вам имя продавца.

Миссис Ричардсон в досаде загнула уголок блокнота.

– Я понимаю. Меня, собственно, больше интересует модель. Вы случайно не знаете, кто она?

На сей раз ошибки быть не могло – откровенно настороженное молчание, а когда Анита Риз заговорила, голос ее подернулся инеем:

– Боюсь, мне нечего сказать. Удачи вам со статьей. – Тихий щелчок – и тишина на линии.

Миссис Ричардсон положила трубку. Она была журналисткой, и собеседники бросали трубку не впервые на ее памяти, но на сей раз она разозлилась беспримерно. Быть может, здесь что-то кроется – ждет разгадки некая диковинная тайна. Миссис Ричардсон глянула на экран

монитора, где ее само ждало полчерновика статьи “Стоит ли Гору баллотироваться в президенты? Спрашиваем местных жителей”.

Коллекционеры искусства – нередко затворники, подумала она. Тем более если речь идет о деньгах. Может, эта Анита Риз про фотографию и не знает ничего, кроме суммы своей комиссии. И вообще, кто толкнул миссис Ричардсон на эту садовую тропку? Иззи. Ее безрассудная дочь – оголенный провод, вечный двигатель, перегретый реактор, что впадает в яростное негодование из-за малейшей ерунды.

Сразу ясно, рассудила миссис Ричардсон, что перед нами кроличья нора. Она полистала блокнот, открыла заметки о вице-президенте и принялась печатать.

Всю неделю миссис Ричардсон досадовала на Иззи, хотя, правду сказать, на Иззи она по той или иной причине досадовала постоянно. Корни ее раздражения были длинны, и ветвисты, и уходили глубоко. Иззи, вопреки ее подозрениям и подначкам Лекси в минуты жестокости, отнюдь не была случайным или нежеланным ребенком. Совсем наоборот. Миссис Ричардсон всегда мечтала о большой семье. Сама она была единственным отпрыском и все детство грезилась о братьях и сестрах, завидовала подругам – Морин О’Шонесси, например: та никогда не возвращалась из школы в пустой дом, и ей всегда было с кем поговорить. “Не такая уж и красота, – уверяла ее Морин, – особенно если братья”. Пятнадцатилетняя Морин была старшей, ее двухлетняя сестра Кейти – младшей, а между ними родилось шесть парней, но миссис Ричардсон была убеждена, что даже шесть братьев лучше, чем расти одной. “Куча детей, – сказала она мистеру Ричардсону, когда они поженились. – Минимум трое или четверо. И с небольшой разницей”, – прибавила она, снова вспомнив детство: редко случалось, чтобы в классе не было ни одного О’Шонесси. Их знали все – в Шейкер-Хайтс они были династией, громадным, и громогласным, и невероятно красивым кланом, загорелым и обветренным, как Кеннеди. Мистер Ричардсон, у которого было два брата, согласился.

Поэтому первой они родили Лекси в 1980-м, а спустя год Трипа, а еще спустя год – Сплина, и миссис Ричардсон втайне гордилась: до чего плодоносно оказалось ее тело, до чего упруго. Она везла Сплина в коляске, Лекси и Трип ковыляли следом, цепляясь за материну юбку, точно слонята за слонихой, и люди на улицах оборачивались: да быть не может, чтобы эта стройная молодая женщина родила троих. “Еще одного”, – сказала миссис Ричардсон мужу. Они уговорились родить детей пораньше, чтобы миссис Ричардсон потом вернулась на работу. Отчасти ей хотелось остаться дома, просто быть с детьми, но таких женщин ее мать всегда презирала. “Разбазаривают свой потенциал, – фыркала она. – У тебя хорошие мозги, Елена. Ты же не станешь торчать дома за вязанием, правда?” Современная женщина, всегда внушала ей мать, способна – более того, обязана – *добиться всего*. И

после каждых родов миссис Ричардсон возвращалась на работу, ваяла миленькие жизнерадостные заметки, каких требовал редактор, возвращалась домой холить и лелеять своих малышей, поджидала следующего.

На Иззи зачарованная вереница отпрысков оборвалась. Для начала, у миссис Ричардсон случился страшный токсикоз – головокружение и рвота не прекратились после первого триместра и тянулись неделя за неделей, не стихая и даже, пожалуй, обостряясь. Лекси было почти три, Трипу два, Сплину всего годик; в доме трое очень маленьких детей, миссис Ричардсон обессилена, и семейство решило нанять экономку – роскошь, которая станет привычна и будет при них еще много лет, когда дети уже давно станут подростками, до самой Мии.

– Признак здоровой беременности, – уверяли врачи, но через несколько недель после появления экономки у миссис Ричардсон началось кровотечение и ее уложили в постель. Невзирая на эти предосторожности, Иззи родилась на свет вскоре, вырвалась в мир безудержно – одиннадцатью неделями раньше срока и час спустя после прибытия матери в больницу.

В памяти миссис Ричардсон следующие несколько месяцев заволкло ужасным мутным маревом. Логистики она толком не запомнила. Помнила, как Иззи лежала клубочком в стеклянном инкубаторе, и под кожей лососевого цвета проступала сетка лиловых вен. Помнила, как смотрела на свою младшенькую сквозь дырки в инкубаторе, почти притиснувшись носом к стеклу, проверяя, дышит ли Иззи. Помнила, как моталась из дома в больницу и обратно, если удавалось оставить троих старших в умелых руках экономки – дневной сон, обед, часок тут и там, – и как, едва разрешили медсестры, держала Иззи: сначала в двух горстях, потом в ложбинке между грудей и наконец – Иззи крепла, и набирала вес, и теперь больше смахивала на младенца – на руках.

О да, Иззи росла: невзирая на ранний старт, она выказывала твердость воли, которую подмечали даже врачи. Она тянула за шланг капельницы; она выдергивала пищевой зонд. Когда медсестры приходили менять ей подгузник, она брыкала ступнями размером с большой палец и так оглушительно вопила, что младенцы в соседних инкубаторах просыпались и тоже вступали.

– С легкими у нее полный порядок, – сказали Ричардсонам врачи, но предупредили, что возможны другие проблемы.

Желтуха, анемия, слабое зрение, глухота. Умственная отсталость. Порок сердца. Эпилепсия. Церебральный паралич. Когда Иззи наконец прибыла домой – спустя две недели после назначенной даты, – из всего больничного периода миссис Ричардсон будет помнить в основном этот список. Список недугов, которые она станет искать у Иззи следующие десять лет. Иззи просто ничего вокруг не замечает или слепнет? Пропускает слова матери мимо ушей из упрямства или глухнет? А кожа не желтовата? А не слишком бледненькая? Если руке Иззи, что тянулась надеть кольцо на пирамидку, случилось дрогнуть, миссис Ричардсон непроизвольно вцеплялась в подлокотники кресла. Это что – тремор или просто ребенок решает нелегкую задачу овладеть собственными пальцами?

Все выброшенные из головы больничные воспоминания, всё, что миссис Ричардсон вроде бы позабыла, тело ее помнило на клеточном уровне: эту волну тревоги, этот страх, что пропитывал все мысли об Иззи. Микроскопическая фокусировка на любых поступках младшей дочери, привычка вертеть их так и эдак, высматривая симптомы слабости или катастрофы. Ей просто не дается орфография – или это признак умственной неполноценности? У нее просто ужасный почерк, ей просто не дается арифметика, ее истерики нормальны – или дела плохи? Прошло время, тревога отпочковалась от страха и зажила собственной жизнью. С рождением Иззи миссис Ричардсон узнала, как жизнь может трюхать себе тихонько по узенькой колее, а затем ни с того ни с сего ринуться под откос. При всяком взгляде на Иззи ощущение, будто все вновь летит в тартарары, сжимало миссис Ричардсон, точно мускул, что не умеет расслабиться.

– Иззи, сядь прямо, – говорила она за ужином, а сама думала: *Сколиоз. Церебральный паралич.* – Иззи, угомонись.

Она бы никогда не выразилась именно так, но тревога уже подернулась негодованием. “ГНЕВ – ОХРАНИТЕЛЬ СТРАХА”, – гласил плакат в больнице, но миссис Ричардсон его не замечала; ее слишком занимала мысль: “Так не должно было случиться”.

– От тебя и так столько хлопот... – порой начинала она, если Иззи вела себя плохо. Миссис Ричардсон не договаривала эту фразу даже про себя, но внутри у нее по-прежнему шныряла тревога. Иззи

запомнит лишь, как мать говорит: “Нет, нет, Иззи, почему ты не можешь меня послушать, Иззи, веди себя прилично, Иззи, господи боже мой, нет, ты что, с ума сошла?” Как мать чертит границы, которые Иззи отважно нарушает.

Будь Иззи другим человеком – стала бы боязливой, или неврастеничкой, или параноиком. Но Иззи родилась, чтобы жать на кнопки; она росла, не выказывая ни малейших признаков эпилепсии или церебрального паралича, обладая прекрасным зрением, слухом и безусловно живым умом, – мать наблюдала за ней все пристальнее, а Иззи роптала на такое внимание все сильнее. Когда они ходили в бассейн, Лекси, Трипу и Сплину разрешали плескаться там, где помельче, а Иззи – ей тогда было четыре – сидела на полотенце, вся измазанная кремом от загара и в тени зонтика. После недели такой жизни она рыбкой нырнула туда, где глубоко, и ее вылавливал спасатель. Пришла зима, все поехали кататься на санках, Лекси, и Трип, и Сплин с визгом съезжали с горы задом наперед, и на животе, и втроем, а один раз (Трип) – стоя, как серфер. Миссис Ричардсон сидела на горке, аплодировала и подбадривала. Потом Иззи съехала разок, на полпути перевернулась, и мать запретила ей впредь садиться на санки. Вечером, когда все легли спать, Иззи оттащила санки Сплина через дорогу и съехала по берегу утиног пруда на лед четырежды, пока сосед не заметил и не позвонил ее родителям. В десять лет, когда мать психовала из-за привередливости Иззи и гадала, нет ли у дочери анемии, Иззи объявила, что стала вегетарианкой. Когда ей запретили ночевать у подруг – “Если ты не умеешь себя вести дома, Иззи, мы не можем отпустить тебя к чужим людям”, – она стала выбираться из дома по ночам и на кухонный островок выкладывала сосновые шишки, или горсть диких яблок, или конские каштаны.

– Я без понятия, откуда это взялось, – говорила она наутро, когда мать буравила взглядом очередное подношение.

Все дети – включая Иззи – считали, что Иззи жестоко обманула материнские ожидания, что по неведомым причинам мать на Иззи в обиде. Разумеется, чем больше Иззи противилась, тем отчетливее злость выступала на первый план, прикрывая давние тревоги матери, точно раковина – улитку.

– Господи боже, Иззи, – снова и снова твердила миссис Ричардсон, – да что с тобой *такое*?

Мистер Ричардсон относился к Иззи терпимее. Это же миссис Ричардсон держала ее на руках, это миссис Ричардсон выслушивала врачебные прогнозы, грозные предостережения о возможном грядущем. Мистер Ричардсон только что закончил юридический факультет и был очень занят – строил практику, работал допоздна, пробивался в партнеры. Он считал, что Иззи слегка своевольна, однако радовался, что после кошмарного начала дух ее не сломлен. Восхищался ее умом, ее живостью. Вообще-то Иззи походила на мать в молодости: мистера Ричардсона в свое время и привлекла эта искра, целеустремленность, внутренняя ясность, и то, что у Элены всегда был план, и как остро она переживала борьбу добра со злом, – теперь-то, после долгих благополучных лет в пригороде угли этой пылкости еле теплились.

– Да ничего страшного, Елена, – говорил он жене. – С ней все нормально. Оставь девочку в покое.

Но миссис Ричардсон не могла оставить Иззи в покое, и так у всех сложилась эта картина: Иззи бросает вызов, мать ставит рамки, и со временем все позабыли, как зародилась такая динамика, – помнили только, что она была всегда.

* * *

В выходные после Дня благодарения, когда миссис Ричардсон еще злилась на Иззи, все семейство позвали на день рождения к старым друзьям.

– А можно Пёрл тоже пойдет? – спросил Сплин. – Маккалла не будут против. Они и так пригласили всех, кого знали.

– И лишний гость посюсюкает над младенчиком, – прибавила Иззи. – В чем, сами понимаете, смысл всего мероприятия.

Миссис Ричардсон вздохнула.

– Иззи, бывают случаи, когда уместно пригласить с собой подругу, а бывают случаи, когда праздник сугубо семейный, – ответила она. – Это семейный праздник. Пёрл нам не семья. – Она щелкнула замком сумочки и набросила ремешок на плечо. – Пора бы уже понимать разницу. Пойдемте, опоздаем.

Так что в те выходные Ричардсоны приехали к Маккалла без Пёрл – прибыли на двух машинах, Лекси, Трип и Сплин в одной, мистер и миссис Ричардсон в другой, с надутой Иззи на заднем сиденье. Дом бросался в глаза. Машины парковались по обеим сторонам улицы сплошняком – Маккалла заранее сняли ограничения на парковку в полиции Шейкер-Хайтс – и вылезали на соседний Саут-Вудленд-бульвар, а над почтовым ящиком пританцовывала исполинская бело-розовая гроздь воздушных шаров.

Гости набились в дом под завязку. На столах выставили коктейли “мимоза” и омлеты. Официанты разносили киши на один укус и яйца-пашот в лужах бархатистого голландского соуса. Трехэтажный бело-розовый торт, убранный помадкой, венчала сахарная статуэтка младенца, в пухлых ручонках державшего цифру 1. И повсеместные бело-розовые ленты размечали триумфальный путь к кухонному столу, где на руках у миссис Маккалла сидела виновница торжества – Мирабелл Маккалла.

Миссис Ричардсон уже, конечно, встречалась с Мирабелл, несколько месяцев назад, когда девочка только появилась в доме. Миссис Ричардсон и Линда Маккалла вместе выросли – выпуск Шейкер 1971 года, старые подруги, с самого знакомства во втором классе, – и жизни их протекали с изящной симметрией: обе после школы уехали учиться, и вернулись, и жили в Шейкер-Хайтс, и построили карьеры. Только Ричардсоны очень быстро родили сначала Лекси, затем Трипа, и Сплина, и Иззи, а миссис Маккалла десять с лишним лет пыталась, а потом они с мужем решили удочерить.

– Это прямо-таки было *предопределено*, как говорила моя мать, – сказала миссис Ричардсон мужу, услышав такие вести. – Другого слова не подобрать. Марк и Линда столько пережили, сам знаешь, – они сколько ждали. Наркоманского ребенка готовы были взять, вот точно тебе говорю. И тут как гром среди ясного неба – десять тридцать утра, звонит соцработница и говорит, что на пожарной станции оставили азиатского младенчика, и в четыре часа дня младенец уже у них.

Миссис Ричардсон пошла знакомиться с малышкой на следующий же день и в паузах между воркованием выслушала историю Линды – как ей позвонили, как она рванула напрямик в “Бейбиз Ар Ас” и скупила все, от полного младенческого гардероба до кровати и полугодового запаса подгузников.

– Истратила на кредитке все подчистую, – смеялась Линда Маккалла. – Марк еще кровать собирал, когда соцработница привезла Мирабелл. Но ты посмотри на нее. Ты только на нее посмотри. Просто не верится, да? – И она в чистом изумлении крепче прижала к себе ребенка.

С тех пор миновало десять месяцев, и процесс удочерения шел на всех парах. Мы надеемся, что через месяц-другой закончим, сообщила миссис Маккалла, протягивая миссис Ричардсон “мимозу”. Маленькая Мирабелл – такая милашка: черные пушистые волосы с розовой лентой, круглое задиристое личико, карие глазищи таращатся на толпу гостей, в пальчиках зажаты бусы миссис Маккалла.

– Ой, она прямо куколка, – ахнула Лекси.

Мирабелл отвернулась и зарылась лицом в свитер миссис Маккалла.

– Это ее первая большая вечеринка, – пояснила та, погладив девочку по темной макушке. – Она не привыкла, что вокруг столько людей. Да, Мими? – И она поцеловала девочку в ладошку. – Но нельзя же было не отметить ее первый день рождения.

– Откуда вы знаете, что это ее день рождения? – спросила Иззи. – Она же брошенная?

– Она не брошенная, – сказала миссис Ричардсон. – Ее оставили на пожарной станции, чтобы ее нашли и спасли. Совсем другое дело. И поэтому она оказалась в этом прекрасном доме.

– То есть вы не знаете, когда она на самом деле родилась? – спросила Иззи. – Вы просто выбрали случайный день?

Миссис Маккалла усадила ребенка поудобнее.

– В социальной службе подсчитали, что ей два месяца плюс-минус пара недель. Она у нас появилась тринадцатого января. И мы решили праздновать тридцатого ноября. – Она скупно улыбнулась Иззи. – По-моему, нам очень повезло подарить ей день рождения. В этот день родился Уинстон Черчилль. И Марк Твен.

– А ее правда зовут Мирабелл? – спросила Иззи.

Миссис Маккалла напряглась.

– Когда оформят все бумаги, ее будут звать Мирабелл Роуз Маккалла, – ответила она.

– Но у нее же, наверное, и раньше было имя, – сказала Иззи. – Вы знаете какое?

Вообще-то миссис Маккалла знала. Ребенка оставили в картонной коробке, закутав в несколько слоев одежды и завернув в одеяла, чтоб не замерзла на январском холоде. В коробке была и записка – после долгих уговоров соцработница дала прочесть. “Имя ребенка Мэй Лин. Пожалуйста, возьмите этого ребенка и дайте ей лучшую жизнь”. В ту первую ночь, наконец убаюкав девочку на руках, мистер и миссис Маккалла два часа листали словарь имен. Ни тогда, ни потом и до сего дня им и в голову не приходило жалеть об утрате ее прежнего имени.

– Мы решили, что лучше дать ей новое имя – в честь начала новой жизни, – сказала миссис Маккалла. – “Мирабелл” означает “дивная красота”. Прелестно, да?

В ту ночь, глядя на длинные детские ресницы, на крохотный бутончик губ, довольно приоткрытый в глубоком сне, они с мужем решили, что более подходящего имени не сыскать.

– Когда мы взяли кошку из приюта, мы ей оставили прошлое имя, – сказала Иззи. И обернулась к матери: – Помнишь? Мисс Муррти? Лекси говорила, что оно дурацкое, а ты сказала, что имя нельзя менять, а то кошка запутается.

– Иззи, – одернула миссис Ричардсон. – Веди себя прилично. – И посмотрела на миссис Маккалла: – Мирабелл *так* выросла. Я бы ее и не узнала. Раньше была совсем худышка, а теперь такая пухленькая, вся прямо сияет. Ой, Лекси, ты посмотри, какие щечки.

– Можно ее подержать? – спросила Лекси. И не без помощи миссис Маккалла привалила ребенка к плечу. – Ой, какая кожа. Прямо кофе с молоком.

Мирабелл вплела пальцы в длинные волосы Лекси, и Иззи угрюмо удалилась.

– Я *не* понимаю этой мании, – прошептал Сплин Трипу в углу за кухонным островком, куда они ретировались с бумажными тарелками кишей и выпечки. – Они едят. Спят. Какают. Плачут. Уж лучше собака.

– Зато девушки их любят, – сказал Трип. – Небось, если бы Пёрл пришла, она бы над этой деткой ворковала.

Сплин не понял, дразнится брат или сам думает о Пёрл. И Сплин не знал, какая версия тревожнее.

– Ты же слушал, когда на ОБЖ объясняли про предохранение, да? – спросил он. – А то у нас тут стадами будут бегать девчонки с мелкими Трипами. Вообразить страшно.

– Ха-ха. – Трип вилкой забросил в рот кусок яйца. – Ты о себе побеспокойся. Нет, погоди – чтобы кому-нибудь заделать ребенка, надо, чтобы кто-нибудь с тобой переспал.

Он швырнул пустую тарелку в мусорное ведро и отправился искать напитки, оставив Сплина в одиночестве доедать последние крошки уже остывшего киша.

По просьбе Лекси миссис Маккалла отвела ее на экскурсию в спальню Мирабелл: все розовое и бледно-зеленое, а над кроватью – вручную вышитый транспарант с именем обитательницы.

– Она обожает этот ковер, – сказала миссис Маккалла, похлопав по овчине на полу. – Мы кладем ее сюда после купания, а она катается и хохочет.

Она показала Лекси игровую комнату Мирабелл – отдельную гигантскую спальню с игрушками: деревянными кубиками всех цветов радуги, бархатным слоном-качалкой, целым шкафом кукол.

– Та комната, что выходит на фасад, больше, – пояснила миссис Маккалла. – Но здесь солнечнее – все утро и почти до вечера. Там мы сделали гостевую, а эту оставили Мирабелл для игр.

Когда они вновь спустились, гостей съехалось еще больше, и Лекси нехотя уступила Мирабелл новоприбывшим. Когда настала пора резать торт, светская жизнь так вымотала новорожденную, что пришлось ее уносить – попить из бутылочки и поспать, – и, к великому разочарованию Лекси, под конец вечеринки, когда Ричардсоны уезжали, Мирабелл все еще спала.

– Я хотела еще ее подержать, – пожаловалась Лекси по пути к машине.

– Она ребенок, а не игрушка, Лекс, – сказал Сплин.

– Миссис Маккалла наверняка обрадуется, если ты предложишь сидеть с Мирабелл, – утешила миссис Ричардсон. – Езжай осторожнее, Лекси. Дома увидимся. – И она за плечо подтолкнула Иззи к другой машине. – А *ты* в следующий раз поменьше груби в гостях, или останешься дома. Линда Маккалла, между прочим, сидела с *тобой*, когда ты была маленькая. Меняла тебе подгузники и водила в парк. В следующий раз, когда с ней встретишься, вспомни об этом.

– Вспомню, – ответила Иззи и грохнула дверцей.

* * *

Несколько дней Лекси только и говорила, что о Мирабелл Маккалла.

– Младенческая лихорадка, – сказал Трип и локтем пихнул Брайана: – Берегись, чувак.

Брайан нервно хохотнул. Однако Трип был прав: Лекси вдруг яростно прониклась младенцами, даже съездила в “Диллардз” и купила там в подарок Мирабелл кружевное, совершенно непрактичное платье.

– Боже мой, Лекси, как-то я не припомню, чтобы тебя интересовали малыши, когда Сплин и Иззи были маленькие, – заметила ее мать. – Да и куклы, если уж на то пошло. Собственно... – Миссис Ричардсон мыслями обратилась в прошлое. – Один раз ты закрыла Сплина в ящике с кастрюлями и сковородками.

Лекси закатила глаза:

– Мне было *три года*.

Она трещала про младенца до понедельника, и когда после обеда в кухне появилась Мия, Лекси возрадовалась новой слушательнице.

– У нее такие роскошные волосы, – восторгалась она. – Я никогда не видела у маленьких столько волос. Такие шелковистые. И глаза огромные – так и вбирают всё. И такая чуткая. Ее нашли на пожарной станции, представляете? Кто-то ее там буквально оставил.

Мия, в углу вытиравшая столешницы, замерла.

– На пожарной станции? – переспросила она. – На какой пожарной станции?

Лекси взмахнула рукой.

– Не знаю. Где-то в Восточном Кливленде, кажется. – Ее не так интересовали подробности, как трагическая романтика сюжета.

– И когда это было?

– В январе. Что-то такое. Миссис Маккалла говорила, пожарный вышел покурить и нашел Мирабелл в коробке. – Лекси покачала головой: – Как будто она щенок ненужный.

– И Маккалла собираются оставить ее себе?

– По-моему, да. – Лекси открыла шкаф и добыла себе батончик “Нутри-Грейн”. – Они сто лет уже хотели ребенка, а тут Мирабелл.

Прямо чудо. И они давно пытались усыновить. Они будут очень любящие родители.

Она содрала с батончика обертку, и кинула ее в мусорное ведро, и ушла наверх, а Мия осталась размышлять.

Уборка и стряпня у миссис Ричардсон обеспечивали аренду жилья, но Мие с Пёрл нужны были деньги и на продукты, и на электричество, и на бензин, так что Мия отработывала несколько смен в неделю во “Дворце удачи” – жалованья и обедков на двоих впритык хватало. Во “Дворце удачи” были повар, помощник повара, помощник официанта и одна официантка на полной ставке, Биби, которая пришла за несколько месяцев до Мии. Двумя годами раньше Биби приехала из Гуандуна и, хотя по-английски говорила неровно, любила болтать с Мией – та слушала сочувственно, никогда не поправляла ошибки и понимала без труда. Пока они заворачивали пластмассовые приборы в салфетки, Биби много чего поведала Мие о своей жизни. Мия в ответ почти ничем не делилась, но за многие годы она узнала, что люди редко это замечают, если умеешь слушать – то есть подбадриваешь собеседника, чтобы он говорил о себе. За полгода Мия выслушала почти всю историю жизни Биби – отчего рассказ Лекси ее и заинтересовал.

Потому что год назад Биби родила ребенка.

– Я напугаться, – сказала она Мие, пальцами оглаживая мягкую салфеточную бумагу. – Никого нет помочь. Никак работать. Никак спать. Целый день держать ребенка, плакать.

– А где отец ребенка? – спросила Мия, и Биби ответила, что ушел.

– Я говорить, что я рожать, две недели – он исчезать. Мне сказать, он назад Гуандун. Я для него сюда приезжать, да? Раньше мы жить в Сан-Франциско, я работать в кабинете стоматолога, в приемной, много деньги, очень хороший начальник. Он получать работу на автозаводе, он говорить: Кливленд – хорошо, Кливленд – дешево, Сан-Франциско дорого, мы переезжать в Кливленд, купить дом, будет двор. И я ехать за ним сюда, а тут...

Биби на миг умолкла и кинула салфетку, аккуратно укутавшую палочки, вилку и нож, в кучу других таких же.

– Никто не говорить китайский, – прибавила она. – Я на собеседование в приемную, мне говорить – плохой английский. Нигде не найти работать. Никто не сидеть с ребенком.

У нее, наверное, была постродовая депрессия, сообразила Мия, – и это в лучшем случае, как бы не постродовой психоз. Ребенок не брал грудь, молоко иссякло. Биби потеряла работу – она за минимальную зарплату паковала пенопластовые стаканчики в коробки, – когда легла в больницу рожать, денег на молочную смесь у нее не было. В конце концов – и вот это, сочла Мия, никак не совпадение – Биби в отчаянии пошла на пожарную станцию и оставила ребенка под дверью.

Спустя несколько дней Биби нашли двое полицейских – она валялась в парке под скамейкой, без чувств от голода и обезвоживания. Ее привезли в приют, там помыли, покормили, прописали антидепрессанты и спустя три недели отпустили. Но к тому времени никто не знал, что случилось с ребенком. Пожарная станция, твердила Биби, – я оставила ребенка на пожарной станции. Нет, не помню на какой. Она ходила кругами по всему городу с ребенком на руках, раздумывала, как поступить, и наконец прошла мимо пожарной станции, и окна тепло горели в темной ночи, и Биби решилась. Сколько может быть в городе пожарных станций? Но никто не хотел ей помочь. Ты бросила дочь – ты отказалась от своих прав, сказали ей в полиции. Извини. Больше ничего сообщить не можем.

Биби отчаянно хотела найти дочь, это Мия знала; Биби искала уже который месяц – начала, едва оклемавшись. У нее теперь была работа, постоянная, хоть и низкооплачиваемая; она нашла новую квартиру; ее душевное состояние выровнялось. Но ей так и не удалось выяснить, что случилось с ребенком. Дитя словно испарилось.

– Иногда, – сказала она Мие, – я думать, я спать. Но где сон? – Она оборотом манжеты промокнула глаза. – Где я не найти дочь? Или где я родить?

За годы разъездов Мия выработала одно правило: не привязывайся. Ни к городам, ни к квартирам, ни к чему. Ни к кому. С рождения Пёрл они, по подсчетам Мии, успели пожить в сорока шести городах, а имущество их сводилось к тому, что помещалось в “фольксваген”, – иными словами, к наималейшему минимуму. Они редко где-то задерживались и не успевали завести друзей, а в тех редких случаях, когда друзья заводились, Мия и Пёрл уезжали, не оставив нового адреса, и теряли с ними связь. При каждом переезде они бросали все, что можно было бросить, и отсылали работы Мии Аните на продажу – а это означало, что и работ они больше не увидят.

В общем, Мия избегала вмешиваться в чужие дела. Так проще: так будет проще, когда закончится срок аренды, или Мие прискучит город, или ею овладеет беспокойство и захочется перемены мест. Но эта история, история Биби, – другое дело. Одна мысль о том, что у матери могут отнять ребенка... одна мысль ужасала. Как будто вонзили нож и одним рывком опустошили нутро, и ничего не осталось, лишь порыв холодного воздуха. Тут в кухню, желая попить, вошла Пёрл, и Мия кинулась к ней, обхватила дочь руками, словно та балансирует на краю пропасти, и обнимала так долго и так крепко, что в конце концов Пёрл сказала:

– Мам. Все нормально?

Эти Маккалла – хорошие люди, Мия не сомневалась. Но дело-то не в этом. Ей припомнились затишья в ресторане, когда схлынет вечерний наплыв посетителей: тогда Биби порой облокачивалась на стойку – и уплывала. Мия прекрасно понимала, куда Биби плывет. Для родителя ребенок – не просто человек: для родителя ребенок – *страна*, некая Нарния, неизбывный простор, где встречаются и настоящее, которое проживаешь, и прошлое, которое помнишь, и будущее, по которому тоскуешь. Всякий раз, взглянув на него, ты это видишь, читаешь в лице слои – прежний младенец, нынешнее дитя, будущая взрослая, и всех ты видишь одновременно, в 3D. Голова идет кругом. В этой стране ты найдешь убежище – если знаешь, как туда попасть. И всякий раз, уходя, всякий раз, теряя ребенка из виду, ты боишься, что уже никогда не сможешь туда вернуться.

В самом-самом начале, в первую ночь, когда Мия и Пёрл только выступили в путь, Мия свернулась калачиком на самодельной постели, на заднем сиденье “кролика”, а маленькая Пёрл пристроилась в изгибе ее живота, и Мия смотрела, как дочь спит. Вот она, так близко, что щекой чувствуешь теплое молочное дыхание; Мия смотрела и дивилась на это крошечное существо. *Кость от костей моих и плоть от плоти моей*^[31], думала она. Мать гоняла ее в воскресную школу каждую неделю, пока Мие не исполнилось тринадцать, и слова эти обернулись заклинанием: внезапно Мия различила материнские черты в лице Пёрл – линию подбородка, складочку между бровями, что появилась, когда Пёрл погрузилась в непонятный сон. Мия уже давно не вспоминала о матери, и в груди полыхнула молния тоски. Эта вспышка словно пробудила Пёрл – она зевнула, потянулась, и Мия

прижала ее к себе теснее, погладила по волосам, прижалась губами к невероятно мягкой щеке. *Кость от костей моих и плоть от плоти моей*, снова подумала она, когда веки Пёрл затрепетали и вновь сомкнулись, и Мия была уверена, что никто никогда не будет любить это дитя, как любит она.

– Нормально, – сейчас сказала она дочери и с большим трудом ее отпустила. – Уже закончила. Поехали домой, ладно?

Уже тогда Мия предчувствовала, что́ начинается; жар разъедал ноздри, словно первый завиток дыма далекого пожара. Она не знала, вернет ли дочь Биби. Знала только, что невыносимо вообразить, как некто забирает ее дочь, дочь Мии. Как могут эти люди, думала она, как эти люди могут отнять ребенка у матери? Она твердила это себе всю ночь и еще наутро, набирая номер, дожидаясь гудков. Так нельзя. Нельзя, чтобы матери приходилось отказываться от ребенка.

– Биби, – произнесла она, когда к телефону подошли. – Это Мия, с работы. Тут такое дело.

Вот почему во вторник вечером, когда Пёрл и Мия ужинали, раздался звонок, а потом лихорадочный стук. Мия метнулась к боковой двери, Пёрл слышала перешептывания, плач, и мать вошла в кухню, а за нею – рыдающая молодая китаянка. – Я стучать и стучать, – говорила Биби. – Я звонить, они не отвечать, я стучать и стучать. Я видеть эту женщину внутри. Выглядывать за шторой, ждать, когда я уйти.

Мия подвела ее к стулу – своему, перед тарелкой недоеденной лапши на столе.

– Пёрл, дай Биби воды. И, пожалуй, чаю. – Мия села напротив, наклонилась через стол, взяла Биби за руку: – Не надо было сразу туда бежать. Конечно, они тебе не открыли.

– Я не сразу! Я звонить!

Биби тылом ладони отерла лицо, а Мия подтолкнула к ней салфетку. Не салфетку вообще-то, а старый цветастый носовой платок из благотворительной лавки, и Биби энергично потерла глаза.

– Я их найти в телефонной книге и звонить, после говорить с тобой. Никто не отвечать. Автоответ. А что я сказать? И я им звонить и звонить, утро целиком, и кто-то ответить в два часа. *Она* ответить.

В углу Пёрл поставила чайник на плиту и включила конфорку. С Биби Пёрл прежде не встречалась, хотя пару раз мать ее поминала. Мать не говорила, какая Биби красавица – огромные глаза, высокие скулы, густые черные волосы, высоко стянутые в хвост, – и как юно выглядит. Всех, кто старше двадцати, Пёрл считала невозможно взрослыми, а Биби, наверное, лет двадцать пять. Явно моложе матери, но речь слегка ребяческая, и слегка ребяческая манера сидеть, чопорно сдвинув ноги, сцепив руки, и беспомощно взглядывать на Мию, будто Биби тоже Миина дочь, – на подростка похожа больше. Пёрл не понимала – и еще не скоро поймет, – сколь необычайно хладнокровна ее мать в свои годы, сколь умудрена и закалена.

– Я говорить, кто я, – рассказывала между тем Би-би. – Я говорить: “Линда Маккалла?” А она говорить да, и я говорить: “Я Биби Чжоу, я мать Мэй Лин”. А она вешать трубку на меня.

Мия покачала головой.

– Я звонить опять, она опять трубку взять и на меня повесить. Потом я опять звонить, там гудеть “занято”. – Биби отерла нос салфеткой и смяла ее комом. – И я туда ехать. Два автобуса, надо спросить шофера, где пересадить, потом милую идти. Такие большие дома – там все ездить машиной, никто не хочет автобус на работу. Я звонить в дверь, а никто не отвечать, а она смотреть сверху, стоять и на меня смотреть. Я опять звонить и опять звонить, я кричать: “Миссис Маккалла, это я, Биби, я хочу говорить”, – а штора закрыть. Она стоять, ждать, пока я уйти. Как будто я уйти, если там моя девочка... Я все стучать и звонить. Рано или поздно она прийти и я с ней говорить. – Биби глянула на Мию. – Я просто хочу увидеть мою девочку. Я думаю, я говорить с этими Маккалла и они понять. Но она не выходить.

Биби надолго умолкла, уставилась на свои руки – ребра ладоней, заметила Пёрл, покраснели и обветрились. Биби, наверное, стучала долго-долго, сообразила Пёрл и одновременно подумала, до чего, вероятно, больно было Биби, до чего ей больно сейчас и до чего перепугалась запертая в доме миссис Маккалла.

Остаток истории вышел наружу с запинками, словно Биби и сама лишь теперь восстанавливала события. Подъехал “лексус”, следом полицейская машина, вышел мистер Маккалла. Он велел Биби убираться с его участка, а двое полицейских подпирали его с флангов, как телохранители. Биби пыталась им сказать, что хочет только увидеться с ребенком, но толком не помнила, что говорила – спорила или угрожала, ярилась, умоляла. Помнила только реплику, которую твердил мистер Маккалла, – “Вы не имеете права быть здесь. Вы не имеете права быть здесь”, – и наконец один полицейский взял ее под локоть и увел. Уходите, сказали ей, не то мы отвезем вас в участок и предъявим обвинение в незаконном проникновении. Но вот что Биби запомнила ясно: когда полицейские оттащивали ее от дома, за парадной дверью в запертом доме плакал ее ребенок.

– Ой, Биби, – сказала Мия, и Пёрл не поняла, расстроена мать или горда.

– Что еще я сделать? Я идти пешком сюда. Сорок пять минут. У кого еще просить помощь? – Биби прожгла Мию и Пёрл свирепым взглядом, будто ждала возражений. – Я же ее *мать*.

– Они это понимают, – сказала Мия. – Они прекрасно это понимают. Иначе бы тебя не гнали. – И она подтолкнула к Биби кружку чаю, уже остывшего.

– Что я делать? Если я опять туда пойти, они звать полицию и арестовать.

– Можно нанять адвоката, – предложила Пёрл, и Биби посмотрела на нее мягко и жалостливо.

– Где я взять деньги адвокату? – спросила она. Оглядела свой наряд – черные брюки, тоненькую белую рубашку, – и Пёрл сообразила: это же ее официантская форма, она убежала с работы, даже не переодевшись. – У меня в банке шестьсот одиннадцать долларов. Думать, адвокат помогать за шестьсот одиннадцать долларов?

– Ладно, всё, – сказала Мия. Отодвинула остатки дочериного ужина, уже затянутые белым лаком жира. Весь этот разговор Мия размышляла; Мия размышляла с той минуты, когда Лекси рассказала про ребенка: как на месте Биби поступила бы сама, как можно поступить на месте Биби. – Послушай меня. Ты хочешь бороться? Тогда делаем так.

Приглядись дети Ричардсонов к рекламе посреди Джерри Спрингера в среду, они бы заметили фотографию дома Маккалла в анонсе вечерних новостей на Третьем канале. И, наверное, сказали бы матери, которая строчила заметку о предложении ввести школьный налог, к новостям домой не вернулась, сюжета не увидела и не оповестила миссис Маккалла.

Но вышло так, что Лекси и Трип до того увлеченно и горячо спорили, у кого из гостей лучше прическа, у трансвестита или у его озлобленной бывшей жены, что рекламы никто не услышал. Пёрл и Сплин наблюдали дискуссию в безмолвной растерянности и на экран даже не глянули, а Лекси и вовсе загородила его посреди Триповой похвалы трансвеститу. Иззи между тем сидела в темной комнате у Мии и смотрела, как та вынимает из кюветы и вешает сушиться новый отпечаток. В общем, ни анонса вечерних новостей, ни самого выпуска никто не видел. Миссис Маккалла новостей тоже не смотрела, и посему рано утром в четверг, ожидая посылку от сестры, с Мирабелл на бедре открыла дверь и всполошилась, узрев на крыльце Барбру

Пирс, пышноволосую местную репортершу-расследовательницу Девятого канала, с микрофоном в руках.

– Миссис Маккалла! – вскричала Барбра, точно они столкнулись на вечеринке, какое восхитительное совпадение.

Позади нее маячил дородный оператор в куртке, но миссис Маккалла разглядела только дуло объектива и мигающий красный огонек, одинокий горящий глаз. Мирабелл заплакала.

– Насколько нам известно, вы сейчас оформляете удочерение. А вы в курсе, что мать ребенка добивается возвращения опеки?

Миссис Маккалла грохнула дверью, но съемочная группа получила искомое. Всего две с половиной секунды эфирного времени, однако этого хватило: худая белая женщина в дверях внушительного кирпичного дома в Шейкер-Хайтс, рассерженная и испуганная, обнимает вопящего азиатского ребенка.

Во власти невнятных дурных предчувствий миссис Маккалла глянула на часы. Муж уехал в центр на работу и еще минимум тридцать пять минут проведет в дороге. Она обзвонила всех подруг, но те тоже не видели вечерних новостей и не смогли ее просветить – разве что морально поддержать.

– Не переживай, – сказали все по очереди. – Обойдется. Барбра Пирс безобразит, подумаешь.

Тем временем мистер Маккалла прибыл и на лифте поднялся на седьмой этаж, в офис “Финансовых услуг Рэйбёрна”. Едва он вытащил одну руку из рукава пальто, в дверях возник Тед Рэйбёрн:

– Слушай, Марк. Я не знаю, ты вчера видел новости по Третьему? Давай я тебе расскажу.

Он прикрыл дверь, и мистер Маккалла послушал, кутаясь в пальто, как в полотенце. Размеренно, с легкой тревогой – таким тоном он обычно говорил с клиентами – Тед Рэйбёрн пересказал сюжет из новостей: в кадре дом Маккалла укрывался в вечерних тенях, но после многих лет коктейлей, бранчей, летних барбекю Тед Рэйбёрн прекрасно его узнал. Подводка ведущего: “Детей берут под опеку, чтобы те, кто лишен семьи, обрели новый дом. Но что, если у ребенка уже есть семья?” И интервью матери – Би... Тед не расслышал имени, – которая на камеру умоляла вернуть ей дитя. “Я делай ошибку, – сказала она, тщательно выговаривая каждый слог. – У меня теперь хорошая работа. Я взять себя в руки. Я хотеть вернуть мою

девочку. Эти Маккалла не имеют права удочерять, если мать хочет своего ребенка. Ребенок должен быть с матерью”.

Тед Рэйбёрн почти дорассказал, и тут зазвонил телефон на столе, и мистер Маккалла прочитал номер, и увидел, что звонит жена, и понял, что происходит и как ему предстоит с ней объясняться. Он взял трубку.

– Я еду домой, – сказал он, и положил трубку на рычаг, и взял ключи.

У Мии не было телевизора, и новостей она тоже не видела. Но в среду после обеда, прямо перед эфиром, Би-би зашла и рассказала, как прошло интервью.

– Они говорить, хороший сюжет, – сообщила Би-би. Она была в черных брюках и белой рубашке с поблекшим пятном соевого соуса на манжете – забежала по дороге на работу, поняла Мия. – Они говорить со мной почти час. У них мне быть много вопросов.

Она осеклась, заслышав шаги на лестнице. Пришла Иззи из школы, и при виде чужачки женщины умолкли.

– Я иди, – после паузы сказала Биби. – Скоро автобус. – По пути к двери она подалась к Мие. – Они говорить, люди очень быть за меня, – прошептала она.

– Это кто? – спросила Иззи, когда Биби ушла.

– Просто подруга, – ответила Мия. – С работы. Выяснилось, что у продюсеров с Третьего канала инстинкты работали будь здоров. В первые часы после новостей телефоны в редакции раскалились – накала хватило, чтобы снять продолжение и чтобы Девятый канал, вечный конкурент Третьего, с утра пораньше отрядил Барбру Пирс на задание.

– Барбра Пирс, – сказала Линда Маккалла в четверг вечером. – Барбра Пирс на этих своих шпильках и с прической как у Долли Партон^[32]. Явилась на порог и ткнула микрофоном мне в лицо.

Миссис Маккалла и миссис Ричардсон только что посмотрели сюжет Барбры Пирс – обе сидели у себя на диванах перед телевизорами, прижимая к уху беспроводные телефоны, и миссис Ричардсон на миг объяла жуть: как будто им опять по четырнадцать лет и они с телефонами “Принсес” на коленях тандемом смотрят “Зеленые просторы”^[33], слушая смех друг друга.

– Это же Барбра Пирс, что с нее взять, – ответила миссис Ричардсон. – Мисс Сенсация в костюме. Хулиганье, укомплектованное оператором.

– Адвокат говорит, у нас прочная позиция, – сказала миссис Маккалла. – Он говорит, бросив ребенка, она отказалась от опеки в пользу штата, а штат передал опеку нам, поэтому жаловаться ей надо на штат, а не на нас. Он говорит, удочерение уже на восемьдесят процентов завершено, еще месяц-два – и Мирабелл насовсем наша, и тогда у этой женщины вообще никаких прав на нее не будет.

Они, миссис Маккалла и ее муж, так долго пытались завести ребенка. Она забеременела тотчас после свадьбы. А спустя несколько недель началось кровотечение, и еще до разговора с врачом она знала, что ребенка больше нет.

– Бывает сплошь и рядом, – утешил ее врач. – Половина всех беременностей заканчивается в первые же недели. Большинство женщин и не знают, что зачали.

Но миссис Маккалла знала. И три месяца спустя, когда все повторилось, и четыре месяца спустя, когда все повторилось снова, и спустя еще пять месяцев, когда все повторилось *опять*, она остро сознавала, что внутри у нее вспыхнула живая искра – и что затем эта искра почему-то погасла.

Врачи прописывали терпение, витамины, препараты железа. Случилась еще одна беременность; на сей раз до начала кровотечения прошло почти десять недель. Миссис Маккалла плакала по ночам, а когда засыпала, ее муж плакал, лежа подле нее. За три года попыток она забеременела пять раз, а ребенок так и не родился. Погодите полгода, рекомендовал гинеколог; дайте организму восстановиться. Когда ожидание закончилось, они попробовали снова. Спустя два месяца она была беременна; спустя еще месяц – уже нет. Она никогда никому не говорила, надеялась, что если накрепко запереть в себе знание о ребенке, он останется внутри и будет расти. Ничего не менялось. К тому времени ее старая подруга Элена родила девочку и мальчика, носила третьего, и хотя Элена часто звонила, была бы счастлива заключить Линду в объятия и дать ей выплакаться – как они обе нередко поступали в юности, из-за крупных трагедий и мелких невзгод, – этим миссис Маккалла поделиться не могла. Она же не

рассказывала Элене, что забеременела, – как рассказать, что беременность прервалась? Непонятно даже, как подступиться к теме.

“Я потеряла еще одного. Опять то же самое”. На совместных обедах миссис Маккалла не могла отвести взгляд от округляющегося живота миссис Ричардсон. Прямо извращенка какая-то – хотелось трогать его, гладить, ласкать. Где-то фоном щебетали и топотали Лекси и Трип, и спустя время проще стало избегать этой обстановки. Миссис Ричардсон замечала, что ее дражайшая подруга Линда звонит реже, что сама она, когда звонит, часто попадает на автоответчик – бодрый голос миссис Маккалла нараспев произносит: “Оставьте сообщение для Линды и Марка, мы вам перезвоним!” Но никто никогда не перезванивал.

Спустя год после рождения Иззи миссис Маккалла снова забеременела. К тому времени все это уже выматывало: расчеты менструального цикла, ожидание, визиты к врачу. Даже секс – тщательно расписанный по самым фертильным дням – стал тоскливой рутинной. Кто бы мог подумать, размышляла она, вспоминая старшие классы, когда они с Марком судорожно щупали друг друга на заднем сиденье его машины. Врачи назначили ей строгий постельный режим: на ногах не больше сорока минут в день, включая походы в туалет; никаких физических нагрузок. Она дотянула почти до пяти месяцев, а потом проснулась в два часа ночи с ужасной неподвижностью в животе – словно тишина после того, как умолк звонок. В больнице она лежала в наркозном мареве, а врачи выманивали ребенка у нее из чрева.

– Хотите на нее посмотреть? – спросил один, когда все закончилось, и медсестра в горстях протянула ей младенца, завернутого в белую пеленку. Невероятно крошечный младенец, невероятно розовый, невероятно блестящий и гладкий, точно выдутый из розового стекла. Невероятно неподвижный. Миссис Маккалла неопределенно кивнула, закрыла глаза, раздвинула ноги, чтобы врачи ее зашили.

По дороге за продуктами она стала давать крюк, чтобы не ездить мимо игровой площадки, начальной школы, автобусной остановки. Возненавидела беременных. Хотелось закатить им оплеуху, швырнуть в них чем-нибудь, схватить за плечи и искусать. На десятую годовщину свадьбы мистер Маккалла отвел ее к “Джованни”, в ее

любимый ресторан, и следом за ними вперевалку вошла громадная беременная. Миссис Маккалла толкнула дверь, а затем, когда беременная приблизилась, отпустила, и дверь захлопнулась у той перед носом, и мистер Маккалла, потянувшись к локтю жены, какой-то миг не узнавал эту черствую женщину, ни капли не похожую на бесконечно материнскую фигуру, к которой привык с юности.

Наконец, после финального визита к врачу, полного душераздирающих выражений – *малоподвижные сперматозоиды; негостеприимная среда матки; вероятно, зачатие невозможно*, – они решили усыновлять. Скорее всего, даже ЭКО не принесет успеха, сказали врачи. Ваш шанс – усыновление. Они внесли свои имена во все очереди, какие нашли, и время от времени агент по усыновлению звонил им и предлагал вроде бы подходящие варианты. Но что-нибудь вечно не ладилось: то мать передумала, то из ниоткуда выскакивали отец, или кузен, или бабушка, то агентство решало, что лучше подойдет другая пара – зачастую моложе. Миновал год, затем другой и третий. Похоже, завести ребенка хотели все, и спрос намного превышал предложение. В то январское утро, когда позвонила соцработница и сказала, что их контакты ей дали в одном агентстве, что у нее есть девочка и, если они хотят, можно ее забрать... это было как чудо. Если они хотят! Столько боли, столько угрызений, эти семь крохотных призраков – ибо миссис Маккалла не забыла ни одного, – к ее удивлению, спрятались в коробочку, спрятались при виде маленькой Мирабелл – такой плотной, такой яркой, такой неотвратимо настоящей. А теперь, при мысли о том, что Мирабелл тоже отнимут, миссис Маккалла поняла: коробочка и ее содержимое никуда не делись, просто запрятались подальше и ждут, когда кто-нибудь откроет крышку.

Новости сменились рекламой, и в телефонной трубке миссис Ричардсон расслышала жестяной джингл рекламы “Сидар-Пойнт” в телевизоре миссис Маккалла, на долю секунды отстававший от ее телевизора. Посмотрела, как пожилая женщина спотыкается, падает, нащупывает передатчик на шее, и в голове эхом раздался закадровый голос Барбры Пирс. *Эта пара хочет удочерить ее ребенка. Но без боя она дочь не отдаст.*

– Это все схлынет, – сказала миссис Ричардсон. – Люди забудут. Все пройдет.

Но нет, не прошло. Невероятно, но факт: отчего-то эта история задела город за живое. В новостях царило затишье: женщина родила семерняшек; медведи, с непроницаемым видом отрапортовала “Нью-Йорк таймс”, – главные виновники автомобильных взломов в Йосемитском парке. Самый настоятельный политический вопрос (ну, на ближайшие недели) – как президент Клинтон назовет новую собаку. Кливленд объяли уют и скука – город жаждал чуть более насущных сенсаций.

В пятницу утром под дверью Маккалла ошивались еще две съемочные группы, а вечером в новостях прошли три сюжета – на каналах 5, 19 и 43. Кадры с Би-би Чжоу, которая держит фотографию месячной Мэй Лин и молит отдать ей ребенка. Кадры с домом Маккалла – шторы закрыты, фонарь на крыльце погашен; фотография мистера и миссис Маккалла в вечерних нарядах, на бенефисе в пользу больных лейкемией, – снимок публиковали на глянцевого страниц светской хроники в журнале “Шейкер” год назад; сцена с БМВ мистера Маккалла – автомобиль задом выезжает из гаража и катит прочь, а репортер бежит рядом, тыча микрофоном в окно.

К субботе все съемочные группы разошлись по редакциям, миссис Маккалла заперлась в доме с Мирабелл, а секретаршам в инвестиционной компании мистера Маккалла велено было на все звонки журналистов отвечать: “Без комментариев”. Каждую ночь Мирабелл Маккалла – или Мэй Лин, как демонстративно называли ее некоторые – блистала звездой вечерних новостей, всегда в сопровождении фотографий. Поначалу был только снимок Биби – любительский, с новорожденной Мэй Лин, но затем по совету адвоката Маккалла, который хотел подчеркнуть контраст, замелькали портреты посвежее, снятые четой Маккалла, из фотостудии “Диллардз”: Мирабелл в оборчатом желтом пасхальном платье и с кроличьими ушками или в розовых ползунках возле старомодной лошадки-качалки. У обеих сторон появились группы поддержки, и к середине субботы местный адвокат Эд Лим предложил бесплатно представлять интересы Биби Чжоу и отсудить у штата опеку над дочерью.

* * *

В субботу вечером за ужином мистер Ричардсон объявил:

– Днем звонили Марк и Линда Маккалла, спрашивали, не поработаю ли я с их адвокатом. У него, я так понял, небогатый судебный опыт, и они считают, что я пригожусь.

Лекси пожевала листок салата.

– И ты согласился?

– Они, знаешь ли, ни в чем не виноваты. – Мистер Ричардсон отпилил кусок от курицы. – Они хотят, чтобы ребенку хорошо жилось. И иск подали не к ним. Иск подали к штату. Но их втянут, и они пострадают больше всех.

– Не считая Мирабелл, – вставила Иззи.

Миссис Ричардсон хотела было рявкнуть, но мистер Ричардсон взглядом ее остановил.

– Тут все дело в Мирабелл, Иззи, – сказал он. – Все причастные... мы все хотим, чтоб лучше было ей. Надо только понять, как ей будет лучше.

Мы, подумала Иззи. Отец уже впутался. Она вспомнила фотографию Биби Чжоу, пропечатанную во всех газетах: грустные глаза, маленькая Мэй Лин на фотокарточке размером с ладонь – уголок помят, будто снимок носили в кармане (где его и носили). Иззи мигом узнала женщину с кухни Мии – женщину, что умолкла, едва Иззи вошла, и смотрела испуганно, почти затравленно. “Просто подруга”, – сказала Мия, когда Иззи спросила, кто это, и если Мия доверяет Биби, Иззи знает, за кого тут она сама.

– Похититель детей, – сказала она.

Потрясенное молчание опустилось плотной тканью. На другом конце стола Трип и Лекси опасно и без удивления переглянулись. Сплин стрельнул в Иззи взглядом, имея в виду *заткнись*, но Иззи на него не смотрела.

– Извинись перед отцом, Иззи, – сказала миссис Ричардсон.

– За что? – спросила та. – Они ее все равно что крадут. И никто им слова не скажет поперек. А папа даже помогает.

– Давайте успокоимся, – начал мистер Ричардсон, но было поздно. Когда дело касалось Иззи, миссис Ричардсон редко бывала спокойна – как и сама Иззи, если уж на то пошло.

– Иззи. Иди к себе.

Иззи повернулась к отцу:

– Может, они от нее просто откупятся. Почему нынче ребенок на рынке? Десять штук баксов?

– Изабелл Мари Ричардсон...

– Может, они поторгуются и собьют до пяти.

Иzzi со звоном швырнула вилку на тарелку и вышла. *Надо рассказать Мие*, думала она, взбегая по ступеням в спальню. Мия поймет, что делать. Она придумает, как все исправить. Вверх по лестнице и по коридору приплыл смех Лекси, и Иззи грохнула дверь.

Внизу миссис Ричардсон осела на стул; руки у нее тряслись. Сообразное наказание для Иззи она будет сочинять до утра – а утром конфискует ее обожаемые “док-мартенсы” и выбросит на помойку. Понятно, отчего ты ведешь себя как бандитка, станет твердить она, открывая крышку мусорного бака, – ты же и одеваешься как бандитка. Но пока она лишь плотно поджала губы и аккуратным крестом выложила на тарелку нож с вилкой.

– Пока никому не говорить? – спросила она. – Что ты работаешь с Маккалла?

Мистер Ричардсон покачал головой.

– Завтра будет в газете, – ответил он и не ошибся. В воскресенье “Плейн дилер” напечатал передовицу, прямо под сгибом: “МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА БОРЕТСЯ ЗА ОПЕКУ НАД ДОЧЕРЬЮ”. Хорошая статья, заключила миссис Ричардсон, попивая кофе и профессиональным взглядом скользя по колонкам: обзор дела; краткое упоминание о том, что Маккалла будет представлять Уильям Ричардсон из “Кляйнман, Ричардсон и Фиш”; заявление адвоката Биби Чжоу. *“Мы уверены, – говорит Эдвард Лим, – что штат сочтет необходимым вернуть опеку над Мэй Лин Чжоу ее биологической матери”*. Но газета опубликовала материал на виду, прямо на первой полосе, а значит, настоящее освещение дела только начинается.

Глаз миссис Ричардсон зацепился за фразу в конце статьи: “О местонахождении дочери мисс Чжоу сообщила ее коллега из «Дворца удачи», китайского ресторана на Уорренсвилл-роуд”. Очень округлая, анонимная формулировка, но у миссис Ричардсон екнуло сердце: ясно, что это за коллега. Не бывает таких совпадений. Выходит, эту кашу заварил ее жиличка, ее тихая, маленькая, услужливая жиличка. Которая по неясным пока причинам решила перевернуть вверх тормашками жизнь бедных Маккалла.

Миссис Ричардсон аккуратно свернула и отложила газету. Вновь вспомнила, с каким равнодушием Мия откликнулась на предложение купить ее работу, до чего уклончиво говорит о своем прошлом. До чего Мия... ну, *отстраненна*, хотя каждый день часами околачивается у миссис Ричардсон дома, в этой самой кухне. Миссис Ричардсон платит этой женщине жалованье, субсидирует аренду, дочь этой женщины изо дня в день безвылазно торчит под этой самой крышей. Миссис Ричардсон подумала про фотографию в музее – теперь, в воспоминаниях, фотография подернулась скрытностью, коварством. Какое лицемерие – упрямо таиться, но внедряться туда, где ей совсем не место. Впрочем, это же Мия. Эта женщина почти с извращенным наслаждением подрывает нормальный порядок вещей. Воплощенная несправедливость – что эта женщина так портит жизнь Линде, драгоценной подруге миссис Ричардсон, что Линда должна из-за нее страдать.

В понедельник миссис Ричардсон, отправив детей в школу, медлила, пока Мия не явилась прибираться. Миссис Ричардсон и сама не знала, чего добивается, но хотела увидеться с Мией лично, посмотреть ей в глаза.

– Ой, – сказала Мия, шагнув в боковую дверь. – Я не знала, что вы дома. Мне прийти позже?

Склонив голову набок, миссис Ричардсон разглядывала свою жиличку. Волосы, как обычно, – неопрятным пучком на макушке. Широкая белая рубашка не заправлена в джинсы. Мазок краски на тыле запястья. Положив руку на косяк, Мия с полуулыбкой ждала ответа. Милое лицо. Молодое, но не скажешь, что невинное. Мие, сообразила миссис Ричардсон, все равно, что о ней думают. И поэтому она в некотором роде опасна. На ум миссис Ричардсон пришла фотография, которую она видела у Мии в тот день, когда позвала ее к себе в дом. Женщина, обернувшаяся арахнидом, – сплошь бесшумные коварные руки. Кем надо быть, чтобы превратить женщину в паука? Более того: кем надо быть, чтобы взглянуть на женщину и *подумать* о пауке?

– Я уже ухожу, – сказала миссис Ричардсон и взяла сумку с кухонной столешницы.

Даже многие годы спустя миссис Ричардсон будет уверять, что ее раскопки в прошлом Мии – не более чем справедливое воздаяние за ту

кашу, которую Мия заварила. Исключительно ради Линды, станет твердить миссис Ричардсон, ради старейшей и ближайшей подруги, женщины, что хотела всего-навсего осчастливить ребенка, а Мия разбивала ей сердце. Линда такого не заслуживала. Не могла же она, Елена, стоять в сторонке и смотреть, как лучшую подругу лишают счастья? Даже себе миссис Ричардсон так и не признается, что вовсе не в ребенке было дело, а в какой-то заковыристости Мии, в темном беспокойстве, которое она пробуждала, а миссис Ричардсон предпочла бы придавить крышкой и не выпускать наружу. А пока, сжимая газету в руке, миссис Ричардсон сказала себе, что это ради Линды. Она кое-кому позвонит. Посмотрит, что удастся выяснить.

Первым делом миссис Ричардсон почитала про Полин Хоторн. О Полин Хоторн она, конечно, слыхала и прежде. Когда миссис Ричардсон посещала факультативный курс по искусству в колледже, звезда Полин Хоторн как раз взошла – о ней много говорили, ей обильно подражали студенты-фотографы, что бродили по кампусу, символами ремесла нацепив камеры на шею. Теперь, разглядывая ее фотографии вновь, миссис Ричардсон их вспомнила. Женщина в зеркале салона красоты – половина волос опрятно накручена на бигуди, половина спадает путаным вихрем. Женщина подправляет макияж в боковом зеркальце “крайслера”, из лакированных губ свисает сигарета. Женщина в изумрудном халате и на каблуках пылесосит золотистый ковер – цвета до того насыщенные, что будто текут. Эффектные снимки – даже все эти годы спустя миссис Ричардсон помнила, как они вспыхивали на экране проектора в темной аудитории, как она ныряла в этот ослепительный техникolorный мир и у нее на миг перехватывало дыхание.

Оказывается, Полин родилась в сельском Мэне, в восемнадцать лет переехала на Манхэттен, несколько лет прожила в Гринич-Виллидж и попала на арт-сцену в начале семидесятых. Во всех книгах по искусству, куда миссис Ричардсон заглянула, Полин превозносили: гений-самоучка, пионер феминистской фотографии, живой и щедрый интеллект.

Сведений о ее личной жизни было очень мало – лишь мельком упоминалось, что у Полин была квартира в Верхнем Ист-Сайде. Впрочем, миссис Ричардсон откопала любопытную деталь: Полин Хоторн преподавала в Нью-Йоркской школе изящных искусств – хотя, видимо, и не ради денег. Полин Хоторн проработала всего несколько лет – а ее снимки уже продавались за десятки тысяч: немалая сумма для фотографа тех времен, тем более для женщины. После смерти Полин в 1982 году цены взлетели до небес, и Музей современного искусства, дабы дополнить свою постоянную экспозицию одной ее работой, выложил почти два миллиона.

По наитию миссис Ричардсон поискала телефон секретаря Нью-Йоркской школы изящных искусств. Секретарь, когда миссис

Ричардсон представилась и объяснила, что хочет уточнить кое-какие подробности для статьи, оказался крайне услужлив. Полин Хоторн много лет, почти до самой смерти, вела углубленный курс фотографии. Нет, в последние годы никакой Мии Уоррен в ее классах не было. Зато осенью 1980-го была Мия Райт – это не она?

Обнаружилось, что в том семестре Мия Райт поступила в Школу изящных искусств на первый курс, но весной 1981-го взяла академический отпуск на весь следующий год. К учебе она не вернулась. Миссис Ричардсон прикинула в уме: весной Мия – если это та самая Мия – еще не могла быть беременна дочерью. И зачем она взяла академ, если не по беременности?

Секретарь заупрямился и не пожелал выдавать адреса студентов, даже пятнадцатилетней давности. Однако путем искусных расспросов миссис Ричардсон выяснила, что в досье Мии Райт адрес был местный, а родителей не значилось.

Придется, видимо, подойти к задаче с другой стороны. И вскоре представился случай – пришло давно предвкушаемое письмо. С самого Дня благодарения Лекси первым делом, войдя в дом, проверяла почту, и наконец в середине декабря в ящике возник толстый конверт с гербом Йеля в углу. Миссис Ричардсон обзвонила всю родню и похвасталась хорошими новостями; мистер Ричардсон принес домой торт.

– В выходные мы празднуем, Лекси. Пойдем на бранч, – сказала миссис Ричардсон за ужином. – В конце концов, ты не каждый день поступаешь в Йель. Устроим веселый девичник.

– А я? – спросил Сплин. – А мне торчать дома и жевать хлопья?

– Она же сказала: *веселый девичник*, – засмеялся Трип, и Сплин насупился. – Тоже хочешь девичник?

– Ну перестань, Сплин, – сказала миссис Ричардсон. – Трип верно говорит. Это праздник Лекси. Нарядимся как настоящие девочки, проведем приятное утро.

– А я что? – осведомилась Иззи. – Мне, значит, можно?

Этого миссис Ричардсон не предвидела. Но у Лекси уже горели глаза, Лекси уже щебетала о том, куда хочет пойти, и отказывать было поздно. А позже, когда миссис Ричардсон умывалась перед сном, ее посетила идея – можно извлечь из мероприятия дополнительную пользу.

Назавтра прямо перед ужином она вышла в солярий. Обычно она детей не трогала – считала, что подросткам нужно личное пространство, что они имеют право на некое уединение. Но сегодня она искала Пёрл. Та, как водится, валялась на диване с Лекси, Трипом и Сплином – все тонули в пухлых подушках. Иззи лежала поперек кресла на животе – подбородок на одном подлокотнике, ноги болтаются в воздухе над другим.

– А, Пёрл, вот ты где, – начала миссис Ричардсон. И осторожно присела на подлокотник подле Пёрл. – Мы с девочками в субботу идем на бранч – праздновать хорошие новости Лекси. Может, и ты с нами?

– Я? – Пёрл глянула через плечо, словно миссис Ричардсон обращалась не к ней.

– Ты же нам почти родная, нет? – засмеялась та.

– Конечно, пойдем, – сказала Лекси. – Я хочу, чтоб ты пошла.

– Иди предупреди мать, – сказала миссис Ричардсон. – Она в кухне. Наверняка она разрешит. Скажи, что я угощаю. Скажи, – прибавила она, – что я настаиваю.

Сузив глаза, Иззи в углу медленно приподнялась на локтях. Три с лишним недели миновало с тех пор, как мать обещала узнать про загадочную фотографию Мии, а когда Иззи спросила, мать только и ответила:

“Ой, Иззи, вечно ты делаешь из мухи слона”. А теперь мать интересуется Пёрл. Странно.

– А *ее* ты зачем пригласила? – осведомилась Иззи, когда Пёрл вприпрыжку кинулась в кухню и уже не слышала.

– Иззи. Часто Пёрл ходит на бранчи, как ты думаешь? Надо учиться щедрости. – Миссис Ричардсон встала и огладила блузку. – И вообще, я думала, Пёрл тебе нравится.

* * *

И вот так Пёрл очутилась за деревянным столом в углу, бок о бок с Лекси, напротив миссис Ричардсон и надутой Иззи. Лекси выбрала “100-й эскадрон бомбардировщиков”, ресторан у аэропорта, куда семья ездила по очень особым случаям, в последний раз – на сорок четвертый день рождения мистера Ричардсона.

В “100-м эскадроне бомбардировщиков” в то утро было людно – головокружительная деятельная круговерть, непонятный фуршетный стол вдоль всего зала. За мясным прилавком здоровяк в белом фартуке строгал на ростбифы гигантскую коровью ляжку. За стойкой омлетов шеф-повара выливали на сковородку потоки пенных золотых яиц и жарили воздушные омлеты с чем пожелаешь, даже с тем, что Пёрл и в голову не пришло бы класть в омлет: грибы, спаржа, кораллового оттенка куски омара. По стенам висели сувениры эскадрона: карты крупнейших битв с нацистами, медали, солдатские жетоны, письма любимым домой, фотографии самолетов, фотографии летчиков – лихих бойцов в мундирах и фуражках, а порой с усами.

– Ты на него посмотри, – сказала Лекси, пальцем постучав по фотографии у Пёрл за ухом. – Капитан Джон К. Синклер. Вот бы с ним познакомиться, да?

– Ты же понимаешь, – сказала Иззи, – что ему, если он жив, сейчас года девяносто четыре. Он небось на ходунках.

– Да нет, в смысле, если б мы жили тогда. Не занудствуй, Иззи.

– Он, знаешь, наверное, города бомбил, – заметила Иззи. – И поубивал кучу невинного народу. И все эти дядьки тоже. – И она рукой обмахнула фотографии.

– Иззи, – сказала миссис Ричардсон, – давай отложим урок истории. Сегодня мы празднуем победу Лекси. – И через стол она просияла улыбкой старшей дочери, а заодно и Пёрл, сидевшей рядом. – За Лекси, – сказала она, подняв свою “Кровавую Мэри”, а Лекси и Пёрл подняли бокалы с апельсиновым соком, лучезарным на солнце.

– За Лекси, – эхом откликнулась Иззи. – Я уверена, что Йель исполнит все твои желания.

И она хлебнула воды из стакана с таким видом, будто предпочла бы что-нибудь покрепче. За соседним столом младенец грохнул пухлыми ладошками по скатерти, и приборы с лязгом подпрыгнули.

– О боже мой, – одними губами сложила Лекси. И через проход наклонилась к ребенку: – Ты такой лапочка. Да-а, ты лапочка. Ты на свете самый лапочный деточка.

Иззи закатила глаза и встала.

– Вы за ней последите, – посоветовала она родителям младенца. – Вдруг у вас ребенка украдут? Мало ли что. – И, не успели они

ответить, зашагала через зал к фуршетному столу.

– Пожалуйста, простите мою дочь, – сказала соседям миссис Ричардсон. – У нее трудный возраст. – И улыбнулась младенцу, который тщился запихнуть в рот широкий конец ложки. – Лекси, Пёрл, сходите тоже? А я посижу.

Когда все вернулись к столу, миссис Ричардсон приступила к тонкой работе – беседу требовалось по чуть-чуть развернуть. Оказалось проще, чем она ожидала. Начала она с безотказной темы погоды: будем надеяться, Лекси не станет мерзнуть в Нью-Хейвене; надо купить ей пальто потеплее в “Л. Л. Бин”, новые непромокаемые ботинки, пуховое одеяло. Затем миссис Ричардсон обернулась к Пёрл.

– А ты? – спросила она. – Ты бывала в Нью-Хейвене?

Пёрл проглотила кусок омлета и покачала головой:

– Нет, никогда. Мама не очень любит Восточное побережье.

– Вот как, – сказала миссис Ричардсон. Кончиком ножа она ткнула яйцо-пашот, и желток растекся золотой лужицей. – Жалко, что ты туда не ездила. Есть что посмотреть. Культурные места. Несколько лет назад мы были в Бостоне – помните, девочки? Тропа Свободы^[34], корабль Бостонского чаепития, дом Пола Ревира^[35]. И конечно, Нью-Йорк – вот где есть чем заняться. – И она благожелательно улыбнулась Пёрл. – Надеюсь, когда-нибудь доберешься. Я считаю, молодежи надо путешествовать для расширения кругозора.

Пёрл была уязвлена – миссис Ричардсон это предвидела.

– Да нет, мы много ездили, – сказала Пёрл. – Мы где только не были. Иллинойс, Айова, Канзас, Небраска... – Она помолчала, вспоминая что-нибудь пошикарнее. – Даже Калифорния. Несколько раз.

– Замечательно! – Миссис Ричардсон подлила ей соку из графина. – И в самом деле – где только не были. Ты прямо путешественница. И как тебе? Нравится ездить?

– Да ничего. – Пёрл поковыряла омлет вилкой. – Ну, мы переезжаем, как только мама заканчивает проект. У нее в новых местах рождаются новые идеи.

– Ты растешь настоящей гражданкой мира, – сказала миссис Ричардсон, и Пёрл невольно вспыхнула. – Ты, вероятно, знаешь об этой стране больше любого сверстника. Даже Лекси и Иззи – а мы немало покатались, – но даже Лекси и Иззи были всего в нескольких

штатах. – И затем, как бы невзначай: – А где ты жила дольше всего? Там, где родилась, наверное?

– Ну-у. – Пёрл проглотила яйцо. – Родилась-то я в Сан-Франциско. Но мы уехали, когда я была совсем маленькой. Я вообще не помню. Мы нигде надолго не задерживались.

Эти сведения миссис Ричардсон у себя в голове каталогизировала и отложила.

– Придется тебе однажды туда вернуться, – сказала она. – Я очень верю в важность корней. Их знание формирует личность. Вот я, между прочим, родилась в Шейкер-Хайтс.

– Мам, – перебила Иззи, – Пёрл это не интересно. И никому не интересно.

Миссис Ричардсон пропустила замечание мимо ушей.

– Мои бабушка с дедушкой приехали сюда одними из первых, – продолжала она. – Раньше считалось, что здесь сельская глубинка, представляешь? У них были конюшни, и каретные сараи, и выезды по выходным. – Она повернулась к Лекси и Иззи: – Вы-то моих дедушку с бабушкой и не помните. Лекси была совсем кроха, когда они умерли. В общем, они приехали сюда и остались. Верили в принципы, на которых зиждется Шейкер-Хайтс.

– Шейкеры – они же вроде были безбрачные коммунисты? – спросила Иззи, отпивая воды.

Миссис Ричардсон на нее покосилась.

– Вдумчивое планирование, равенство, разнообразие. Они считали всех поистине равными. Передали это моей матери, а она передала мне. – И миссис Ричардсон снова повернулась к Пёрл: – А где росла твоя мать?

Пёрл заерзала.

– Да я не знаю. Может, в Калифорнии? – Она снова потыкала вилкой омлет, уже резиновый. – Она почти не рассказывает. У нее, похожему, не осталось родственников.

Честно говоря, Пёрл никогда не хватало духу прямо спросить Мию о корнях, а окольные вопросы та с легкостью парировала. “Мы кочевники, – говорила она дочери. – Современные цыгане, вот мы кто. Никогда никуда не ступаем дважды”. А в другой раз: “Мы произошли от цирковых. Бродяжничество у нас в крови”.

– Ты бы выяснила, – встряла Лекси. – Я в том году выясняла, для проекта на День истории. На Эллис-Айленде огромная база данных – списки прибывших пассажиров, судовые манифесты, все такое. Если знаешь, когда иммигрировали предки, восстанавливаешь семейную историю по переписям. Я отследила нашу до кануна Гражданской войны. – Она отставила бокал. – Как думаешь, твоя мать знает, когда твои предки сюда приехали?

Миссис Ричардсон почувяла, что лед под ногами тончает.

– Лекси, ты прямо начинающий репортер, – довольно резко вмешалась она. – Может, тебе в Йеле стоит подумать про журналистику.

Лекси фыркнула:

– Нет уж, спасибочки.

– Лекси, – вклинилась Иззи, не успела мать снова заговорить, – хочет стать новой Джулией Робертс. Сегодня Мисс Аделаида, а завтра – Любимица Америки.

– Заткнись, – сказала Лекси. – Джулия Робертс, наверное, тоже со школьных спектаклей начинала.

– Я бы не против, – сказала Пёрл.

Все посмотрели на нее.

– Что не против? – спросила Лекси.

– Стать репортером, – ответила Пёрл. – В смысле, журналистом. Докапываешься до дна. Рассказываешь истории про людей, отыскиваешь правду, пишешь об этом. – Говорила она пылко, как поистине умеют одни подростки. – Словами меняешь мир. Я бы с радостью. – Она глянула на миссис Ричардсон, и та впервые заметила, до чего огромны и искренни глаза у Пёрл. – Как вы. Я бы с радостью занималась тем же.

– Вот как, – сказала миссис Ричардсон. Ее это взаправду тронуло. На миг почудилось, будто Пёрл – просто-напросто очередная подруга дочери, пришла отпраздновать успех замечательной Лекси, многообещающая молодая женщина, которую миссис Ричардсон могла бы наставлять и воспитывать, полагаясь исключительно на ее потенциал. – Это прекрасно. Напиши что-нибудь для “Шейкерайта”, школьная газета – отличный способ освоить начатки профессии. Будешь готова – может, я тебе с практикой помогу. – Тут она осеклась, вдруг вспомнив, зачем позвала Пёрл на бранч. – Ну, короче, подумай, –

договорила она и яростно поболтала в коктейле сельдерейным стеблем. – Иззи, а больше ты ничего не ешь? Только тост с желе? Ну честное слово, так можно питаться и дома.

* * *

По телефону отдел записи актов гражданского состояния в Сан-Франциско нашелся не сразу, но едва миссис Ричардсон отыскала номер и дозвонилась, все пошло как по маслу. Меньше десяти минут – и служащая, ни о чем не спросив, по факсу прислала форму запроса на предоставление копии свидетельства о рождении. Миссис Ричардсон поставила галочку в квадратике “информационные цели”, вписала имя и дату рождения Пёрл, а также имя Мии. Графу “отец”, естественно, пришлось оставить пустой, но служащая уверяла, что и без имени отца бумага прекрасно отыщется, свидетельства о рождении – публичные документы.

– От двух до четырех недель – если оно у нас, мы вышлем, – пообещала она, и миссис Ричардсон вписала свой адрес, приложила чек на восемнадцать долларов и отослала конверт.

Миновало пять недель, но свидетельство о рождении, очутившись в почтовом ящике, принесло некоторое разочарование. В графе “отец” аккуратно напечатали слово “НЕТ”. Миссис Ричардсон огорченно поджала губы. Соккрытие имени родителя, сочла она, нужно запретить по закону. Как-то это неприлично – не откровенничать, не заявлять внятно о своих корнях. Мия уже выказала себя лгуньей и способна на новую ложь. Что еще она прячет? Это, думала миссис Ричардсон, все равно что не показывать журнал техобслуживания при продаже подержанной машины. Ты же имеешь право знать, откуда что взялось, – надо ведь понимать, какие возможны поломки? И разве она – нанимательница этой женщины, а также ее арендодатель – не имеет права знать?

* * *

Зато всплыл один новый факт: в свидетельстве о рождении, рядом с именем “Мия Уоррен”, было указано место рождения Мии – Бетел-Парк, штат Пенсильвания.

Справочная в Бетел-Парке сообщила, что в городской телефонной книге значатся пятьдесят четыре Уоррена. Поразмыслив, миссис Ричардсон позвонила в городской отдел загс – не такой услужливый, как в Сан-Франциско. Никакой Мии Уоррен в документах нет, заявила женщина по телефону.

– А Мия Райт? – в порыве вдохновения спросила миссис Ричардсон, и, недолго помолчав и пощелкав клавишами, женщина ответила, что да, Мия Райт есть, родилась в Бетел-Парке в 1962 году. А, кстати, еще есть Уоррен Райт, родился в 1964-м; может, миссис Ричардсон перепутала имена?

Миссис Ричардсон поблагодарила и повесила трубку.

Ей понадобилось несколько дней, но, старательно применяя репортерские навыки и ведя обильные телефонные переговоры, она в конце концов нашла искомый ключ. Ключ принял облик некролога в “Питтсбург пост” от 17 февраля 1982 года.

В ПЯТНИЦУ СОСТОИТСЯ ПАНИХИДА ПО СТАРШЕКЛАССНИКУ

Панихида и похороны 17-летнего Уоррена Райта состоятся в пятницу, 19 февраля, в 11:00 в Ритуальном зале Уолтера Э. Гриффита (Браунсвилл-роуд, 5636). У мистера Райта остались родители, мистер и миссис Джордж Райт, давно проживающие в Бетел-Парке, и старшая сестра Мия Райт, окончившая школу в 1980 году. Вместо цветов родные предлагают сделать пожертвование в пользу футбольной команды средней школы Бетел-Парка, где мистер Райт начинал играть хавбеком.

Не может быть, что совпадение, решила миссис Ричардсон. Мия Райт. Уоррен Райт. Мия Уоррен. Она снова позвонила в справочную Бетел-Парка, а затем, повесив трубку, перечитала свои заметки.

Джордж и Реджина Райт, Норт-Ридж-роуд, 175. Почтовый индекс. Телефонный номер.

Это так просто, не без презрения подумала она, – узнавать про людей. У них всё на виду. Нужно только поискать. Если постараться, узнаешь про человека что угодно.

* * *

К тому времени, когда миссис Ричардсон нашла родителей Мии, дело маленькой Мэй Лин / Мирабелл не исчезло из новостей – нет, о нем говорили все больше. Это правда, нервы стране уже щекотало непристойное поведение президента, но его история, хоть и скандальная, слегка отдавала комизмом. Разброс мнений по городу варьировался от “При чем тут его президентство?” и “У всех президентов случаются романы” до более лаконичного “Да кого колышет?”. Но публика – и особенно публика в Шейкер-Хайтс – уже прикипела к делу Мирабелл Маккалла, и оно, в отличие от скандала со стажеркой, всем виделось смертельно серьезным.

Чуть не каждый вечер передавали хотя бы одну свежую новость по делу – в список дел к слушанию оно вошло под названием “Чжоу против округа Кайахога”, и суд лишь недавно назначили на март. Поскольку речь шла о Шейкер-Хайтс – о районе, который любил выставляться образцовым, – интересно было всем и у всех в городе имелось мнение. Мать заслуживает шанса воспитать своего ребенка. Мать, которая бросила своего ребенка, не заслуживает второго шанса. Белая семья отрежет китайскую девочку от ее исконной культуры. Любящая семья важнее, чем цвет кожи родителей. Мэй Лин имеет право знать свою мать. Мирабелл не знает другой семьи, кроме Маккалла.

Маккалла спасают Мирабелл, твердила их группа поддержки. Дарят нежеланному ребенку лучшую жизнь. Они герои, кросс-культурным удочерением ломают расовые рамки.

– Я считаю, это замечательно – то, что они делают, – говорила одна женщина репортерам на улице. – Это ведь и есть будущее, да? Со временем мы все научимся не замечать расу.

– Сразу видно, какая она чудесная мать, – говорила соседка Маккалла на камеру несколько минут спустя. – Когда она берет ребенка на руки, по глазам ясно, что она не видит китайца. Она видит просто *ребенка*.

В том и беда, возражала группа поддержки Биби.

– Это не просто ребенок, – возмущалась одна женщина в “Азия-плаза”, кливлендском китайском торговом центре, куда Пятый канал отправил репортера опрашивать азиатов. – Это *китайский* ребенок. Девочка вырастет, ничего не зная о своем наследии. Как ей познать себя?

Мать Сирины Вон тоже пришла тем утром в торговый центр за продуктами и – к ужасу и гордости Сирины – высказалась на заданную тему весьма решительно.

– Притворяться, что этот ребенок – просто *ребенок*, притворяться, что расовый вопрос здесь роли не играет, – лицемерие, – рявкнула доктор Вон; Сирина между тем переминалась у границы кадра. – Нет, я не разыгрываю “расовый козырь”. Спросите себя: будь эта девочка блондинкой, мы бы спорили так жарко?

После продолжительных консультаций с адвокатом Маккалла дали Третьему каналу эксклюзивное интервью. Позитивный пиар, поддержал клиентов мистер Ричардсон, и Третий канал прислал к ним в гостиную съемочную группу с продюсером и снял, как чета сидит на угловом диване с Мирабелл перед пылающим камином; мистер Ричардсон устроился прямо за кадром.

– Конечно, мы понимаем чувства мисс Чжоу, – сказала миссис Маккалла. – Но Мирабелл прожила с нами почти всю свою жизнь и помнит только нас. Я считаю, Мирабелл – мой ребенок, что ее появление – это судьба.

– Ни одна живая душа, – прибавил мистер Маккалла, – не может с чистой совестью утверждать, что Мирабелл не будет лучше в крепкой семье с двумя родителями.

– Есть мнение, что у вас Мирабелл потеряет связь со своей культурой, – сказал продюсер. – Как вы решаете эту проблему?

Миссис Маккалла кивнула:

– Мы стараемся проявлять чуткость. Обратите внимание, у нас теперь больше азиатских художественных работ. – Она обвела рукой свитки на стене у камина (горы, тушь), глазурованную керамическую

лошадку на каминной полке. – Мы готовы, когда Мирабелл подрастет, рассказывать ей о ее родной культуре. И, разумеется, она уже любит рис. Это была ее первая твердая пища.

– В то же время, – вставил мистер Маккалла, – мы хотим, чтобы Мирабелл росла нормальной американской девочкой. Чтобы она понимала: она абсолютно такая же, как все.

В финале сюжета супруги Маккалла стояли над кроваткой Мирабелл, а та агукала на свой мобиль.

Даже Ричардсоны по этому щекотливому вопросу разделились. Миссис Ричардсон, естественно, твердо выступала за Маккалла – и Лекси тоже.

– Посмотрите, какая жизнь у Мирабелл! – как-то раз в середине февраля вскричала Лекси за ужином. – Огромный дом, есть где играть. Двор. Две комнаты игрушек. Мать ей в жизни такого не обеспечит.

Миссис Ричардсон ее поддержала:

– Они так ее любят. Они столько ждали. И они растили ее с первых недель. Мать она уже и не помнит. Марк и Линда – единственные родители, которых она знает. Они идеальные родители, и отнять ее – жестоко по отношению ко всем.

Сплин и Иззи, однако, склонялись на сторону Биби.

– Она совершила одну ошибку, – твердил Сплин. Пёрл рассказала ему историю Биби почти целиком, и Сплин, как и во всем, выступал за Пёрл. – Она думала, что не может позаботиться о ребенке, но потом все переменилось, и она может. Нельзя же теперь отнимать у нее ребенка навсегда.

Иззи высказалась лаконичнее:

– Она мать. Они нет.

История разожгла в ней искру, хотя Иззи пока не понимала, что ее так задевает, и еще долго не сможет выразить словами.

– Клифф и Клэр вчера вечером из-за этого поругались, – однажды рассказал Брайан Лекси. Они валялись в его кровати, полуодетые, прогуляв лакросс и хоккейную тренировку ради упражнений иного сорта. – Клифф и Клэр *никогда* не ругаются. (Началось за ужином, а когда Брайан отправился в постель, его родители уже погрузились в твердокаменное молчание.) Папа считает, ей лучше с Маккалла. Он говорит, с такой матерью у нее никакого будущего. И что из-за таких, как Биби, и существует порочный круг нищеты.

– А ты сам-то что думаешь? – не отступила Лекси. Брайан замялся. Мать оборвала отцовскую тираду; это она делала нередко, но с подобным пылом – никогда.

– А чернокожие дети, которых отдают в белые дома? – спросила она. – Это что, обрывает порочный круг нищеты? – Она с грохотом уронила кастрюлю в раковину и включила воду. Шипящим облаком за клубился пар. – Если так охота помочь черному сообществу, может, пусть для начала поменяют систему?

Брайану казалось, что отцовские рассуждения логичны: ребенок в безопасности, о нем заботятся, его обожают, у него есть все шансы на свете. Но Брайана, как и его мать, почему-то передергивало от зрелища смуглого тельца в длинных бледных руках миссис Маккалла. Вспыхнула досада – нет, злость – на Биби за то, что поставила его в такое положение.

– Я думаю, будь она поосторожнее, всего этого можно было бы избежать, – чопорно ответил он. – Ну возьми ты презерватив. Что, так трудно? Доллар потратить в аптеке – и ничего бы не было.

– Ты вообще мимо, Брай, – сказала Лекси и потянула джинсы с пола.

Брайан их у нее отобрал.

– Да наплюй. Не наша ведь проблема, да?

Он обхватил ее руками, и Лекси напрочь забыла и о маленькой Мирабелл, и о Маккалла – обо всем на свете, кроме его губ, прижавшихся к ее уху.

Эд Лим помог Биби подать ходатайство и получить временное право на встречи с ребенком – раз в неделю на два часа. Пока что опека над девочкой остается за мистером и миссис Маккалла.

Уговор не устраивал никого.

– Только библиотека или “общественное место”, – жаловалась Биби Мие. – Она даже не прийти ко мне домой. Я обнимать дочь в библиотеке. И социальная работница сидеть, все время смотреть на меня. Как будто я преступник. Как будто я делать больно свой ребенку. Эти Маккалла, они говорить, приходить к ним в дом, навещать там. Они думать, я сидеть и улыбаться, когда они красть мой ребенка? Они думать, я сидеть с камином и смотреть картинки, а какая-то женщина обнимать мой дочь?

У миссис Маккалла тоже накопились жалобы.

– Ты себе не представляешь, каково это, – говорила она миссис Ричардсон по телефону. – Отдавать своего ребенка чужому человеку. Женщина, которую ты даже не знаешь, уносит твоего ребенка, а ты смотришь. Как в дверь звонят – у меня сразу крапивница, Елена. Они уходят, а я буквально встаю на колени и молюсь, чтоб она вернулась, когда должна. Накануне ночью спать не могу. Снотворное глотаю. (Миссис Ричардсон сочувственно закудахтала.) И всегда в разные дни. Каждую неделю я твержу: умоляю, давайте назначим время. Пожалуйста, давайте выберем один день. Я буду хотя бы знать, когда мне это предстоит. Успею подготовиться. Но нет, она вечно предупреждает соработницу накануне. Мол, не знает заранее расписания смен. Мне звонят под вечер: “Ой, мы придем завтра в десять”. Меньше чем за полдня. Нервы совсем истрепаны.

– Это же временно, Линда, – утешила миссис Ричардсон. – Слушания в конце марта, и суд, конечно, решит, что ребенок твой.

– Я надеюсь, – сказала миссис Маккалла. – А вдруг решат... – Она осеклась – у нее перехватило горло – и глубоко вздохнула. – Не хочу думать. Не может такого быть. Они не посмеют. – Она заговорила резче: – Какая стабильность в доме, если она не может даже наладить рабочее расписание? Как ей воспитывать ребенка?

– И это пройдет, – сказала миссис Ричардсон.

С напускной, впрочем, невозмутимостью. Чем больше миссис Ричардсон думала о Мие, тем сильнее злилась и тем навязчивее о ней думала.

Миссис Ричардсон всю жизнь провела в Шейкер-Хайтс, и город пропитал ее насквозь. В ее памяти о детстве распахивались зеленые просторы: зеленые газоны, высокие деревья, плюшевая зелень, даруемая благосостоянием; воспоминания походили на рекламные брошюры, которые город выпускал десятилетиями, заманивая подходящую публику. И это логично: дед и бабка миссис Ричардсон жили в Шейкер-Хайтс почти с самого начала. Приехали в 1927-м, когда здесь еще была, говоря строго, деревня, хотя уже тогда Шейкер-Хайтс считали самым утонченным жилым районом в мире. Дед вырос в центре Кливленда, на так называемой улице Миллионеров; дом его предков, зубчатый свадебный торт, жался к обиталищам Рокфеллеров, телеграфного магната и госсекретаря президента Маккинли^[36]. Но к тому времени, когда дед миссис Ричардсон – тогда уже успешный

адвокат – готовился ввести в дом невесту, в центре Кливленда стало шумно илюдно. Закопченный воздух марал дамские платья. Поселиться за городом, решил дед, – самое оно. Переезжать в такую даль – безумие, твердили друзья, но дед любил поля, леса и реки, его нареченная была завзятая лошадица, а в Шейкер-Хайтс имелись три конные тропы, рыбные места, свежего воздуха девать некуда. Вдобавок новая железнодорожная ветка доставляла деловую публику из Шейкер-Хайтс напрямиком в сердце города – куда уж современнее? Пара купила дом на Седжуик-роуд, наняла служанку, вступила в загородный клуб; бабушка миссис Ричардсон подыскала конюшню для своего коня Джексона и записалась в садовый клуб “Цветочный горшок”.

Когда в 1931 году родилась мать миссис Ричардсон, сельский флер слегка рассеялся, идиллия – отнюдь нет. Шейкер-Хайтс официально стал городом; здесь построили девять начальных школ и только что возвели школу красного кирпича для старших классов. По всему городу прорастали новые царственные дома – все согласно строгому стилистическому кодексу, все подпадали под девятидесятилетнее соглашение, запрещавшее перепродажу тому, кого не одобряют соседи. Правила, регламент и порядок необходимы, уверяли друг друга жители, дабы сохранить единство и красоту сообщества.

Ибо Шейкер-Хайтс был красив. Повсюду газоны и цветущие сады – жители обещали выпалывать сорняки и выращивать только цветы, ни в коем случае не овощи. Везунчики, селившиеся в Шейкер-Хайтс, искренне верили, что город их – лучший в Америке. Здесь, как обнаружила одна жительница, если потерять алмазное обручальное кольцо за тысячу долларов, убирая снег с дорожки, коммунальная служба сгребет целый сугроб, отвезет его в муниципальный гараж, растопит под обогревательными лампами и вернет тебе сокровище.

Таково было детство Кэролайн: летом пикники на берегах озер Шейкер, зимой коньки на муниципальных катках, под Рождество гимны. Кэролайн ходила на дневные сеансы “Песни Юга” и “Анны и короля Сиама”^[37] в кинотеатр на Шейкер-сквер, а по особым случаям – например, на день рождения – отец водил ее в ресторан “Стауфферз” пообедать омарами. Подростком она стала мажореткой школьного духового оркестра, сидела у Гребного клуба в машине с мальчиком, который спустя несколько лет станет ее мужем.

Ей это представлялось идеальной жизнью в идеальной обстановке. В Шейкер-Хайтс такое мнение разделяли все. И когда стало очевидно, что внешний мир не так уж идеален – случился фурор вокруг дела “Браун против Совета по образованию”^[38], пассажиры в Монтгомери бойкотировали автобусы^[39], девятеро из Литтл-Рок прорывались в школу сквозь бурю оскорблений и плевков^[40], – обитатели Шейкер-Хайтс, включая Кэролайн, сказали: мы можем лучше. Мы же умнее, мудрее, вдумчивее и дальновиднее, богаче всех, просвещеннее всех, так? Наш долг – просвещать остальных, нет? Обязанность элиты – делиться благополучием с менее везучими, правда? Мать всегда учила Кэролайн думать о нуждающихся: устраивала рождественские сборы игрушек на подарки бедным, участвовала в местной Детской гильдии, даже руководила составлением поваренной книги Гильдии – вся выручка потрачена на благотворительность – и предоставила свой личный рецепт печенья с патокой. Когда внешние невзгоды отозвались в Шейкер-Хайтс эхом – бомбой в доме чернокожего адвоката, – город счел, что необходимо показать: у нас так не принято. Жители создали ассоциацию, которая способствовала интеграции сугубо местным манером: ссуды поощряли белые семьи переезжать в черные районы, ссуды поощряли черные семьи переезжать в белые районы, указом запретили таблички “ПРОДАЕТСЯ”, дабы предотвратить отток белого населения, и указ этот действовал еще не одно десятилетие. Кэролайн – уже сама домовладелица с годовалой дочерью, маленькой миссис Ричардсон, – вступила в ассоциацию тотчас. Спустя несколько лет она вместе с дочерью проведет пять с половиной часов в машине, направляясь на великий Марш на Вашингтон^[41], и миссис Ричардсон навеки запомнит тот день – как от солнца сами щурились глаза, как бок о бок толкались люди, как над толпой поднималась жаркая потная духота и как вдалеке, тщась пронзить облака, вздымался шпиль монумента Вашингтона. Она цеплялась за материну руку, страшно боясь, что мать унесет людским потоком.

– Невероятно, да? – сказала та, не глянув на дочь. – Запомни эту минуту, Елена.

И Елена запомнит лицо матери, эту жажду довести мир до совершенства – как повернуть колок на скрипке и настроить струну.

Запомнит ее веру, что это возможно, надо лишь постараться; что не бывает на свете слишком черной работы.

Но Элене достанутся и три поколения местного благоговения пред порядком и правилами – сбалансировать эти два подхода ей так и не удастся. В 1968 году, в пятнадцать лет, она включала телевизор и смотрела, как по всей стране вспыхивают лесные пожары хаоса. Мартин Лютер Кинг-младший, затем Бобби Кеннеди^[42]. Студенческие бунты в Колумбии. Мятежи в Чикаго, Мемфисе, Балтиморе, округе Колумбия – везде, везде всё распадалось. В глубине души у будущей миссис Ричардсон затеплилась искра – искра, что годы спустя восплает в душе Иззи. Конечно, Элена понимала, почему все это происходит: люди борются с несправедливостью. И при этом она содрогалась, видя сцены на экране. Кадры зернистые – и все равно страшные: горящие продуктовые лавки; дымные клубы над крышами; стены, изгрызенные огнем до гвоздей. Иззубренные лезвия разбитых окон – точно клыки в ночи. Вооруженные солдаты маршируют мимо аптек и прачечных-автоматов. Джипы перегородили перекрестки под потухшими светофорами. Неужели для того, чтобы расчистить место новому, надо сжечь дотла старое? Ковер под ногами был мягок. Диван обит тканью с розами. Снаружи в птичьей кормушке ворковала скорбная голубка, на углу с достоинством притормозил “кадиллак”. Где реальность? Непонятно.

Следующей весной, когда разразились антивоенные протесты, она не села в машину и не поехала протестовать. Она писала страстные письма в редакцию; ставила автографы под петициями за отмену призыва. Нашивала пацифик на рюкзак. Вплетала цветы в волосы.

Не в том дело, что она боялась. Просто Шейкер-Хайтс, невзирая на идеализм, – город прагматиков, и никем другим она быть не умела. Целая жизнь удобных и уютных раздумий толстым тяжелым одеялом покрывала искру в глубине души. Если убежать в Вашингтон на протесты, где там ночевать? А если опасность – как спастись? А уроки, а вдруг ее отчислят, а она сможет закончить школу и пойти в колледж? Весной выпускного класса Джейми Рейнолдс отвел ее в сторонку после истории.

– Я бросаю школу, – сказал он. – Еду в Калифорнию. Поехали со мной.

Она обожала Джейми с седьмого класса, когда он похвалил ее сонет на уроке английского. Теперь, почти в восемнадцать, он обзавелся длинными волосами, клочковатой бороденкой, неприязнью к властям и фургоном “фольксваген”, в котором, сказал он, можно жить.

– Это как поход, – прибавил он, – только едешь куда хочешь.

И ей так хотелось поехать с ним куда глаза глядят, поцеловать эту кривую застенчивую улыбку. Но на что они будут покупать еду, где стирать одежду, где мыться? Что скажут родители? И соседи, и учителя, и подруги? Она чмокнула Джейми в щеку и заплакала, когда он наконец скрылся из виду.

Спустя месяцы, уже в Денисоне, она сидела с однокурсниками и по зернистому телику в общей гостиной смотрела призывную лотерею в прямом эфире. День рождения Джейми – 7 марта – выпал вторым. Значит, его призовут почти сразу, подумала она; интересно, куда он уехал, знает ли, что его ждет, сам явится на призывной пункт или даст деру. Сидевший рядом Билли Ричардсон стиснул ее руку. Его день рождения выпал одним из последних, но он еще не закончил колледж, у него отсрочка. Он спасся. К выпуску война закончится, они поженятся, купят дом, остепенятся. Я ни о чем не жалею, говорила себе миссис Ричардсон. Еще чего не хватало – я что, псих? Ее давние чувства к Джейми – лишь крошечное пламя мимолетного пыла.

За свою жизнь она выучила, что страсть, как и огонь, – штука опасная. Оглянуться не успеешь – а она уже вышла из-под контроля. Взбирается по стенам, перепрыгивает траншеи. Искры скачут, точно блохи, и разлетаются так же стремительно; ветерок разбрасывает угли на много миль окрест. Лучше приглядывать за этой искрой, бережно передавать ее из поколения в поколение, как Олимпийский огонь. Или, скажем, заботливо за ней ухаживать, как за Вечным огнем, памятью о свете и добре, которая никогда ничего не сожжет – ибо не способна. Под скрупулезным контролем. Прирученная. Довольная жизнью в клетке. Главное, рассуждала миссис Ричардсон, – избегать пожара.

Эта философия пронесла ее по жизни и, считала миссис Ричардсон, отлично ей послужила. Конечно, тут и там приходилось кое-чем поступаться. Но у нее прекрасный дом, надежная работа, любящий муж, выводок здоровых счастливых детей; сделка того стоила, да? Правила существуют не просто так: если им следовать, добьешься успеха; если нет – можно сжечь мир дотла.

И однако на свете есть Мия, и она причиняет Линде такие муки; можно подумать, Линде мало досталось, можно подумать, Мия – образцовая мать. Таскает ребенка-безотцовщину с места на место, перебивается черной работой, оправдывается, твердя себе – и всем, – что создает *Искусство*. Грязными руками лезет в чужие дела. Баламутит. Бездумно разбрасывает искры. Миссис Ричардсон кипела, и в душе ее горячая крапинка ярости, плотно заваленная мешками с песком, вспыхнула ясным пламенем. Мия поступает как хочет, думала миссис Ричардсон, – и что? У старейшей подруги миссис Ричардсон будет разбито сердце. Все погрязнет в хаосе. *Нельзя брать и делать что хочешь*, думала она. Почему Мие можно, когда всем остальным нельзя?

Лишь верность чете Маккалла, будет уверять себя миссис Ричардсон, желание добиться справедливости для старой подруги побудили ее все-таки перейти границы: едва удастся вырваться, она смотается в Пенсильванию, навестит родителей Мии. Выяснит раз и навсегда, кто эта женщина.

В те дни Пёрл казалось, будто весь мир пропитан сексом; всё истекало сексом, как грязным медом. Даже в новостях сплошной секс. В “Тудей шоу” ведущий обсуждал слухи о президенте и пятнах на синем платье; ходили истории еще похабнее, про сигару и куда ее совали. Школы по всей стране отряжали соцработников “помочь молодежи справиться с услышанным”, но в коридорах средней школы Шейкер-Хайтс царил не трагедия, а веселье. *Какая разница между Биллом Клинтоном и молотком? Молоток трахнет по пальцу, а...* Временами Пёрл казалось, что вся страна разыгрывает эпизод Джерри Спрингера. *Что будет, если скрестить Теда Казински^[43] с Моникой Левински? Взрыв в пещеристом теле!*

В перерывах между математикой, биологией и английским школьники восторженно обменивались анекдотами, как бейсбольными карточками, и с каждым днем анекдоты становились откровеннее. *Какие сигары в Овальном кабинете? Ребристые и со смазкой. Или: Мистер Клинтон, каким образом ваш орган оказался во рту мисс Левински? Методом научного тыка.* Пёрл краснела и делала вид, будто все это уже слышала. Все так беспардонно произносили слова, которые она не смела даже прошептать. Все чутко улавливали намеки. Подозрения Пёрл подтверждались: видимо, все знают о сексе больше, чем кажется, – все, кроме нее.

В таком вот настроении Пёрл в середине февраля одиноко шагала к дому Ричардсонов. Иззи на Уинслоу – разглядывает контрольки, подравнивает отпечатки, упивается вниманием Мии, дарит Пёрл свободу. Сплин провалил тест по “Джейн Эйр” и остался после уроков переписывать. Мистер и миссис Ричардсон на работе. А Лекси, конечно, занята. Пёрл проходила мимо ее шкафчика, Лекси сказала: “Пока, мы с Брайаном... потусим”, и в воображении Пёрл все туманное нечто, клубившееся в воздухе, ринулось заполнять эту паузу. Пёрл еще размышляла об этом, когда добралась до Ричардсонов и обнаружила, что дома один Трип – растянулся на диване в солярии, длинный и тощий, на подушке раскрыт учебник математики. Кеды

Трип сбросил, но остался в белых носках, и почему-то Пёрл это умилило.

Месяц назад она бы срочно ретировалась, не стала бы навязываться, но, конечно, любая другая девчонка велела бы Трипу подвинуться и плюхнулась рядом на диван. И поэтому Пёрл осталась, шатко балансируя на грани решения. В доме они были одни; возможно что угодно, подумала она, и эта мысль опьяняла.

– Эй, – сказала Пёрл.

Трип поднял взгляд и ухмыльнулся.

– Эй, ботаник, – сказал он. – Иди сюда, помоги человеку.

Он сел и сдвинулся, освободил место, подтолкнул к ней тетрадь. Пёрл прочла задачу, остро чувствуя, что их с Трипом коленки соприкасаются.

– Так, тут все просто, – сказала она. – Чтобы найти “икс”...

Она склонилась над тетрадью и начала исправлять, а Трип смотрел. Пёрл всегда казалась ему крохотной мышкой, симпатичной даже, однако не из тех, о ком он помногу думал, – ну, за пределами океана подростковых гормонов, в котором достойно взгляда любое существо женского пола. Но сегодня Пёрл была какая-то не такая – держалась иначе. Глаза живо блестят – они всегда так блестели? Пёрл отбросила прядь с лица, и Трип прикинул, какво коснуться этой пряди – нежно, точно птицу погладить. Тремя быстрыми штрихами Пёрл набросала задачу – поперек, вниз, затем синусоида, – и Трип вдруг подумал о губах, и о бедрах, и о других изгибах.

– Понятно? – спросила Пёрл, и Трипу, к его изумлению, оказалось понятно.

– Эй, – сказал он. – А ты умеешь.

– Я много чего умею, – ответила она, и тогда он ее поцеловал.

Опрокинул ее спиной на диван, смахнув учебник на пол, возложил руки ей на рубашку, а потом под рубашку – Трип. Но вскоре выбралась из-под него и за руку отвела его в спальню – Пёрл.

В толком не убранной постели Трипа, в спальне Трипа, где на полу валялась вчерашняя рубашка, и не горел свет, и полузакрытые жалюзи исполосовывали их тела солнцем, она подчинилась инстинкту. Словно впервые в жизни мысли выключились, а тело двигалось само по себе. Мялся Трип – неловко возился с застежкой лифчика, хотя наверняка за всю жизнь расстегнул их немало. Пёрл это поняла – и

правильно сделала – как нервозность, знак того, что эта минута ему важна, и это ее тронуло.

– Скажи, когда надо остановиться, – попросил он, а она сказала:

– Не надо.

Миг, настав, полыхнул болью, телесностью их обоих, его веса, навалившегося на нее, ее коленей, обхвативших его бока. Все случилось быстро. Наслаждение – ну, в тот раз – для нее пришло потом, когда он мощно содрогнулся и рухнул, лицом вжался ей в шею. Вцепился в нее, будто во власти невероятной, неотвязной нужды. Ее это восторгало – что они сейчас сделали, как она на него действует. Она поцеловала Трипа в краешек уха, и он, не открывая глаз, сонно ей улыбнулся, и на миг она вообразила, каково это – засыпать подле него, открывать глаза подле него каждое утро.

– Просыпайся, – сказала она. – Скоро придет кто-нибудь.

Они быстро, молча оделись, и вот тогда Пёрл смутилась. А мать догадается? Пёрл теперь выглядит иначе? Все посмотрят и по лицу поймут, что она сделала? Трип кинул ей футболку, и Пёрл натянула ее на голову, внезапно робея его глаз, что ощупывают ее тело.

– Я пойду, – сказала она.

– погоди, – сказал Трип и нежно высвободил ее волосы из-под ворота. – Так-то лучше.

Они застенчиво друг другу улыбнулись и оба отвели глаза.

– До завтра, – сказал Трип, а Пёрл кивнула и выскользнула за дверь.

* * *

В тот вечер Пёрл наблюдала за матерью с опаской. Снова и снова смотрела на себя в зеркало ванной и вполне убедилась, что невооруженным глазом никаких перемен не видно. Если перемены и произошли – а Пёрл одновременно казалось, что она осталась прежней и стала совсем иной, – то внутри. И все равно от каждого взгляда Мии она каменела. Поужинав, сразу ушла к себе, сказала, что у нее полно уроков, – хотела все обдумать. А они с Трипом теперь встречаются? Непонятно. Он ее использовал? Или – мысль озадачивала – это она использовала его? При следующей встрече ее будет тянуть к нему по-

прежнему? При следующей встрече он сделает вид, будто ничего не было, – или, хуже того, рассмеется в лицо? Про себя Пёрл проигрывала случившееся посекундно: каждое движение рук, каждое слово, каждый вздох. Поговорить с Трипом или подождать, пока он отыщет ее сам? Все эти вопросы вертелись у Пёрл в голове всю ночь, и утром, когда за ней зашел Сплин, она не смотрела ему в глаза.

Весь день Пёрл изо всех сил жила как ни в чем не бывало. Не поднимала головы от тетрадей; не поднимала руку. Под конец каждого урока собиралась с духом на случай, если в коридоре наткнется на Трипа, репетировала, что скажет. Так и не наткнулась и после каждой перемены заходила в класс, вздыхая с облегчением. Сплин замечал, что она притихла, и гадал, не расстроена ли она чем. Вокруг гудела неизменная школьная суматоха, а после школы Пёрл ушла домой, отговорившись тем, что неважно себя чувствует. Какой бы ни вышла следующая встреча с Трипом, Пёрл не хотела столкнуться с ним на глазах у Лекси и Сплина. Мия тоже заметила, что Пёрл необычайно тиха, встревожилась, не заболевает ли дочь, и отправила ее спать пораньше, но Пёрл пролежала без сна за полночь, а поутру, выйдя умываться, увидела темные круги под глазами и уверилась, что Трип больше на нее и не взглянет.

Но под конец дня Трип явился к ее шкафчику.

– Чем занимаешься? – спросил он почти застенчиво, а она вспыхнула, прекрасно понимая, о чем он спрашивает.

– Тусуюсь просто, – ответила она. – Со Сплином. – Она повертела диск замка, туда-сюда, и решила, что снова будет храброй. – Или у тебя идея получше?

Трип пальцами провел по синей краске дверцы.

– А мать твоя дома?

Пёрл кивнула:

– И Иззи там же.

Оба про себя перебрали варианты – наедине нигде не остаться. После паузы Трип сказал:

– Я, кажется, знаю место.

Он выудил пейджер из кармана и достал из сумки четвертак. Пейджеры запрещались в школе строго-настрого, отчего ими обзавелись все крутые ребята поголовно.

– Подожди меня у таксофона, ладно?

И бегом он кинулся прочь, а Пёрл собрала книжки и захлопнула шкафчик. Сердце колотилось, будто она маленькая и играет в салки – только непонятно, убегает или догоняет. Она срезала через Эвакуацию и вышла к парадным дверям, где у дверей зала висел таксофон. Трип как раз вешал трубку.

– Кому ты звонил? – спросила Пёрл, и Трип вдруг сконфузился.

– Знаешь Тима Майклза? – сказал он. – Мы в футбол играем с десяти лет. У него родители приходят домой только в восемь, и он иногда водит девчонок в подвал, в комнату отдыха.

Он умолк, и Пёрл поняла.

– А иногда разрешает тебе? – спросила она.

Трип покраснел и шагнул ближе – она почти очутилась в его объятиях.

– Очень давно, – сказал он. – Теперь я хочу туда водить только тебя.

Он пальцем погладил ей ключицу. Вышло так на него непохоже и так пылко, что Пёрл чуть не поцеловала его прямо на месте. Тут у него в руке зажужжал пейджер. Пёрл увидела только цифры, но для Трипа они что-то значили. Школьники, у которых были пейджеры, общались шифром, составляли послания из цифр.

“МОЖНО Я К ТЕБЕ?” – вбил Трип в таксофон, и Тим, переодеваясь в раздевалке перед баскетбольной тренировкой, глянул на жужжащий пейджер и задрал бровь. Он как-то не замечал, чтобы у Трипа завелась новая телка. “ОК КТО ОНА”, – ответил он, но Трип предпочел не отвечать и кинул пейджер в карман.

– Он говорит, нормально. – И Трип подергал Пёрл за ручку сумки. – Ну что?

Пёрл внезапно поняла, что ей плевать, какие девушки приходили туда раньше.

– Ты на машине? – спросила она.

Они уже подошли к задней двери Тима Майклза, и тут Пёрл вспомнила про Сплина. Сплин будет гадать, куда она подевалась, почему не встретилась с ним в естественно-научном крыле, как обычно, не ушла вместе с ним из школы. Он подождет, а потом направится домой, но и там ее не будет. Придется как-то с ним объясняться, подумала Пёрл, и тут Трип достал запасной ключ из-под

коврика, Трип открыл дверь и взял Пёрл за руку, и Пёрл забыла про Сплина и шагнула в дом.

– Мы с тобой встречаемся? – спросила она потом; они лежали на диване в комнате отдыха Тима Майклза. – Или это просто так?

– А ты что, хочешь мою футбольную куртку?

Пёрл засмеялась:

– Нет. – И посерьезнела: – Я хочу понимать, во что ввязываюсь.

И встретила взглядом с глазами Трипа – покойными, и ясными, и темно-кариими.

– Я ни с кем больше встречаться не планирую. Ты об этом?

Она никогда не видела в нем такой искренности.

– Ладно. Я тоже. – После паузы она прибавила: – Сплин психанет. И Лекси. И вообще все.

Трип поразмыслил.

– Ну, – сказал он, – мы не обязаны всем объявлять.

Он наклонил голову, и они боднули друг друга лбами. Совсем скоро, понимала Пёрл, надо будет встать, одеться и опять выйти наружу, в мир, где такая куча других людей.

– Я не против быть тайной, – сказала она и поцеловала его.

* * *

Трип сдержал слово: Тим Майклз упорно его донимал, но Трип отказывался назвать свою новую загадочную пассию, а если прочие друзья спрашивали, куда он деваётся после школы, Трип выдумывал отговорки. И Пёрл тоже никому не говорила. А что тут скажешь? Порой ей хотелось поделиться с Лекси – открыть, что и она теперь принадлежит к эксклюзивному клубу опытных, что они обе теперь в этом клубе состоят. Но Лекси потребует всех интимных подробностей до единой, расскажет Сирина Вон, и через неделю вся школа будет в курсе. Иззи, конечно, гадливо скривится. Сплин... и речи быть не может о том, чтобы рассказать Сплину. Уже некоторое время Пёрл все отчетливее подмечала, что чувства Сплина к ней и качеством, и количеством разнятся с ее ответными чувствами. Месяц назад в толчее кинотеатра – они пошли наконец посмотреть “Титаник”, и в фойе была давка – Сплин потянулся назад, взял Пёрл за руку, чтоб их не

разделило в толпе, и она, хотя и радовалась, что ее на буксире тянут сквозь людскую массу, уловила в его пожатии твердость, собственничество – и все поняла. Не отнимала руки, пока они не пробились к дверям, а затем мягко сделала вид, будто ей занедобился бальзам для губ в сумке. На сеансе – когда Леонардо Ди Каприо рисовал Кейт Уинслет обнаженной и камера наехала на ладонь, протирающую запотевшее стекло, – Пёрл почувствовала, как Сплин напрягся и покосился на нее, и сунула руку в пакет с попкорном, словно экранный трагизм ей прискучил. После кино, когда Сплин предложил зайти в “Арабику” и выпить кофе, Пёрл ответила, что ей пора домой. Наутро в школе все вроде бы вернулось на круги своя, но она знала: что-то переменялось – и держала это знание в себе, как занозу, которую не стоит лишний раз трогать руками.

В общем, она выучилась врать. Раз в несколько дней, когда они с Трипом, повинувшись распорядку Тима Майклза, вместе линяли из школы, Пёрл совала Сплину в шкафчик записку. *Остаюсь после уроков. Увидимся у тебя, 16:30?* Позднее, когда Сплин расспрашивал, у нее всегда была наготове правдоподобно невнятная отмазка. Рисовала афиши для ежегодного благотворительного спагетти-ужина. Обсуждала с учительницей английского свое будущее сочинение. На самом же деле после свиданий Трип высаживал Пёрл в квартале от дома и уезжал; она пешком шла к Ричардсонам, а он отправлялся на хоккейную тренировку, или к другу, или минут пять катался вокруг квартала, а затем приходил домой и сам.

Застукали их всего однажды. Мистер Ян, возвращаясь домой с шоферской смены, на бледно-голубом “сатурне” катил по Парклендрайв и увидел у обочины “джип-чероки”, а внутри двух вжавшихся друг в друга подростков. Когда он проезжал мимо, они наконец разлепились, девушка открыла дверцу, шагнула на тротуар, и он узнал свою юную соседку сверху, дочь Мии, тихую красавицу. Не мое дело, рассудил он, но потом до вечера грезил о своей юности в Гонконге – как он украдкой сбегал в ботанические сады с Бетси Цай в те словно приснившиеся ему предвечерья, что он никогда никому не описывал и уже много лет забывал проживать заново сам. Молодежь всегда и везде одинакова, решил он, и переключил передачу, и покатил дальше.

* * *

После вечеринки на Хэллоуин Лекси и Брайан тоже тайком сбегали при любой возможности – после тренировки, в конце, а порой и в начале свиданий в выходные, а однажды, в экзаменационную неделю, – в середине дня, между экзаменом Лекси по физике и экзаменом Брайана по испанскому.

– Да ты подседа, – насмехалась над ней Сирина. К великой досаде Лекси, когда им с Брайаном особенно хотелось остаться наедине, в доме Ричардсонов вечно кто-нибудь торчал. Но отец Брайана мотался по вызовам, мать работала допоздна, и дом Эйвери зачастую пустовал, а в крайнем случае можно было обойтись и машиной Лекси – припарковаться на безлюдной стоянке и перелезть на заднее сиденье под старое лоскутное одеяло, которое Лекси теперь возила с собой ровно для этой цели.

Мир виделся Лекси почти совершенным, и в фантазиях ей являлась нынешняя жизнь, только все цвета насыщеннее. После свиданий, когда они с Брайаном неохотно отрывались друг от друга и расходились по домам, она сворачивалась калачиком в постели, воображая его тепло и рисуя себе их совместное будущее. Наступит рай, думала она, – засыпать в его объятиях, просыпаться подле него. Ничего приятнее и не придумаешь – одна мысль об этом наполняла ее теплым, почти посткоитальным сиянием. Конечно, у них будет домик. Двор на задах, где она станет загорать; баскетбольное кольцо над дверью гаража для Брайана. У нее на туалетном столике будет сирень, а на кровати – полосатые льняные простыни. Деньги, аренда, работа – все это Лекси не тревожило; она не думала о таких вещах в реальности, поэтому в фантазийной жизни они тоже не всплывали. А в один прекрасный день – тут фантазия вихрилась и искрилась фейерверками в ночном небе – родится ребенок. Он будет в точности как на фотографии годовалого Брайана, которую его мать держала на каминной полке: курчавый, щекастый, карие глаза так огромны и нежны, что смотришь в них – и словно таешь. Брайан будет подбрасывать ребенка на бедре, подкидывать в воздух. Они станут ходить на пикники в парк, ребенок будет кататься по траве и смеяться, потому что травинки щекочут ему пятки. По ночам они будут

засыпать, положив между собой ребенка – теплый мягкий комочек, пахнувший молоком.

В Шейкер-Хайтс все школьники проходили курсы сексуального воспитания, и не единожды, а пять раз: в пятом и шестом классе – школьный совет считал это “ранним вмешательством”; в “опасные годы”, в седьмом и восьмом; а затем еще раз в десятом, на бис – тогда курс дополнялся основами здорового питания, дискуссиями о самооценке и профориентацией. Но Лекси и Брайан были все-таки подростки – плохо прикидывали шансы, а оценивали риски еще хуже. Они были молоды и верили, что любят друг друга. Их ослепляло и ошеломляло видение будущего, которое они собирались друг с другом делить, – будущего, которого Лекси порой жаждала так сильно, что в раздумьях о нем не спала ночами. А потому не раз получалось так, что Лекси совала руку в сумочку, презервативов не находила, но это их не останавливало.

– Все будет нормально, – шептала она Брайану. – Давай просто...

Так и вышло, что в первых числах марта Лекси стояла в аптеке и разглядывала полку с тестами на беременность.

Она взяла с нижней полки упаковку с двумя тестами и, спрятав под сумочку, понесла к кассе. Кассирша была молода, лет тридцати или тридцати пяти, но вокруг рта у нее собрались морщинки, будто ей вечно было кисло. “Пожалуйста, ни о чем не спрашивайте, – про себя взмолилась Лекси. – Сделайте вид, будто не видите, что я покупаю, пожалуйста”.

– Я помню, как узнала, что беременна первым, – вдруг сказала кассирша. – Взяла тест на работу. Так нервничала, что меня стошнило. – Она сложила тесты в пластиковый пакет и протянула Лекси: – Удачи, милая.

В это мгновение нежданной доброты Лекси чуть не расплакалась – то ли от стыда, что замечена, то ли от страха, что тест покажет такой же результат, – схватила пакет и сбежала, даже не попрощавшись.

Дома она заперлась в ванной и открыла коробку. Инструкция – проще некуда. Одна полоска – нет, две полоски – да. Как Волшебный Бильярдный Шар, подумала она, только последствия гораздо грандиознее. Она положила влажную палочку на столешницу и

склонилась ближе. Она уже видела, как проступают полосы. Две, ярко-розовые.

В дверь ванной постучали.

– Секунду! – крикнула Лекси.

Потом торопливо обмотала тест туалетной бумагой, истратив почти полрулона, и сунула на самое дно мусорной корзины. Спустила воду, и вымыла руки, и наконец вышла; под дверью все еще торчала Иззи.

– На свое отражение любишься? – Иззи заглянула сестре за спину, будто подозревала, что в ванной кто-то прячется.

– Среди нас есть такие, – парировала Лекси, – кто предпочитает потратить лишнюю минуту и причесаться. Рекомендую попробовать.

Она прошествовала мимо Иззи к себе, где, едва закрыв дверь, спряталась в постели и задумалась, что теперь делать.

* * *

Совсем недолго Лекси верила – искренне верила, – что ребенка можно оставить. Они что-нибудь придумают. Они всё устроят – прежде ей всегда всё устраивали. Рожать ей – она подсчитала на пальцах – в ноябре. Может, удастся отложить Йель на семестр и начать позже. Или она поучится в колледже, а ребенок поживет с ее родителями. Она, конечно, будет приезжать к нему на каникулах. Или, может, – это была самая прекрасная мечта, – может, Брайан переведется в Йель или она в Принстон. Они снимут домик. Может, поженятся. Она прижала ладонь к животу – по-прежнему замечательно плоскому – и вообразила, как глубоко-глубоко внутри пульсирует и делится одинокая клетка, как в видео на биологии. В животе у нее теплилась крупца Брайана, его искра – вертелась и вертелась, преображалась внутри. Драгоценная мысль. Как обещание, как подарок, который Лекси показали и убрали на верхнюю полку в кладовке на потом. Она же все равно его получит – зачем ждать?

Беседу она осмотрительно начала с Мирабелл – Лекси и так месяцами о ней говорила.

– Ты не представляешь, какие у нее крошечные пальчики, Брай, – сказала она. – Крохотулечные ноготки. Прямо куколка, это что-то

невероятное. А когда ее обнимаешь, она вся к тебе прикипает.

Затем Лекси, пользуясь журналом “Пипл”, перешла к другим недавно попавшимся на глаза младенцам. Головой опираясь на плечо Брайана, как на подушку, она ранжировала их по симпатичности и иногда спрашивала его мнения.

– А знаешь, у кого будут самые прелестные дети? – сказала она. Сердце у нее загрохотало. – У нас. Вот у кого. У нас будут просто очаровашки. Ты как думаешь? Полукровки всегда такие красавцы. Может, потому, что у нас такие разные гены. – Она полистала журнал. – Господи, даже у Майкла Джексона ребенок лапочка. А *сам он* – ходячий кошмар. Вот каково могущество полукровок.

Брайан загнул уголок страницы в книжке.

– Майкл Джексон едва ли черный. Ты уж мне поверь. И ребенок у него совсем белый.

Прижавшись теснее, Лекси подтолкнула к Брайану журнальный разворот. На фотографии Майкл Джексон развалился на золотом троне с младенцем на руках.

– Но ты посмотри, какой миленький. – Она помолчала. – А ты как бы не хочешь, чтоб у нас прямо сейчас тоже был?

Брайан сел так резко, что Лекси чуть не упала.

– Да ты совсем поехала, – сказал он. – Ты что несешь-то? – И потряс головой. – Не говори такой херни больше никогда.

– Я просто *вообразила*, Брай. Господи боже. – У Лекси перехватило горло.

– Ты воображаешь ребенка. Я воображаю, как Клифф и Клэр меня убьют. Им даже трогать меня не придется. Просто посмотрят – и все, я мертвец. Мгновенно. Мгновенная смерть. – Брайан пригладил волосы. – Знаешь, что они скажут? *Мы тебя не так воспитывали*.

– Ты считаешь, это прямо ужас? Что мы вместе и у нас ребенок? – Лекси ногтями мяла край журнала. – Ты же вроде хотел, чтоб мы были вместе навсегда.

– Я хочу. Наверное. Лекс, нам восемнадцать. Знаешь, что люди скажут? Все скажут: о, гляньте, опять черный пацан обрюхатил девчонку, а сам даже школу еще не закончил. Опять малолетние родители. Небось теперь бросит учебу. Вот что все скажут. – Брайан захлопнул книжку и кинул на стол. – Я этим пацаном не буду ни за что. Ни. За. Что.

– Ладно. – Лекси закрыла глаза и понадеялась, что Брайан ничего не заметит. – Я же не говорю: давай немедленно рожать. Я просто *воображаю*. Представляю будущее, вот и все.

Признать это нелегко, но Брайан был прав. В Шейкер-Хайтс старшеклассники не рожали. Они брали углубленные курсы по предметам; они поступали в колледж. В восьмом классе все говорили, что Кэрри Уилсон забеременела: все знали, что ее парню семнадцать и он бросил Кливленд-Хайтс, а Тиана Джоунз, лучшая подруга Кэрри, несколькими людям подтвердила, что да, так оно и есть. Кэрри несколько недель ходила вся из себя самодовольная и загадочная, ладонью растирала живот, а потом завуч мистер Эйвенгард собрал класс и толкнул речь.

– Насколько я понимаю, по школе ходят слухи, – молвил он, глазами буравя толпу. Такие юные лица, думал завуч: брекеты, прыщи, ретейнеры, первая поросль на подбородках. *Дети*, размышлял он, *они думают, это шуточки*. – Никто не беременел, – возвестил он. – Я знаю, что на такое, дамы и господа, вам всем не хватит безответственности.

И впрямь, недели шли, а живот у Кэрри Уилсон оставался плоским, и в конце концов эту историю забыли. В Шейкер-Хайтс подростки не беременели или превосходно это скрывали. Ибо что скажут люди? *Шлюха* – вот что скажут ребята в школе. *Давалка*, хотя Лекси с Брайаном по восемнадцать, по закону они взрослые и давным-давно вместе. Соседи? Пожалуй, смолчат, когда она прошагает мимо с раздутым животом или с коляской, но примутся судачить, едва она зайдет в дом. Мать умрет со стыда. Грядет позор, и грядет жалость, и Лекси понимала, что не способна вынести ни то ни другое.

Значит, выход один. Она свернулась клубочком на постели – ей казалось, она маленькая, и розовая, и нежная, как коктейльная креветка, – и отпустила от себя свои фантазии, и они воздушным шариком воспаряли в небо, пока не лопнули.

* * *

В тот вечер за ужином миссис Ричардсон объявила, что едет в Питтсбург.

– Кое-что изучить, – сказала она семейству. – Статью о речной дрейссене в озере Эри – сами знаете, в Питтсбурге тоже проблемы с инвазивными видами.

Она очень старательно сочиняла правдоподобный предлог и после продолжительных размышлений выдумала тему, к которой ни у кого не возникнет вопросов. Как она и предполагала, никто особо не вникал – кроме Лекси: та на миг прикрыла глаза и безмолвно возблагодарила божество, которое это подстроило. Наутро Лекси сделала вид, будто опаздывает, а когда все ушли, удостоверилась, что дом пуст, и набрала номер местной клиники, найденный накануне вечером.

– Одиннадцатого, – сказала она. – Мне обязательно надо одиннадцатого.

Накануне материнского отъезда в Питтсбург Лекси позвонила Пёрл.

– Сделай одолжение, – сказала она, понизив голос до полусшепота, хотя по этой линии звонили только она и Трип, а Трипа дома не было.

Пёрл, не забывшая о хэллоуинской вечеринке, вздохнула.

– Какое, – сказала она.

И про себя перебрала все, что Лекси – вот именно Лекси – может от нее захотеть. Шаблонные версии не подходили. Одолжить топ? Губную помаду? У Пёрл не было ничего такого, что может понадобиться Лекси Ричардсон. Спросить совета? Лекси никогда ни у кого не спрашивала совета. Лекси сама раздавала советы, даже если никто не просил.

– Сходи со мной завтра в клинику, – сказала Лекси. – Я делаю аборт.

Повисла долгая пауза – Пёрл с трудом переваривала эти сведения. Лекси беременна? Внутри полыхнула эгоистическая паника – Пёрл и Трип как раз сегодня навещали дом Тима Майклза. Они были осторожны? А в прошлый раз? Пёрл постаралась связать слова Лекси с той Лекси, которую Пёрл знала. Лекси хочет делать аборт? Помешанная на младенцах Лекси, всех и вся готовая судить Лекси, Лекси, которая не прощала *ошибки* Биби?

– Почему ты не просишь Сирину? – в конце концов произнесла Пёрл.

Лекси помолчала.

– Я не хочу с Сириной, – сказала она. – Я хочу с тобой. – И вздохнула. – Я не знаю. Я подумала, ты лучше поймешь. Я подумала,

ты не осудишь.

Невзирая ни на что, в Пёрл вспыхнула гордость.

– Я не осуждаю.

– Слушай, – сказала Лекси. – Ты мне нужна. Ты сможешь или нет?

В семь тридцать утра Лекси подъехала к дому на Уинслоу. Пёрл сдержала слово и ждала на тротуаре. Матери она сказала, что Лекси подвезет ее в школу.

– Ты уверена? – спросила Пёрл.

Она всю ночь раздумывала, как поступила бы на месте Лекси, и всякий раз жаркая паника окатывала ее с макушки до пяток. Эта паника не отпустит ее до следующей недели, когда заболит низ живота и Пёрл вздохнет с облегчением.

Лекси не отвела взгляда от ветрового стекла.

– Я уверена.

– Это же серьезное решение, знаешь. – Пёрл искала сравнение, которое Лекси наверняка поймет. – Его нельзя отменить. Это не как свитер покупать.

– Я знаю.

Лекси притормозила на светофоре, и Пёрл разглядела темные круги у нее под глазами. На памяти Пёрл Лекси еще не бывала такая усталая и такая серьезная.

– Ты же никому не рассказывала? – спросила та, когда машина снова тронулась.

– Конечно нет.

– Даже Сплину?

Пёрл вспомнила, как соврала Сплину вечером – мол, она не пойдет в школу с ним, потому что ей с утра к стоматологу. Сплин вроде бы ничего не заподозрил; ему и в голову не приходило, что Пёрл может соврать. Это хорошо, но слегка обидно: он с такой легкостью верил ей снова и снова, даже не допускал, что она способна на неправду.

– Я ему ничего не говорила, – ответила Пёрл.

Клиника оказалась скромным бежевым домиком – чистые блистающие окна, цветущие кусты у входа, стоянка. Можно подумать, сюда ходят проверить зрение, поговорить со страховым агентом,

подать налоговую декларацию. Лекси поставила машину с краю и протянула Пёрл ключи.

– Держи, – сказала она. – Обрати вести придется тебе. У тебя же временные права с собой?

Пёрл кивнула и не стала напоминать, что, говоря строго, с временными правами ей можно водить только в присутствии взрослого – старше двадцати одного года – обладателя нормальных прав. Пальцы Лекси, сжимавшие ключи, были белы и холодны, и Пёрл, вдруг поддавшись порыву, взяла ее за руку.

– Все будет хорошо, – сказала она, и они вместе зашагали в клинику, где двери разъехались, словно только их и ждали.

За стойкой сидела дородная медноволосая медсестра, которая посмотрела на двух девчонок с доброжелательным сочувствием. Она такое видит, наверное, каждый день, подумала Пёрл, – девушек в ужасе от того, что сейчас будет, в ужасе от того, что будет, если сейчас не сделать ничего.

– Тебе назначено, деточка? – спросила медсестра. И перевела любезный взгляд с Пёрл на Лекси.

– Да, – сказала Лекси. – На восемь.

Женщина постучала по клавишам.

– Имя?

Тихо, будто стыдясь, будто это и впрямь ее имя, Лекси ответила:

– Пёрл Уоррен.

У Пёрл едва не отвисла челюсть. Лекси старательно избегала ее взгляда, а медсестра тем временем смотрела в экран.

– Тебя кто-нибудь отвезет домой?

– Да, – сказала Лекси. И наклонила голову в сторону Пёрл, по-прежнему не глядя ей в глаза. – Сестра. Она меня отвезет.

Сестры, подумала Пёрл. Мы вообще друг на друга не похожи. Никто ни в жизнь не поверит, что Пёрл – маленькая, кудрявая – родственница гибкой, гладкой Лекси. Все равно что сказать, будто шотландский терьер и борзая – щенки из одного помета. Женщина мельком на них глянула. И то ли пришла к выводу, что это похоже на правду, то ли решила притвориться.

– Садись, заполни, – сказала она, протянув Лекси планшет с розовыми анкетами. – Тебя скоро позовут.

Когда они отошли подальше от стойки и сели в самые дальние кресла, Пёрл склонилась к Лекси поверх планшета.

– У меня нет *слов*. Ты зачем назвалась *мною*? – прошипела она.

Лекси сползла по креслу.

– Запаниковала, – ответила она. – Я позвонила, а они спросили, как меня зовут, и я вспомнила, что мама знакома с директором клиники. И, понимаешь... папа в новостях с этим делом Маккалла. Я не хотела, чтоб меня узнали. Сказала первое имя, какое в голову пришло. Так получилось, что твое.

Пёрл это не утихомирило.

– А теперь все будут думать, что забеременела я.

– Это же просто имя, – ответила Лекси. – Проблемы-то у меня. Даже если они не знают, как меня зовут. – Она вдохнула поглубже, но как будто сдулась еще больше. Даже ее волосы, заметила Пёрл, обвисли и падали на лицо, заслоняя глаза. – А ты... ты можешь быть кем угодно.

– Да блин. – Пёрл забрала у Лекси планшет. – Дай сюда. – И принялась заполнять анкеты, для начала вписав свое имя. *Пёрл Уоррен*.

Она уже почти закончила, и тут дверь в дальней стене отворилась и вышла медсестра в белом.

– Пёрл? – сказала она, глянув на папку в руках. – Мы тебя ждем.

В графе “Контактное лицо в экстренном случае” Пёрл нацарапала имя своей матери и свой домашний телефон.

– На, – сказала она, сунув планшет Лекси. – Готово.

Та поднялась медленно, как во сне. Мгновенье они так и стояли, обе держали планшет, и Пёрл чувствовала, как сердце Лекси грохочет в кончиках пальцев и передается деревяшке.

– Удачи, – тихонько сказала Пёрл.

Лекси кивнула и забрала планшет, но в дверях остановилась и глянула через плечо, точно проверяла, не исчезла ли Пёрл. Взгляд ее говорил: *Умоляю. Умоляю тебя, я сама не знаю, что делаю. Умоляю, будь здесь, когда я вернусь*. Пёрл подавила порыв кинуться следом, взять Лекси за руку, пройти с ней по коридору, будто они и вправду сестры, девочки, что поддерживают друг друга в таких вот испытаниях, девочки, что годы спустя будут держать друг друга за руки при родах. Девочки, что не смущаются наготой и болью друг друга; девочки, которым особо нечего друг от друга скрывать.

– Удачи, – повторила Пёрл громче, а Лекси снова кивнула и следом за медсестрой скрылась за дверью.

* * *

Миссис Ричардсон, пока ее дочь переодевалась в больничную рубашку, звонила в дверь к мистеру и миссис Райт. Одним трехчасовым рывком она одолела дорогу до Питтсбурга, ни разу даже не остановившись, чтобы зайти в туалет или размять ноги. “Я что, правда взяла и сюда поехала?” – спрашивала она себя. Пока неясно, что она скажет этим Райтам и что надеется почерпнуть от них. Ясно, однако, что тут кроется некая тайна, и равно ясно, что ключ к ней – у Райтов. Миссис Ричардсон и прежде несколько раз отправлялась в путь ради статьи: в Коламбус, расследовать урезание бюджета штата; в Анн-Арбор, когда бывший школьник из Шейкер-Хайтс сыграл квотербеком в матче Мичиган против Университета штата Огайо. Тут ровно то же самое, говорила она себе. Имею полное право. Надо все выяснить – и выяснить лично.

Если бы миссис Ричардсон и сомневалась, угадала ли семью, сомнения развеялись бы, едва открылась дверь. Миссис Райт и Мия – одно лицо; у матери волосы посветлее и стрижены коротко, но глаза и черты похожи – миссис Ричардсон увидела, какой Мия станет через тридцать лет.

– Миссис Райт? – начала она. – Меня зовут Элена Ричардсон. Я репортер из кливлендской газеты.

Миссис Райт недоверчиво сощурилась:

– И?

– Я пишу статью о многообещающих молодых спортсменах, чья карьера преждевременно оборвалась. Я хотела бы поговорить о вашем сыне.

– Об Уоррене? – Удивление и подозрение вспыхнули в лице миссис Райт, и миссис Ричардсон понаблюдала, как две эмоции сражаются за господство. – Как так?

– Я изучала тему и наткнулась на его имя, – осторожно ответила миссис Ричардсон. – В нескольких материалах говорилось, что он подавал большие надежды, такого хавбека среди подростков не

встречалось десятилетиями. Что у него был шанс играть профессионально.

– На его матчи приходили агенты, – сказала миссис Райт. – Превозносили его до небес, когда он умер. – Повисла долгая тишина, а затем миссис Райт подняла голову – подозрительность рассеялась, сменилась поблекшей гордостью. – Ну что ж, заходите, наверное.

Это начало миссис Ричардсон спланировала; дальше пускай инстинкты выведут разговор, куда нужно. Порой добиваться от собеседников информации, за многие годы уяснила миссис Ричардсон, – все равно что выгуливать крупную ленивую корову: направляешь корову на верный путь, внушая ей, будто рулит она сама. Но с четой Райт оказалось на редкость легко. За кружками кофе и блюдом печенья “Пепперидж фарм” обоим просто-таки не терпелось поговорить об Уоррене.

– Я хочу, чтобы память о нем не умерла, вот и все, – сказала миссис Ричардсон, и, едва начала задавать вопросы, информация хлынула потоком – только успевай записывать.

Да, Уоррен начал играть хавбеком, да, еще он был форвардом в хоккейной команде. Начал с юниорами лет в семь или восемь; миссис Ричардсон не желает посмотреть фотографии? К спорту у него был дар, родители его не тренировали; нет, мистер Райт не очень-то спортивный. Скорее болельщик, он бы сказал, чем игрок. Но Уоррен не такой – у Уоррена был талант; тренер говорил, если Уоррен будет хорошо тренироваться, может, попадет в школу Первого дивизиона. Если бы не этот несчастный случай...

Тут мистер и миссис Райт разом умолкли, а миссис Ричардсон, хоть и жаждала узнать, что было дальше, искренне их пожалела. Перевела взгляд на снимок Уоррена Райта в футбольной форме, который миссис Райт сняла с каминной полки. Уоррену тогда было, пожалуй, лет семнадцать – сверстник Трипа. Они не очень-то похожи, но в позе, и в наклоне головы, и в лукавой тени усмешки в уголках губ миссис Ричардсон разглядела намек на сына.

– Девчонки по нему сохли, – пробормотала она, и миссис Райт кивнула. – У меня тоже дети, – неожиданно для себя сообщила миссис Ричардсон. – И сын тех же лет. Я вам ужасно соболезную.

– Спасибо вам.

Миссис Райт напоследок одарила фотографию долгим взглядом и поставила обратно на полку, аккуратно развернула, смахнула пылинку со стекла. Эта женщина, подумала миссис Ричардсон, столько вынесла. Хотелось закрыть блокнот, надеть колпачок на ручку и поблагодарить ее за то, что уделила время. Но миссис Ричардсон не уходила – она помнила, зачем приехала. Если бы *моя* дочь, сказала она себе, сбежала и врала о том, кто она такая, если бы *моя* дочь баламутила и причиняла горе людям, исполненным благих намерений... короче, я бы никого не упрекнула за расспросы. Миссис Ричардсон вдохнула поглубже.

– Я еще надеялась поговорить с сестрой Уоррена, – сказала она и сделала вид, будто сверяется с записями. – С Мией. Вы не подскажете ее нынешний телефон?

Мистер и миссис Райт конфузливо переглянулись – миссис Ричардсон это предвидела.

– Боюсь, мы с дочерью уже давненько не общались, – сказала миссис Райт.

– Ох батюшки, извините. – Миссис Ричардсон перевела взгляд с одного родителя на другого. – Надеюсь, я не нарушила никаких табу.

И подождала, потянула неловкую паузу. Никто, знала она по опыту, подобных пауз не выдерживает долго. Если подождать терпеливо, кто-нибудь заговорит и зачастую даст тебе шанс еще поднажать, взломать беседу и добыть то, за чем пришла.

– Не то чтобы, – помолчав, сказал мистер Райт. – Но в последний раз мы разговаривали вскоре после смерти Уоррена.

– Это очень грустно, – сказала миссис Ричардсон. – Такое нередко случается – кто-нибудь из родных очень тяжело переживает утрату. И обрывает все связи с семьей.

– Мия – одно дело, Уоррен – совсем другое, – вмешалась миссис Райт. – С Уорреном был несчастный случай. Подростки сдурили. Или, может, просто снег. Мия... ну, с ней другая история. Мия была взрослая. Она сделала выбор. Мы с Джорджем... – И глаза миссис Райт наполнились слезами.

– Мы не очень-то по-дружески расстались, – пояснил мистер Райт.

– Это ужасно. – Миссис Ричардсон подалась к ним. – Вам, наверное, так тяжело. Потеряли обоих детей разом, можно сказать.

– Она не оставила нам выбора, – выпалила миссис Райт. – Явилась в таком состоянии.

– Реджина, – предостерег ее мистер Райт, но его жена не умолкала.

– Я ей говорила: мне все равно, хоть эти Райаны какие угодно распрекрасные, – я против. Я считаю, нельзя продавать собственного ребенка.

Карандаш миссис Ричардсон замер в воздухе.

– Что, простите?

Миссис Райт покачала головой:

– Она думала, отдаст ребенка и будет жить себе дальше. Как ни в чем не бывало. Я, между прочим, двоих родила. Я-то понимала все. Даже и до того, как мы потеряли Уоррена. – Она пальцами стиснула переносицу, точно отметину там стирала. – Этого не пережить – попрощаться с ребенком. Что бы ни было. Это же твоя плоть и кровь.

Голова у миссис Ричардсон шла кругом. Она отложила карандаш.

– Погодите, я правильно поняла? – переспросила она. – Мия забеременела и собиралась отдать ребенка этой паре... этим Райанам?

Мистер и миссис Райт снова переглянулись, но на сей раз их глаза говорили: назвался груздем. Опытный взгляд миссис Ричардсон различил ясно: они хотят об этом поговорить, они, пожалуй, давно ждут того, с кем можно об этом поговорить.

– Не совсем, – сказал мистер Райт. Долгая пауза. И затем: – Это был и их ребенок. Они не могли родить сами. Она вынашивала ребенка за них.

Осенью 1980 года Мия Райт, которой едва минуло восемнадцать, уехала из желтого домика в Бетел-Парке в Нью-Йоркскую школу изящных искусств. Прежде Мия никогда не выезжала из Пенсильвании и сейчас покинула дом с двумя чемоданами, с напутствием любящего брата и без родительского благословения.

Она не говорила родителям, что подала документы в художественную школу, пока не пришло письмо о том, что ее приняли. Довольно-таки ожидаемо – не должно было удивить. В детстве Мию завораживали вещи, которых, к ее недоумению, никто, похоже, не замечал.

– Ты вечно в облаках витала, – говорила ее мать. – Сидела в коляске и тарасилась на газон. Сидела в ванне и воду переливала из чашки в чашку – час кряду, если я тебя не трогала.

А Мия помнила, как наблюдала за травинками на ветру – как они гнулись, меняя цвет от темного к светлому, точно бархат, если его погладить; как струя воды разлеталась каплями на ободке чашки. Все на свете, замечала она, способно к метаморфозам. Даже два валуна в заднем дворе порой серебрились на раннем утреннем солнце. В книжках, которые она читала, любая река могла обернуться речным богом, любое дерево – переодетой дриадой, любая старуха – могущественной феей, любой камешек – зачарованной душой. Всё умеет преобразаться, и в этом Мия видела подлинный смысл искусства.

Эти сокровенные слои, которые она повсюду различала, постигал лишь ее брат Уоррен, – впрочем, эти двое всегда друг друга понимали, с тех самых пор, когда он еще даже не родился.

– Мой детка, – говорила Мия каждому встречному, стуча по материнскому животу, и Уоррен в ответ непременно брыкался. – Мой детка. Внутри, – сообщала Мия незнакомцам в продуктовом и тыкала пальцем.

Когда Уоррена привезли из родильного отделения, Мия тотчас его присвоила.

– Мой Ворон, – называла она его, и не только потому, что “Уоррен” произнести сложнее, – имя ему шло. Даже в те первые дни

он походил на бдительного птенца – голова набок, два невероятно умных и сфокусированных глаза обшаривают комнату в поисках Мии. Когда он плакал, она знала, какая игрушка его успокоит. Когда не мог заснуть, Мия ложилась рядом посреди родительской постели, синельным гнездом навалив вокруг одеяла, пела ему песни и гладила по щеке, пока не задремлет. Когда Уоррен падал, перекувыркнувшись на рукоходе, он бежал в слезах к Мие, и Мия мазала йодом и залепляла ссадину у него на виске.

– Можно подумать, он ее сын, – как-то раз сказала мать, то ли сетуя, то ли восхищаясь.

У них для всего были имена, аргю неведомого происхождения: по причинам, которые позабыли даже они сами, масло они называли *сыр*; граклов в древесных кронах – *ледышки*. Они обводили себя магическим кругом, занавешивались им, точно пологом.

– Не говори никому из Франции, – начинала Мия и затем шептала секрет, а Уоррен неизменно отвечал:

– Из меня не вытянут тайну даже дикие жирафы. А затем в одиннадцать – почти двенадцать – Мия обнаружила, что в этом мире есть фотография.

Уоррену едва исполнилось десять, и он сам открыл не только спорт, но и свой к нему талант. Бейсбол летом, американский футбол осенью, хоккей зимой, баскетбол в промежутках. Уоррен и Мия по-прежнему тесно дружили, но случались и долгие дни на баскетбольной площадке в парке, и долгие часы за отработкой пасов и бросков из-под кольца. Вполне естественно, что и Мия отыскала свою страсть.

В городе, в углу витрины старьевщика, она наткнулась на старый “Брауни Старфлекс”. У камеры не было вспышки и шейного ремешка, но старьевщик уверял, что фотоаппарат работает, и Мия, откинув серебристую крышку и увидев, как лавка расплывчатой миниатюрой отражается в линзах, захотела эту вещь отчаянно. Выгребла деньги из кошки-копилки, куда складывала карманные, и стала таскать с собой камеру повсюду. На совет из инструкции – напишите, мол, в компанию “Кодак”, закажите полезную книжку “Как снимать хорошие фотографии” – она плюнула и действовала на чистом инстинкте. Носила камеру на двух связанных вместе старых шелковых платках матери, снимала – и, на взгляд родителей, фотографии были странные:

ветхие дома, проржавевшие автомобили, вещи, выброшенные на обочину.

– Непонятно, зачем снимать такое, – сказал служащий “Фотомата”, отдавая Мие конверт с отпечатками. В той серии было три картинки, снимавшихся день за днем, – птичий трупик на тротуаре; может, у нее не все дома, уже не впервые мелькнуло у служащего в голове.

Для Мии, однако, фотографии стояли на дальних подступах к тому, что ей хотелось выразить, и вскоре она уже не только видоизменяла отпечатки – чем угодно, от шариковой ручки до крупиц стирального порошка, – но экспериментировала с самим фотоаппаратом, подчиняя его ограниченные таланты своим желанием. “Старфлекс”, как все “Брауни”, менять фокус не умел. Затвор взводился автоматически, чтобы избежать двойной экспозиции, – в инструкции это рекламировалось как удобство для любителя. Делаешь только то, что сделать можно: смотришь в видоискатель, спускаешь затвор. Вместо того чтобы носить камеру на груди, по инструкции, Мия вертела ее так и эдак, перевязывала самодельный ремешок выше и ниже. Закутывала объектив в шелковые платки и вощеную бумагу, снимала в тумане, под ливнем, в задымленном кегельбане.

– Пустая трата денег, – фыркала мать, когда Мия притаскивала домой очередной конверт размытых зернистых снимков.

Но с каждой пленкой Мия все лучше понимала, как получается фотография, на что она способна и неспособна, до каких пределов ее можно растянуть и выкрутить. Сама того не ведая, Мия готовилась быть фотографом, которым однажды станет. В пленке всего двенадцать кадров – Мия научилась тщательно продумывать композиции. А поскольку управлению камера не поддается – ни диафрагму не выставить, ни фокусное расстояние, – она творчески манипулировала и фотоаппаратом, и натурой.

Тут, по счастью, вмешался сосед мистер Уилкинсон. Жил он выше по холму и уже некоторое время наблюдал, как Мия со своим “Брауни” околачивается в окрестностях, щелкая то и это. Про мистера Уилкинсона Мия и Уоррен знали одно: он работал игрушечным товароведом и вечно разъезжал по выставкам игрушек, изучал товар, слал отчеты в центральную контору – рекомендовал, какие игрушки закупать. Раз в несколько месяцев миссис Уилкинсон созывала

соседских детей и раздавала образцы, которые собрал мистер Уилкинсон. Замечательные были игрушки: набор формочек – наполняешь их гипсом, и получаются рождественские украшения; мяч в форме Сатурна, на котором можно скакать, как на пружинных ходулях; голова гигантской куклы с золотыми волосами, чтоб делать ей прически; коробка парфюмов, чтоб их смешивать, и флакончики с мизинец, чтоб хранить в них свои коктейли.

– Отдайте мне мой подвал, – смеялась миссис Уилкинсон и следила, чтобы каждому досталось по игрушке – ну хотя бы йо-йо.

Сын Уилкинсонов уже вырос, жил где-то в Мэриленде, и игрушки ему были уже без надобности.

Очень долго Мия так и представляла себе мистера Уилкинсона – загадочный гибрид Марко Поло с Санта-Клаусом, набивает дом сокровищами. Но как-то днем – Мие недавно исполнилось тринадцать – мистер Уилкинсон строго окликнул ее с крыльца.

– Я уже год смотрю, как ты тут слоняешься, – сказал он. – Ну-ка, показывай, что наснимала.

Мия в ужасе собрала пачку фотографий и на следующее утро принесла к Уилкинсонам. Прежде она не показывала снимки никому, кроме Уоррена, а Уоррен-то, конечно, охал и ахал. Но мистер Уилкинсон – взрослый человек, едва знакомый. Ему незачем быть великодушным.

Мия позвонила в дверь, и миссис Уилкинсон провела ее в кабинет, где мистер Уилкинсон сидел за большим столом и печатал на кремовой пишущей машинке. Едва Мия вошла, он развернулся в кресле и закинул полку с пишмашинкой вниз и под стол, где она аккуратно свернулась в ящичек, будто стол ее проглотил.

– Ну-с, – сказал мистер Уилкинсон. Он расправил висевшие на шее очки-полумесяцы, нацепил на нос, и коленки у Мии затряслись. – Посмотрим.

Мистер Уилкинсон, как выяснилось, и сам был фотограф – только он предпочитал пейзажи.

– Людей снимать не люблю, – сказал он Мие. – Дерево – пожалуйста, человека – спасибо, не надо.

Уезжая в командировки, он брал фотоаппарат и всегда планировал полдня на экскурсии. Достал пачку снимков из папки: секвойный лес на рассвете, река петляет по росистому полю, озеро отражает солнце

блистающим треугольником, что указывает на далекие леса. И все фотографии на стенах в коридоре, сообразила Мия, тоже его.

– У тебя хороший глаз, – в конце концов сказал мистер Уилкинсон. – Хороший глаз и развитые инстинкты. Вот, посмотри сюда. – Он пальцем постучал по верхней фотографии в пачке – Уоррен сидит на низкой ветви клена, спиной к камере, силуэтом на фоне неба. – Отличный снимок. Ты почему так кадрировала?

– Не знаю, – ответила Мия. – Мне показалось, так будет хорошо.

Мистер Уилкинсон сощурился на следующий снимок.

– Вот этого и держись. Доверяй своим глазам. Они прекрасно видят. – Он взял другую фотографию. – Но вот смотри. Ты же белку хотела, да?

Мия кивнула. Белка бежала по гребню забора, и Мию заворожила волнистая дуга тела и хвоста, которую рисовало на бегу беличье тельце. Будто мячик прыгает, думала Мия, спуская затвор. А фотография размазалась – фокус на заборе, не на белке, сама белка – размытое пятно. Интересно, как мистер Уилкинсон догадался.

– Я так и думал. Тебе нужен фотоаппарат получше. Этот хорош для начала или для именин и Рождества. Не для тебя. – Он залез в кладовку, порылся в глубине, старые пальто и мешковатые платья заглушали его голос. – Тебе... тебе надо снимать по правде. – Вернувшись, он протянул ей компактную коробочку: – Тебе нужна настоящая камера, а не игрушка.

“Никон-Ф”, маленький, серебристо-черный, тяжелый и плотный. Мия пальцами провела по шершавому футляру.

– Я же не могу это взять.

– А я не отдаю – я одалживаю. Тебе надо или нет? – Не дожидаясь ответа, мистер Уилкинсон открыл ящик стола. – Я им больше не пользуюсь. Пусть хоть кому-нибудь пригодится. – Он достал черную кассету с пленкой и кинул Мие. – Кроме того, – прибавил он, – мне ужасно интересно, что ты из него выжмешь.

Уходя в тот день домой, Мия уже умела наматывать пленку на приемную катушку, фокусировать камеру, настраивать объектив. В голове вихрились новые манящие слова: *число диафрагмы, апертура*. Снова и снова Мия подносила камеру к глазу и заглядывала в видоискатель. Под тоненьким перекрестьем в центре весь мир менялся.

Мистер Уилкинсон научил ее доставать пленку из кассеты и проявлять, и Мия полюбила едкость проявителя; научил следить за эмульсией – понимать, когда готово. Как пилот, который уводит самолет в штопор, чтобы поупражняться из штопора выходить, Мия нарочно фотографировала в расфокусе, с неправильной выдержкой или неподходящим значением светочувствительности – хотела посмотреть, что будет. Научилась управлять светом и камерой, добиваясь желаемого эффекта, – так музыкант осваивает тонкости инструмента.

– Но как мне?.. – спрашивала она, рассматривая отпечаток на бумаге и сравнивая его с образом у себя в голове.

Поначалу мистер Уилкинсон знал ответы. “Осветлим”. “Нужна яркая, но рассеянная вспышка”. “Давай попробуем отсоединить объектив”. Но вскоре вопросы стали специальнее и ему приходилось снимать с полки “Техники фотографирования”.

– Юная леди желает погружаться глубже, – как-то днем рассуждал он. Мие тогда исполнилось пятнадцать. – Вот что: юной леди нужна бокс-камера.

Мия о такой даже не слыхала. Но вскоре все ее сбережения – она работала за прилавком в “Аптеке Диксона”, официанткой в “Паркуйся и ешь” – откладывались на фотоаппарат, и Мия часами разглядывала фототехнику в каталогах и журналах мистера Уилкинсона.

– Ты больше читаешь, чем снимаешь, – дразнился он, но в конце концов Мия остановилась на “График Вью II”, и даже мистер Уилкинсон не нашелся что возразить. – Мощная камера, – сказал он. – Своих денег стоит. Заботься о ней – она с тобой останется на всю жизнь.

И когда доставили “График Вью II”, купленную с рук по объявлению, обласканную прежними хозяевами, в собственном кофре, точно дорогая скрипка, Мия поняла, что так оно и будет.

На родителей камера не произвела впечатления.

– Сколько-сколько ты потратила? – спросила мать, а отец покачал головой.

Им казалось, эта штукавина – какой-то привет из Викторианской эпохи: воздвигалась на тонконогом штативе, с плиссированной утробой, похожей на мехи, с темной тряпочкой, под которую ныряла Мия. Она пыталась объяснить, как работает камера, но едва упомянула

сдвиги и наклоны, их внимание рассеялось. Сдался даже любимый Уоррен – “Мне не надо знать, как это работает, Ми, – сказал он ей в конце концов, – я хочу только видеть фотографии”, – и Мия поняла, что перешагнула границу и дальше придется идти в одиночку.

Она снимала детские лазалки в местном парке, уличные фонари в ночи, городских рабочих, что рубили дуб, расколотый молнией. Она таскала бокс-камеру в центр и фотографировала ржавый мост, растянувшийся над слиянием трех рек. Варьируя настройки, она сняла футбольный матч Уоррена, и игроки получились миниатюрами, как на детской железной дороге.

– Это я? – спросил Уоррен, вглядываясь в фигурку, что далеко в зачетной зоне ждала паса.

– Это ты, Ворон, – ответила Мия.

И вообразила себя кудесницей, что, взмахнув рукой над полем, превратила мальчиков в пластмассовых пупсов размером с горошину.

Назавтра Мия понесла этот снимок мистеру Уилкинсону и в дверях столкнулась с незнакомой женщиной. Невесткой мистера Уилкинсона, как выяснилось.

– Делла умерла во сне, – сказала та, глазами ощупывая Мию, и камеру у нее на шее, и фотографию в руке. – А ты что хотела?

После похорон невестка и ее муж уговорили мистера Уилкинсона переехать в дом престарелых в Силвер-Спринг, поближе к ним. Все случилось очень быстро – Мия не успела даже попрощаться, не говоря уж о том, чтобы показать ему фотографию, и вновь осталась со своей камерой один на один.

* * *

Осенью 1979 года, в выпускном классе, Мия подала документы в Нью-Йоркскую школу изящных искусств – послала серию фотографий заброшенных домов. Отпечатки она промокнула влажной тканью и, пока эмульсия не высохла, кончиком иглы процарапала силуэты – остались тоненькие пробелы. Как резьба по кости наоборот: прозрачный рабочий сгорбился на ступенях заколоченной фабрики; абрис седана на пустом гидравлическом подъемнике “Автосервиса Джеймисона”; двое фантомных детей, взявшись за руки, карабкаются

на гору шлака. При виде этих детей Уоррен сощурился и склонился ближе. Казалось бы, просто дети, – но нет, не просто: вот маленький вихор у Уоррена на макушке, вот узлы на шелковых платках у Мии на шее, и под весом камеры Мия слегка скособочилась. Фотографий, на которых они лазили здесь, не сохранилось, но обоим казалось, будто все детство они играли на горах шлака, присоседившихся к парку, и сейчас, глядя на снимок, Уоррен видел, что сестра словно запечатлела призраков их прошлых “я”, что вот-вот растворятся в эфире.

– Когда тебе ее вернут, можно я заберу? – спросил он.

Родители в фотографиях – и вообще в работе Мии – особого обаяния не находили. Они даже не называли их “работой” – или “искусством”, что, с их точки зрения, было ничем не лучше. Оба – средний класс, всю супружескую жизнь провели в масляного цвета одноэтажном фермерском доме среднего класса, в надежном, среднего класса городке. Работа – это когда ты что-то чинишь или ваяешь что-то полезное; если пользы никакой, не очень понятно, на что оно сдалось. С их точки зрения, “искусством” занимались те, у кого слишком много лишнего времени и лишних денег. И как их упрекнуть? Отец Мии был ремонтником, основателем и единственным владельцем “Ремонта Райта”: сегодня он в церкви, чинит свесы – отломилась доска, в нефе обосновалось беличье семейство, – а завтра у соседа пробивает трубы или заменяет проржавевшее колено под раковиной. Мать работала медсестрой в больнице, выдавала таблетки, брала кровь, меняла судна, нередко ночами или сдвоенными сменами. Они стирали руки в кровь, трудились от зари до заката, экономили каждый цент и вкладывали его в выкупленный дом, и в два “бьюика”, и в двоих детей, которые, как родители с гордостью – и абсолютно верно – говорили, ни в чем не нуждались, но никогда не были избалованы.

А Мия часами валяется на полу, берет совершенно нормальную фотографию Уоррена и вырезает его, как бумажную куклу, и сует в диораму с листьями в старой обувной коробке – и все ради одного снимка, на котором Уоррен похож на эльфа среди гигантских желудей: ловко, но едва ли стоит потраченного времени. А Мия, едва отец входит в дом, башмаки еще не снял и не смыл с пальцев машинное масло, клянчит два доллара на новую пленку, обещает: “Я все верну, честное слово”, хотя, если по правде, возвращает редко. А Мия, когда мать выдает ей деньги на новую одежду для школы, нашивает заплатки

на старые джинсы, деньги опять спускает на пленку, ходит в юбках, которым до нормальной длины недостает нескольких дюймов, в поблекших и потертых рубашках и продолжает снимать. А Мия, нанявшись официанткой в “Паркуйся и ешь”, не покупает одежду или подержанную машину, а откладывает, все угрожала на фотокамеру, ты подумай. И главное, этой камерой никто больше не мог снимать – Мия разок объясняла им про движение и фокусное расстояние объектива, но все почти тотчас заскучали, – хотя она и сделала семейный портрет, в свой выпускной год сняла их вчетвером, и мать вставила снимок в рамочку и повесила в гостиной на стенке. Камера складывалась в кофр не больше портфеля, и отчего-то это огорчало родителей еще больше: столько денег вбухано в такую мелочь.

Родители не понимали – и можно ли их винить? Они родились в военные годы; их самих растили родители, которые пережили Депрессию и никогда ничего не выбрасывали, даже заплесневелую еду. Оба еще помнили, как ветошь превращалась в фетр для войны, как жестянки и металлолом становились пулями, а банки жира – взрывчаткой. Практичность запеклась у них в крови. Они ничего не тратили зря – особенно время.

И поэтому они считали, что Мия пойдет учиться чему-нибудь полезному – бизнесу какому-нибудь или гостиничному делу, в Питтсбурге или, может, в Пенсильванском. Они думали, эта история с фотографией – подростковый этап, как увлечение мальчишками или вегетарианство. Ради чего они трудились все эти годы? Ради того, чтоб Мия выбросила их деньги на ветер, потратила на художественную школу? Нет уж, если ей так приспичило, пусть сама и платит. Это не жестоко, уверяли они. Это разумно. Они же ей не запрещают. Они не сердятся, твердили они; конечно нет, ни капельки. Но они посадили ее перед собой в гостиной и высказались без обиняков: это твое искусство – пустая трата времени. Они разочарованы. И уж точно не станут платить.

– Я думала, мы тебя воспитали поумнее, – сказала мать, и голос ее истекал неодобрением.

Мия слушала грустно, но без удивления. Она и так знала, что родители не одобряют; все эти годы они потакали ее хобби, но ясно, что теперь все будет иначе – ей уже восемнадцать. Ей полагается быть взрослой, ребяческие забавы пора отставить, а не погружаться в них с

головой. Она уже все подсчитала; если бы родители предложили хоть чем-то помочь, она бы растерялась. Школу так поразило ее портфолио, что ей предложили стипендию. За жилье, и питание, и расходники, прикинула она, можно платить, устроившись на полставки. Родители переглянулись, будто и сами понимали, что угроза не подействует, и переварили эти новости молча.

За неделю до отъезда Мии в дверях спальни возник Уоррен.

– Ми, я тут подумал, – сказал он ужасно серьезно – она чуть не захихикала, но затем он выудил пачку банкнот из заднего кармана. – Я считаю, это тебе. На все не хватит, но большую часть покроет.

– А как же машина? – спросила Мия.

Уоррен откладывал на машину, провел тщательные исследования и даже подобрал модель: “фольксваген-кролик”. Мия не ожидала от него такого выбора: она думала, “транс-ам” или “тандербёрд”, что-нибудь эффектное и клевое. Но бензин стоил 1,10 за галлон, и мало того, что “кролик” был одним из немногих автомобилей, которые Уоррен мог себе позволить, – реклама обещала, что “кролик” пробегает 38 миль на галлон, и Мию забавляло, что прагматизм Уоррена всплыл вот именно здесь.

Она сжала его пальцы поверх купюр и мягко оттолкнула его руку.

– Купи себе машину, Ворон, – сказала она. – Купи и обещай встречать меня на автовокзале, когда я буду приезжать домой.

Мия села на “грейхаунд” до Филли, потом до Нью-Йорка – в одном чемодане одежда, в другом камеры. По объявлению на доске нашла квартиру в Виллидж, неподалеку от кампуса, еще с двумя девушками. Устроилась официанткой в маленькое кафе у Гранд-Сентрал и продавщицей в художественный магазин “Дик Блик” в СоХо. Сходила в фотографическую лавку на Западной 17-й, где на последние сбережения купила пленку и фотобумагу у молодого продавца, стараясь не пялиться на его ермолку. И, таким образом экипировавшись, приступила к занятиям: “Рисование фигуры, 1 курс”, “Свет и цвет, 1 курс”, “Обзорная история искусства, 1 курс”, “Введение в критику”, а также – это она предвкушала больше всего – “Введение в фотографию” знаменитой Полин Хоторн.

Выяснилось, что, вопреки благим побуждениям, родители прекрасно подготовили ее к художественной школе.

Каждое утро она вставала в полпятого и шла на работу – наливать кофе бизнесменам, бегущим на поезд. Таскала с кухни горячие тарелки, и они прожигали шрамы-полумесяцы на исподе ее предплечий. Даже в сдвоенные смены мать умудрялась внушать каждому пациенту, что он не просто тело в койке, – болтала с ним о танцевальном выступлении его дочери, о поломке машины его брата, спрашивала, как поживают его домашние питомцы, – и, годами за ней наблюдая, Мия тоже развила в себе этот талант: помнила, кто пьет кофе со сливками и сахаром, кому нужен кетчуп к яичнице, кто всегда оставляет хлебные корки на краю тарелки и возрадуется в следующий раз, обнаружив, что корки ему обрезали еще в кухне. Она научилась предвосхищать людские потребности: мать знала, когда прийти и сделать очередной укол морфина или вынести судно, а Мия наловчилась являться с кофейником, едва посетители отставляли пустые кружки, наблюдать за клиентами и замечать, ерзают ли они и потягиваются – значит, спешат и пора нести чек, – или расслаблены и хотят задержаться. Бизнесмены и рекламщики любили сидеть за ее столиками и обычно оставляли ей лишний доллар, а порой и пятерку. В кухне, когда управляющий отворачивался, Мия не счищала объедки в мусор, а жевала остатки треугольных тостов и вилкой подцепляла холодную болтуню с тарелок. Так она завтракала.

Когда смена заканчивалась, она переодевалась в тесной комнатухе уборной для сотрудников, а официантскую форму и фартук, прежде чем запихнуть в рюкзак, сворачивала тугим цилиндром, чтобы не мялись. Утюга у нее не было, а так, если свернуть аккуратно, можно носить одну и ту же форму неделю кряду или больше и лишь потом отважиться на поход в прачечную-автомат. Затем Мия в джинсах и футболке отправлялась на занятия.

У отца она научилась менять машинное масло, чинить электрический патрон, работать стамеской и пилой – и с инструментами обращалась мастерски: она знала, насколько гнутся лист железа или проволока, прежде чем сломаются, как добиться четких линий, мягких выпуклостей, изгибов, как складывать и сгибать медную трубу. У матери научилась обращаться с тканями – от обволакивающей марли до толстого холста, – умела приструнить ткань, знала, каковы ее ограничения, до каких пределов можно вытянуть ее и сколько она выдержит. Как правильно чистить

инструменты, чтоб не осталось ни крупинки того, чего они касались. Когда на занятиях студентам задавали сделать металлический стул, Мия знала, как варить и создавать крепкие вещи; когда задавали работу с тканым материалом, она умела, просто сжав ткань, преобразить вельвет и лен в шестифутовое дерево, которое восхитило даже преподавателя. Умела разбавлять краску, чтобы текла, и сгущать – чтобы комкалась на холсте глиной, из которой потом можно лепить. На рисовании человеческих фигур, когда модель развязала пояс и халат лужицей упал к ее ногам, одна Мия не тратила время, краснея, тотчас принялась набрасывать длинные руки модели и изгиб ее груди: в больнице, помогая матери, она повидала слишком много тел и ничего не стеснялась.

В три часа, после занятий, она снова отправлялась на работу. Дважды в неделю у нее были смены в “Дик Блик” – там она продавала художественные принадлежности таким же студентам или пополняла складские запасы в задней комнате. Говорила об искусстве со старшими студентами, и они рассказывали, над чем работают, почему нож предпочитают кисти, или акрил – маслу, или “Фуджиколор” – “Кодакхрому”. В задней комнате ее начальник – у него была дочь, сверстница Мии, и он питал слабость к этой девочке, которая где только не работала, чтобы платить за жилье, – разрешал ей забирать карандаши и пастели, сломавшиеся при перевозке, протекшие тюбики краски, помятые или расклеившиеся кисти и холсты. Все, что уже нельзя было продать, Мия забирала домой и чинила, холсты перетягивала или заклеивала сзади скотчем, шкурила треснувший черенок кисти, затачивала две половинки карандаша вместо одного целого. Таким образом львиную долю расходников она добывала задаром.

Трижды в неделю Мия вечером садилась на Первый маршрут подземки и ехала на 116-ю улицу, где надевала другую униформу и обслуживала столики в баре возле Коламбии. Обычно студенты несносно задавались или несносно пялились – чем позднее час, тем больше, – но чаевые оставляли, и под конец удачной смены в кармане фартука скапливалось долларов тридцать или сорок. Мия ужинала объедками их бургеров, и забытой ими картошкой фри, и огрызками их соленых огурцов, а деньги складывала в карман джинсов.

Так она протянула первый год – после платы за квартиру удавалось даже что-то сэкономить. Изредка, когда она звонила домой – ибо домой она звонила, и она, и родители твердили, что между ними нет никаких обид; родители вежливо интересовались, как идет учеба, и к ответам выказывали или, во всяком случае, изображали интерес, Уоррен спрашивал, стоит ли оно того. Из них двоих он всегда был за беспечного, готового принимать от жизни все, что жизнь подарит; Мия была за целеустремленную, за амбициозную, строила планы.

– Оно того стоит, – заверяла она Уоррена. И рассказывала ему про занятия, и какую живопись она изучала на этой неделе, и про свое любимое, про настоящую причину вставать по утрам в четыре тридцать и поздно ложиться: про фотографию.

О Полин Хоторн она говорила с восторгом влюбленной школьницы пополам с восторгом верующего пред святым. Поначалу ничто этого не предвещало. В первый день курса по фотографии студенты сидели по струнке за партами – каждый, согласно списку требуемого, вооружился 35-миллиметровой камерой и двумя тетрадями. Когда началось занятие, Полин прошагала к стене в глубине, щелкнула выключателем и, даже не представившись, нажала кнопку проектора. На экране воссияла фотография Мэна Рэя: роскошная женщина, чья спина двумя нарисованными эфами преобразена в виолончель^[44]. В аудитории повисла гробовая тишина. Спустя пять минут Полин шевельнула пальцем и женщину-виолончель сменил пейзаж Энсела Адамса – гора Маккинли насупилась над ослепительно белым озером^[45]. Никто не произносил ни слова. Вновь щелк: портрет женщины времен Пыльной Лоханки, работа Доротеи Ланж, – темные волосы разделены глубоким пробором, в уголках губ легчайший намек на улыбку^[46]. Так продолжалось все занятие: два часа Полин листала фотографии, которые все узнавали, но – о чем она, вероятно, догадывалась – никогда особо не разглядывали. Мие все они были знакомы по библиотечным разысканиям, но обнаружилось, что если подольше смотреть, они обретают новые контуры, точно лица любимых.

На исходе двух часов Полин выключила проектор и все заморгали во внезапно вспыхнувшем свете.

– На следующее занятие принесите фотографию, которой больше всего гордитесь, – сказала Полин и вышла. Таковы были ее первые и

единственные слова за всю пару.

В следующий раз Мия, продолжительно поразмыслив, принесла фотографию, сделанную крупноформатной бокс-камерой. На “Введении в фотографию” предполагалось снимать малоформатными фотоаппаратами, но Полин сказала “фотографию, которой вы больше всего гордитесь”, а Мия больше всего гордилась этой – брат играет в уличный хоккей на заднем дворе, их дом и окрестности растекаются позади него миниатюрами. Чтобы так снять, Мия забралась на самую верхушку холма за домом. В аудитории по стенам висели каталожные карточки с именами студентов, и под каждой карточкой зажим. Полин вошла, опоздав на две минуты – и снова не представившись, – а потом группа толпилась у всех фотографий по очереди, Полин говорила о композиции или методе съемки, а студенты робко отвечали на ее вопросы о ракурсе и тоне. Попадались выверенные постановочные сцены, студент-другой изображали нечто художественное – девичий силуэт, со спины подсвеченный гигантским киноэкраном; крупный план путаного провода, оплетшего телефонную трубку.

Мия с однокурсниками в страхе готовились к допросу. После первого занятия они решили, что Полин – дракониха: так называли строгих учителей, из тех, кто любит, чтоб студент поерзал, считает, что лучший способ выпихнуть студента из зоны комфорта – бульдозером критики расплющить до булыжника. Но нет, Полин была вовсе не дракониха. Серьезна и деловита – да; но в каждой фотографии она находила, что подчеркнуть и похвалить. Вот почему, невзирая на свою славу, она преподавала начинающим.

– Посмотрите, как смеется младшая сестра, – говорила она, пальцем стуча по семейному портрету. – Она одна не смотрит в камеру, и у нас создается впечатление, будто что-то осталось за кадром. Она бунтарка? Нам намекают, какой дух царит в этой семье? – Или: – Обратите внимание, как небоскреб словно вот-вот проткнет луну. Очень вдумчивый выбор перспективы.

Даже критика ее – звучавшая не реже похвал – обманула ожидания Мии.

– С водой трудно, – только и сказала Полин, когда кто-то заметил, что фотография водопада ужасно размазалась. – Предположим, что это сделано нарочно. Какой достигнут эффект?

Фотография Мии висела последней, и когда вся группа сгрудилась перед ней, Полин на миг замерла, будто растерялась. Она пристально вглядывалась – две минуты, три, пять, – и студенты в тишине уже неловко переминались.

– Мия Райт – это кто? – наконец спросила Полин, и Мия шагнула вперед.

Остальные на полшага попятились, точно сторонясь надвигающегося удара молнии. Полин приступила к допросу. Почему у вас тут линия справа налево? Почему вы так повернули камеру? Почему фокус на хоккейной клюшке, а не на воротах? Мия отвечала как могла: хотела передать, до чего малы дом и газон в сравнении с холмами позади; хотела показать текстуру травы и как травинки сминаются под кедами брата. Но когда вопросы стали более техническими, Мия занервничала и невнятно забормотала. Мне показалось, если такая линия, будет хорошо. Мне показалось, если такой сдвиг, будет хорошо. Мне показалось, если такая глубина резкости, будет хорошо. В конце концов пара завершилась, а Полин кивнула и отошла.

– В следующий раз приносите фотоаппараты, – сказала она. – Начнем снимать.

После чего взяла сумку и вышла из аудитории, а Мия осталась гадать, выдержала она или позорно провалилась.

На следующих занятиях Полин никак Мию не выделяла. Студенты учились заправлять пленку в камеру, строить композицию, правильно высчитывать число диафрагмы и ширину кадра. Все это Мия уже знала благодаря наставничеству мистера Уилкинсона и своим многолетним экспериментам. Однако теперь, слушая объяснения Полин, Мия выстраивала кадры осознаннее. Научилась внятно обосновывать выбор того или иного числа диафрагмы, не просто нащупывать настройки, при которых *будет хорошо*, но объяснять, почему будет хорошо именно так. Спустя две недели после начала семестра, когда студенты начали сами печатать фотографии, Полин подошла к Мие в темной комнате. В сиянии красной лампочки ее словно вырезали из гигантского рубина.

– Вы давно работаете с бокс-камерой? – спросила Полин и, выслушав ответ, сказала: – Хотите показать мне еще что-нибудь?

В субботу Мия стояла в вестибюле дома Полин, сжимая конверт с фотографиями. В доме служил швейцар – Мия, никогда не встречавшая швейцаров, была так потрясена, что пропустила мимо ушей номер этажа, и пришлось нажимать все кнопки в лифте по очереди, читать имена на всех дверях, а потом бежать в лифт и подниматься этажом выше. Когда Мия наконец добралась до шестого, Полин стояла в дверях квартиры.

– Вот вы где, – сказала она. – Швейцар десять минут назад позвонил и сказал, что вы приехали. Я уж гадала, куда вы подевались.

Она была босиком, но в остальном такая же, как на занятиях: черная футболка, длинная черная юбка и длинные серьги из бусин, которые на ходу позвякивали колокольчиками. Краснея, Мия следом за Полин вошла в большую солнечную комнату с белыми стенами – все словно сияло. Мия думала, у фотографа вся квартира увешана фотографиями, но стены были голые. Позднее она узнает, что студия у Полин наверху, что Полин никогда ничего не развешивает, потому что, когда не работает, ей нужно белое пространство. Сполоснуть рот, пояснит Полин. Но сейчас Мия просто сидела подле нее на комковатом сером диване и одну за другой они выкладывали на кофейный столик фотографии. Полин сыпала вопросами, как на второй паре. Почему вы здесь снимали из нижней точки? Почему такой крупный план? А вот тут вы не хотели подправить наклон? О чем вы думали, когда вот это снимали? В фотографиях Мия растеряла всю застенчивость. Обе так увлеклись, что когда вошла какая-то женщина и по приставному столику придвинула им две чашки кофе, Мия подскочила.

– Мэл, – сказала Полин, небрежно взмахнув рукой. – Мэл, это Мия Райт, она у меня учится.

Мэл была худая, с длинными темными кудрями. В джинсах и зеленой блузке, тоже босая.

– Я подумала, кофе вам не помешает, – сказала Мэл. – Приятно познакомиться, Мия. – Она чмокнула Полин в щеку и ушла.

Мия просидела до вечера – пока не настала пора идти на смену в бар. Полин и Мэл уговаривали остаться на ужин, и Мие пришлось сознаться, что у нее работа.

– Тогда на следующей неделе, – предложила Полин, – когда у вас будет выходной.

В следующие месяцы Мия часто к ним заходила – беседовала о фотографии с Полин, смотрела, как та работает в студии, слушала, как Полин размышляет вслух о том, над чем трудится.

– Я тут почитала про Древний Египет, – начинала, допустим, Полин, раскрыв книгу. – Скажи, что думаешь.

За ужином Мию кормили незнакомой едой: артишоки, оливки, бри. Мэл, как выяснилось, была поэтом, выпустила несколько сборников стихов.

– Но на поэзию всем плевать, – грустно смеялась Мэл. И штабелями одалживала Мие книги: Элизабет Бишоп, Энн Секстон, Эдриэнн Рич^[47].

К зиме Мия таскала Полин свои новые фотографии почти каждую неделю, и они беседовали – Полин требовала проговаривать, что Мия сделала и почему. Прежде та снимала по наитию, полагалась на инстинкт, который диктовал ей, что хорошо и что плохо. Полин понуждала ее действовать намеренно, планировать, высказываться каждым снимком, сколь угодно прямолинейным.

– Случайного не бывает, – снова и снова твердила Полин.

Такова, узнала Мия, была ее любимая мантра – и в фотографии, и в жизни. В доме Полин и Мэл не бывало простоты. В родительском доме было хорошее или плохое, правильное или неправильное, полезное или зряшное. Никаких полутонов. А здесь все нюансировано; во всем обнаруживаются сокрытая сторона или неизученные глубины. Ко всему стоило приглядеться.

После этих сеансов Полин и Мэл всегда залучали Мию на ужин. Они уже знали про три работы, и Мэл подкладывала Мие добавку, складывала остатки в контейнеры, которые Мия возвращала в следующий раз. Собственно, Полин и Мэл с радостью оставляли бы Мию ночевать, устроили бы в одной из гостевых и поселили у себя навечно, если б знали, как ей это предложить.

Поскольку очевидно было, что Мия горда. Она ценила их гостеприимство, но после первого визита никогда не приходила с пустыми руками. Приносила самодельные мелочи: охапку листьев из Центрального парка, лентой увязанную в румяный букет; плетеную травяную корзиночку размером с палец; один раз – набросок тушью, портрет хозяек дома; даже горсть чисто белой гальки, когда Полин обронила, что приступила к новому проекту с камнями. Полин и Мэл

понимали, что это утишает совесть Мии – ибо они обе дарили ей пищу, и знания, и привязанность – и без этих даров гордость не позволит Мие их навещать.

А они очень хотели, чтобы Мия их навещала. К Рождеству всем – Полин, Мэл, другим преподавателям и однокурсникам – стало ясно, что Мия невероятно талантлива.

– Ты станешь знаменитой – ты же это понимаешь, да? – как-то вечером сказал сестре Уоррен.

На Рождество она приехала домой, и верный своему слову Уоррен забрал ее с автовокзала на маленьком бежевом “фольксвагене-кролике”, который купил осенью. Теперь, спустя четыре дня после Рождества, он вез Мию назад. По молчаливому уговору они дали крюк и катили петляющими дорогами на задворках – растягивали последние минуты. Уоррен был уже в одиннадцатом классе, и Мие казалось, что в ее отсутствие он вырос: стал не то чтобы выше, но как-то глубже. Голос ниже, и Уоррен уже вращал в свои кисти, и пальцы, и ступни, которые последние годы были ему велики, как щенячьи лапы. В тускнеющем предвечернем свете щетина у него на горле казалась просто тенью, но Мия-то знала, что это не тень.

– Посмотрим, – только и ответила она. И затем: – А ты? Кем ты станешь, когда вырастешь?

В детском саду, когда об этом спросила воспитательница, Уоррен в ответ изложил свои планы на вечер – грядущего дальше нынешнего вечера его пятилетнее воображение не постигало. С тех пор “Кем ты станешь, когда вырастешь?” заменяло им вопрос о планах на день, и даже теперь, дразнилась Мия, Уоррен не умел заглянуть дальше чем на пару недель вперед.

– Пойдем в пятницу охотиться с Томми Флаэрти, – сообщил он. – Лишний поход перед школой.

Мия скривилась. Охоту она никогда не одобряла, хотя в каждом доме в окрестностях висела трофейная оленья голова-другая.

– Я позвоню, когда доберусь, – пообещала Мия и поцеловала Уоррена в щеку.

И снова поразила, до чего он повзрослел – стал худее, и сильнее, и плотнее. Интересно, есть ли у него девушка. Каким он будет, когда Мия приедет в следующий раз – и когда это случится? Летом, наверное, если не найдет работу, чтобы подкопить на будущий

год. Столько дел. Эти месяцы в Нью-Йорке она росла: потому что общалась с Полин, потому что разглядывала работы однокурсников, даже потому что долгими часами трудилась в трех местах и мимо текла бесконечная череда незнакомцев. Мия стала остроумнее и расчетливее, технически умелее и авантюرنее, рисковее и резче, и все – включая ее саму и Уоррена, который сейчас помахал ей из пассажирского окна, а потом наклонился и поднял стекло, – не сомневались, что она далеко пойдет. Ничто не отвлечет меня от работы, пообещала она себе. Только работа и важна. Ни о чем другом думать нельзя.

Мия была так погружена в работу, что в тот мартовский день, когда на нее уставился человек с портфелем, не сразу даже заметила. Дело было сильно за полдень, она села в поезд на Хьюстон-стрит, поехала в Коламбию, и в вагоне было тихо – пассажиров всего ничего. Мия обдумывала проект для Полин – “ЗадOCUMENTИРУЙТЕ преобразование во времени”, – и тут кожу закололо: значит, кто-то смотрит. Ко взглядам Мия привыкла – это же все-таки Нью-Йорк – и, подобно всем женщинам, научилась их не замечать, как не замечала сопутствующих порой присвистов. Но этот человек был какой-то непонятный. Как будто вполне почтенный господин: опрятный полосатый костюм, темные волосы, между ног стоит портфель. Уолл-стрит, наугад решила Мия. В глазах не похоть – даже не игривость. Что-то другое – странная смесь узнавания и голода, – и Мие стало не по себе. Через три станции человек так и не отвел взгляд, поэтому она подхватила вещи и вышла на Коламбус-Сёркл.

Вроде оторвалась. Поезд тронулся, Мия села на замызганную скамью подождать следующего, и едва горстка пассажиров уткнулась со станции, Мия увидела человека снова: в руке портфель, озирает платформу. Ищет ее, вот точно. Пока не нашел, Мия повернулась и направилась к лестнице в дальнем конце, и дальше по переходу, и прибавила шаг – разве только не бегом побежала, чтобы не бросаться в глаза, – к платформе поезда “С”. На работу опоздает, но это неважно. Сейчас оторвется, сойдет через пару остановок, пешком дойдет до Бродвея, сядет там в нужный поезд – и ничего, что придется заплатить дважды.

Когда пришел “С”, Мия вошла в средний вагон и оглядела сиденья. Вагон полупустой, народу достаточно, есть кого позвать на

помощь, если что, но не давка – ничего непристойного в толпе не скрыть. На 72-й улице он не появился. Но на 81-й – Мия как раз встала и собралась выходить – дверь в торце вагона открылась и вошел человек с портфелем. Слегка уже растрепанный, волосы падают на лицо, словно он бежал по вагонам, искал. Их глаза встретились – уже никак не притвориться, будто Мия его не заметила. Ее соседку по квартире дважды грабили на улице, когда она поздно возвращалась домой, а однокурсница Бекка рассказывала, что какой-то мужик затащил ее в переулок возле Кристофер-стрит за хвост – Бекка отбилась, но он выдрал ей клочок волос. Мия видела проплешину. Все, что грядет, грядет прямо сейчас, и без разницы, сойдет она с поезда или нет.

Она сошла, и он последовал за ней, и когда двери закрылись, оба застыли на платформе. Не видать ни кондуктора, ни полицейского – только старушка с палочкой медленно ковыляла к лестнице, а в дальнем углу спал бродяга в драных кедах. Если рвануть, подумала Мия, можно, пожалуй, добежать до лестницы и он не поймают.

– Погодите, – сказал этот человек, когда поезд тронулся. – Я только поговорить хотел. Прошу вас.

Он остановился и воздел руки. Моложе, чем Мие сначала показалось, – за тридцать, наверное, – и худее. Костюм, отметила она, дорогой – шерсть с тонкой серебряной нитью, и туфли тоже дорогие – кордовская кожа, с кисточками и гладкими кожаными подошвами. В такой обуви люди не бегают.

– Прошу вас, – продолжал он. – Простите, что я за вами увязался. Простите, что смотрел. Вы, наверное, подумали... – Он потряс головой. – Я не люблю, когда жена ездит подземкой, потому что боюсь, что за ней вот так увяжутся.

– Что вам нужно? – просипела Мия. Она и не заметила, как пересохло в горле. Заложив руки за спину, стиснула в кулаке ключи остриями наружу. *Вроде ничего особенного, но будет больно*, сказала ей Бекка.

– Позвольте я объясню, – продолжал этот человек. – Я постою здесь. Я не подойду ближе. Мне только поговорить.

Он поставил портфель, отгородился от Мии, и она самую малость перевела дух. Если он сейчас на нее бросится – споткнется о портфель.

Звали его Джозеф Райан – “Джои”, поправился он, – и она угадала, он работал на Уолл-стрит: протараторил имена, в которых Мия опознала название крупной трейдинговой компании. Джозеф Райан с женой жили на Риверсайд-драйв; он сейчас едет домой; девять лет женаты; роман со школы; детей нет.

– Мы не можем, – объяснил он. – У нее не может быть детей. И... – Он осекся и взглянул на Мию умоляюще, и провел рукой по волосам, и вдохнул поглубже, и видно было, что он сам понимает: то, что он сейчас произнесет, – вопиющий абсурд. – Мы ищем, кто нам выносит ребенка. Подходящую женщину. – И затем: – Мы ей заплатим. Щедро.

У Мии голова шла кругом. Она вонзила острия ключей в основание ладони – теперь не для защиты, а внушая себе, что не ослышалась.

– Вы хотите... – наконец выдавила она. – А почему я-то?

Джозеф Райан порылся в кармане, добыл визитку, и, поколебавшись, Мия шагнула к нему и протянула руку.

– Прошу вас. Приходите, поговорите с нами? Завтра? В обед? Мы угощаем, разумеется.

Мия покачала головой.

– У меня работа, – сказала она. – Я не могу...

– Тогда ужин. Мы с женой все объясним. Слушайте... давайте во “Временах года”. В семь? По крайней мере, вкусный ужин я вам обещаю. – Он тряхнул головой, как застенчивый школьник, и подобрал портфель. – Если не придете, я пойму, – прибавил он. – Я даже вообразить не могу... такое предложить. На станции метро. – И опять тряхнул головой. – Но прошу вас... просто подумайте. Вы так нас выручите. Это перевернет всю нашу жизнь.

А потом он ушел прочь, вверх по лестнице, а Мия так и осталась на платформе с его визиткой в руке.

* * *

До конца жизни Мия будет гадать, что было бы, не пойдя она в тот день в ресторан. Пошла забавы ради: утолить любопытство и

заодно вкусно поесть. Конечно, позднее она поймет, что этот вечер все переменял навеки.

С 52-й улицы она вошла во “Времена года” в единственном своем красивом платье – надевала его на свадьбу кузины Дебби годом раньше. Мия с тех пор подросла, платье было коротковато и туговато, но даже будь оно как раз, между ним и этим плюшевым вестибюлем с громадной люстрой, и густым ковром, и джунглями зарослей в горшках пролегли миры. Самый воздух здесь был роскошен и густ, как бархат, поглощал цок-цок женских каблучков, болтовню мужчин в костюмах, и все проплывали мимо, точно корабли по водной глади. Джозеф Райан не сказал, где они с Ми-ей встретятся, и она неловко встала в сторонке, делая вид, будто любуется картиной во всю громадную стену вестибюля, и стараясь не лезть на глаза метрдотелю, который услужливым призраком возник из-за дверей обеденного зала.

Пять минут, решила Мия; если не придут, уезжаю домой. Она забыла надеть часы и принялась медленно считать, как в детстве, когда они с Уорреном играли в прятки. Досчитает до трехсот, уедет домой и забудет про это безумие навсегда. И едва она добралась до ста девяноста восьми, Джозеф Райан возник у ее локтя, точно официант.

– Пикассо, – сказал он.

– Что?

– Гобелен. – Здесь, в этом вестибюле, он почти робел, а она почти забыла, какую угрозу он источал накануне. – Ну, не совсем гобелен. Он это написал на занавесе^[48]. У него попросили картину, но ему было некогда, и он отдал им это. Меня всегда восхищало.

– Я думала, вы с женой придете, – сказала Мия.

– Она за столиком.

Он потянулся было взять ее под локоть, передумал и сунул руки в карманы пиджака. Это джентльменство почти комично, подумала она, следом за ним шагая по коридору.

Громадный белый зал с... Мия поморгала... нефритово-зеленым прудом в центре. Деревья под крышей усеяны розовыми цветами и увешаны лампочками. Будто в недрах нью-йоркского офисного здания таился зачарованный лес. Вокруг тихонько гудели беседы. Кружевная сеть тончайших цепочек на окне рябила, как вода, хотя ветра не было. А потом случилось странное. Когда они вошли и приблизились к столу в углу, Мия увидела, что почему-то уже сидит там в изящном темно-

синем платье и с коктейлем в руке. На миг ей почудилось, будто перед ней зеркало, и она замерла, опешив. Женщина в зеркале встала и потянулась через стол к ее руке.

– Я Мэделин, – сказала она, и когда их руки соприкоснулись, Мия словно тронула свое отражение в воде. Удивительно.

* * *

Вечер тянулся как сон. Всякий раз, взглядывая на Мэделин Райан, Мия видела себя; их роднили не только темные кудри и схожие черты, но и некоторые повадки: манера прикусывать нижнюю губу, привычка рассеянно оттягивать локон, как пружину, до самой мочки, а потом отпускать, чтоб отпрыгивал. Не две капли воды: у Мэделин чуть острее подбородок, чуть тоньше нос, голос ниже, богаче, почти гортанен – но до того похожи, что их можно принять за сестер. Далеко за полночь, спустя многие часы после того, как такси, вызванное Райанами, доставило Мию обратно домой, она сидела без сна и обдумывала все, что услышала.

Как у Мэделин к семнадцати годам так ни разу и не случилось менструации и как врач осмотрел ее и обнаружил, что у нее нет матки. Один случай на пять тысяч женщин, объяснила Мэделин, – было какое-то длинное немецкое название, синдром Майера и еще кого-то, Мия не совсем разобрала. Их единственный способ завести ребенка – суррогатная мать. Дело было в 1981 году, тремя годами раньше газеты протрубили о рождении Луизы Браун, первого в мире ребенка из пробирки, но шансы такого рождения были по-прежнему низки, и большинство до сих пор относилось к выведению детей в чашках Петри с подозрением.

– Это не для нас, – сказала Мэделин, вертя ножку винного бокала в изящных пальцах. – Детки Франкенштейна нам не нужны, благодарю покорно.

Райаны предпочли более старомодный метод: древний, отметил Джозеф, как сама Библия. Сперма от отца, яйцеклетка от пригодной женщины, которая и выносит плод. Они давали объявления месяцами – аккуратно, прибавила Мэделин: искали суррогатную мать с подходящими характеристиками, но никого не нашли. А потом Джозеф

Райан в подземке, возвращаясь с делового обеда, в дальнем конце вагона заметил ужасно знакомое лицо – и это, похоже, судьба.

– Нам кажется, – сказал он, – что мы с вами можем сделать друг другу доброе дело.

Они с Мэделин переглянулись, и Мэделин самую чуточку ему кивнула, и оба слегка расправили плечи и повернулись к Мие, а та отложила вилку.

– Не думайте, что мы на это идем с легким сердцем, – сказала Мэделин. – Мы долго думали. И искали подходящую женщину. – Она наклонила графин с водой, вновь наполнила бокал Мии. – Нам кажется, это вы.

Сейчас, у себя в комнате, Мия вела подсчеты. Десять тысяч долларов – вот сколько они предложили за то, что она выносит им здорового ребенка. Говорили они так, будто звали ее на работу и живописали соцпакет.

– И, разумеется, мы оплатим вам все медицинские расходы, – прибавил Джозеф.

Под конец ужина он толкнул к ней по столу сложенный лист бумаги.

– Наш домашний телефон, – сказал он. – Подумайте. Мы составим договор, вы посмотрите. Мы надеемся, вы нам позвоните.

Он уже расплатился по счету, которого Мия не видела, но знала, что сумма чудовищная: они ели устриц и пили вино; человек в смокинге прямо за их столиком готовил бифштекс по-татарски, ловко пакуя золотистый желток в рубиновое мясо. Джозеф подозвал такси для Мии.

– Мы надеемся, вы нам позвоните, – повторил он. Позади него, за стеклянным окном вестибюля, Мэделин застегивала меховой воротник пальто. Лишь когда Джозеф захлопнул дверцу и такси покатило прочь, в тесную квартирку Мии, она развернула лист и вновь узрела эту поразительную цифру, \$ 10 000. А под ней – одно-единственное слово: *пожалуйста*.

С утра она думала, что ей привиделся дурацкий сон, пока не увидела эту мятую записку, что так и валялась на комод. Рехнуться можно, подумала она. Моя матка – не квартира в аренду. Сложно вообразить, как рожаеть ребенка, – тем более как его отдаешь. В стальной серости утра вчерашний вечер казался ребяческой фантазией.

Мия потрясла головой, кинула записку в ящик комода, достала официантскую форму.

А спустя несколько недель обнаружилось, что стипендию Мие не продлят. Полин и Мэл открыли ей дверь, и она молча протянула им письмо, неровно вскрытое пальцем.

Уважаемая мисс Райт! Надеемся, Вы извлекаете пользу из занятий первого курса Нью-Йоркской школы изящных искусств. Однако мы с сожалением вынуждены сообщить, что ввиду сокращения бюджета не сможем оказывать Вам финансовую поддержку в 1981/1982 учебном году. Мы, разумеется, надеемся, что, несмотря на это, Вы продолжите обучение у нас и...

– Идиоты, – сказала Полин, швырнув письмо на кофейный столик. – Сами не понимают, что теряют.

– Это штат, – сказала Мэл. Она подобрала письмо и сунула обратно в конверт. – Штат сокращает финансирование, школа должна доплачивать больше, и страдают стипендиаты.

– Да ничего страшного, – сказала Мия. – Найду еще работу. Буду откладывать летом.

Но, спускаясь вечером в лифте, она привалилась головой к зеркальной стене и прикусила губу, сглатывая слезы. При нынешней занятости нельзя брать лишние часы – некогда будет ходить на пары, – а она и так еле сводит концы с концами. Если проработать все лето на полную ставку... Она снова подсчитала в уме. Если не найдется место, где платят вдвое больше, учиться она не сможет.

– Мисс, вам нехорошо?

Двери лифта открылись – Мия снова очутилась в вестибюле, на нее сверху вниз сквозь очки взирал любезный швейцар. Винный ковер у него за спиной тянулся до толстых стеклянных дверей, отгородивших вестибюль от Пятой авеню. Здесь стояла тишина, как в библиотеке, но Мия знала: за этими дверями – потрескавшиеся бетонные тротуары, и сумятица, и грохот, и бессердечие города.

– Все нормально, – сказала она.

Они со швейцаром уже шапочно познакомились, как это нередко водится у жителей Нью-Йорка: швейцара звали Мартин, вырос он в Куинзе и болел за “Метс” – не за “Янкиз”^[49], сказал он Мие, ни за что никогда никаких “Янкиз”, – а дома у него жила такса по имени Роза. Мартин, в свой черед, знал, как зовут Мию и что она протеже Художественных Дам сверху – так он любовно именовал Полин и Мэл, – и хотя Мия едва ли что-то о себе рассказывала, его наметанный глаз много чего подмечал – и подержанный фотоаппарат у нее на шее, и черно-белую униформу, в которой она порой приходила, и контейнеры с едой, которые она зачастую уносила с собой по настоянию Мэл. Мартин подавил желание похлопать ее по плечу и рукой в перчатке толкнул дверь.

– Доброга вам вечера, – сказал он, а Мия ступила на Пятую авеню, и ее поглотил этот город.

Мия не посоветовалась ни с родителями, ни с соседками, ни даже с Полин и Мэл. Впоследствии, вспоминая, поймет, что, значит, все решила уже тогда. На следующий день после письма из колледжа Мия завела речь о прибавке с менеджером кафе. – Я бы рад, милая, – ответил тот, – но платить больше я вам, девочки, не могу – разве что цены повышать и терять клиентов.

Менеджер “Дик Блик” сказал то же самое, и после этого Мия не стала даже спрашивать владельца бара. Неделю она снова и снова уклонялась от приглашений Полин на ужин; Мэл, да и, наверное, сама Полин мигом заметят ее состояние. Вместо обычного воскресного визита обошлась запиской – мол, желудочный грипп, придется остаться дома. Неделю только и думала, что о плате за обучение – и о Райанах. Засветила целую пленку, вытащив ее из проявочного бачка при свете, – никогда такого не бывало. В кафе уронила тарелку с яичницей, об осколок порезала палец, посмотрела, как на белый фарфор струйкой сочится кровь. С утра до ночи снова и снова ладонью оглаживала плоскую равнину живота, будто надеялась нащупать внутри источник ясности.

Как-то днем в перерыве Мия достала из кармана визитку Джозефа Райана – ту, что он выдал ей в первый день, – и направилась к подземке. Может, он мошенник. Откуда Мие знать, что эти Райаны сдержат слово и заплатят, что их вообще зовут Райаны? Но адрес на визитке и в самом деле привел ее к мерцающему стеклянному зданию “Дикман, Стросс и Тэннер” на Уолл-стрит. Мия помялась перед стеклянным вестибюлем, посмотрела, как в стекле заплывают и уплывают отражения прохожих на тротуаре, посмотрела на тени людей внутри. А затем толкнула крутящуюся дверь и направилась к телефонным кабинкам, окаймлявшим вестибюль. Скорила телефону десять центов и набрала номер с визитки. Спустя миг ей ответил женский голос.

– “Дикман, Стросс и Тэннер”, – сказали ей. – Офис Джозефа Райана. Чем могу помочь?

Мия повесила трубку и взвалила на колени телефонную книгу. На Манхэттене значилось шесть Джозефов Райанов, но на Риверсайд-

драйв – ни одного. Она отпустила телефонную книгу дальше болтаться на цепочке и выудила из кармана еще десять центов. На сей раз позвонила в справочную, где ей сообщили адрес. Уже почти пора было ехать в бар, но Мия все равно села на поезд к северу и очутилась перед довоенным домом красного кирпича, с черным навесом и швейцаром. Те, кто жил здесь, безусловно заплатят десять тысяч долларов за ребенка.

Назавтра, когда Мэделин вышла из дома, Мия двинулась за ней. Следила час: до самой 86-й улицы, и по району, и обратно домой. Видела, как Мэделин кивнула швейцару, когда он распахнул ей дверь, как задержалась на тротуаре, обернулась и что-то ему сказала, а он заулыбался, как она похлопала его по руке и пошла своей дорогой. Как замедляла шаг, встречая женщин с детскими колясками, как улыбалась малышам в колясках – и веселым, и расстроенным, и спящим, – как улыбалась и здоровалась с женщинами, спрашивала, как дела, болтала о погоде, хотя – Мия видела – в глазах у нее полыхал нутряной голод. Как Мэделин бросалась распахивать дверь перед этими женщинами, даже няньками, что везли в колясках явно не своих белокожих детей, и придерживала дверь, пока женщина с ребенком не исчезала в глубине продуктового, или кафе, или пекарни, а затем медленно, с задумчивым, почти скорбным лицом отпускала. Когда мимо процокала очередная мать – встрепанная, на каблуках, – Мэделин Райан подняла соску, выброшенную из коляски, и бегом кинулась следом. Мия прежде не замечала, сколько же на свете младенцев: они повсюду, город ими прямо кишел, улицы кипели беззастенчивой плодовитостью, и жалость к Мэделин Райан пробивала Мию до печенок. Мэделин Райан зашла в цветочный киоск и купила букет пионов в зеленой бумаге – бутоны не распустились, тугие, как крепкие кулачки. Мэделин Райан зашагала домой; пусть идет.

В итоге Мия сказала себе, что математику не переспоришь. Денег Райанов хватит на три семестра. Мия выиграет время и успеет заработать на остаток. Если согласится – сможет продолжать. Не согласится – не сможет. Если так ставить вопрос, выбор очевиден. И она сделает им доброе дело. Они хорошие, искренние люди, видно же. Как отчаянно они хотят ребенка, думала Мия. Она в силах им помочь. Она поможет. Так она твердила себе снова и снова, а потом сняла телефонную трубку и набрала их номер.

* * *

Три недели спустя она выходила от гинеколога с бумагой, удостоверявшей ее доброе здоровье, полную свободу от заразных заболеваний и правильное анатомическое строение.

– С такими бедрами только и рожать, – пошутил гинеколог, когда она снимала ноги со стремян. – Все у вас прекрасно. Если хотите забеременеть, проблем быть не должно.

Спустя еще неделю она подала заявление на годичный академический отпуск. А затем, когда начался апрель, а занятия пошли на спад, Мия очутилась в гостевой комнате изысканной квартиры Райанов. Мэделин купила ей роскошный розовый махровый халат.

– Турецкий хлопок, – сказала Мэделин, выложив халат на постель вместе со шлепанцами. – Мы хотим, чтобы вам было удобно.

На кровать постелили свежие белые простыни, будто Мия – желанная гостя. За окном на Гудзоне поблескивало солнце. Дальше по коридору, знала Мия, Джозеф занят у себя в спальне – готовится.

Тихонько постучали, и Мия плотнее запахнула халат. Ее одежда аккуратной стопкой лежала на кресле в углу. Мэделин снова постучала и открыла дверь.

– Готовы? – спросила она.

Мэделин принесла деревянный поднос на ножках – накрытая чайная чашка и спринцовка с ярко-желтой грушей. Поставила все это на тумбочку, а затем неуклюже опустилась на колени, обхватила Мию руками и прошептала:

– Спасибо.

Когда Мэделин ушла, Мия глубоко вздохнула. Уверена? Она взяла спринцовку; теплая. Мэделин, наверное, сполоснула ее в горячей воде, согрела, и от этого крохотного великодушного жеста у Мии навернулись слезы. Она сняла крышку с чашки, распустила пояс халата и легла на кровать.

Спустя полчаса (“Надо держать ноги повыше минимум двадцать минут, – объяснила Мэделин, – чтобы повысить шансы зачатия”) Мия вышла; Мэделин и Джозеф сидели в гостиной, держась за руки. Мия переделась в свое, но когда они разом подняли головы – устремили на

нее распахнутые глаза, словно испуганные дети, – ей вдруг почудилось, что она голая.

– Готово, – сказала она и похлопала по поясу джинсов.

Мэделин текуче поднялась с дивана и обеими руками сжала ее ладонь.

– Не могу описать, как мы вам благодарны, – сказала она. – Будем надеяться, что получилось. – Она возложила руки Мие на живот, точно благословляя, и мускулы у Мии затвердели, напряглись. – Я вызову машину... Джои вас отвезет, – сказала Мэделин, а затем: – Конечно, мы понимаем, что пытаться нужно не раз. Тут требуется упорство – всем нам. До послезавтра?

Мия подумала про поднос, что так и стоял в гостевой; вообразила, как Мэделин споласкивает спринцовку и чашку в кухонной раковине, готовит к следующему заходу.

– Конечно, – сказала Мия. – Конечно.

Всю дорогу до Виллидж она молчала, а Джозеф Райан щебетал о том, как они с Мэделин познакомились, и где он вырос, и какую жизнь они планируют для своего ребенка.

Так оно и шло все лето. Гинеколог дал Мие табличку – планировать самые фертильные дни, – и в эту неделю она приходила к Райанам через день. Потом еще неделю наблюдала за собой – ждала сигналов. Всякий раз ныла спина, болела голова, сводило живот, но затем – ну естественно – никакого ребенка.

– Это все не сразу, – сказала Мэделин, когда к концу подходил июль. Четыре месяца – и ничего. – Мы всегда это знали. Сразу не бывает.

Но Мия тревожилась. Они подписали договор: если беременность не наступит спустя полгода, Райаны могли все отменить. Мия оставила за собой работу в кафе, и в баре, и в художественном магазине – и увиливала от вопросов других студентов, что вернулись с каникул, закупали расходники к следующему семестру, удивлялись, отчего она не возвращается в колледж.

– Взяла академ на год, зарабатываю, – отвечала она, и не врал, и то же самое сказала Полин и Мэл, когда они тактично намекнули, что могут помочь ссудой, которую Мие гордость не позволила принять. Но еще она знала, что если ребенок не родится, она ничего не получит, год пройдет впустую и ее академ, вероятно, затянется навсегда.

А потом, в сентябре, она все ждала. Ждала – и дождалась. Крови нет. Живот не болит. Лишь мучительная усталость, всепоглощающее желание заползти в постель и зарыться под одеяло, как кошка. Мэделин чуть не заплясала от восторга, когда спустя два дня Мия приехала к ней в таком состоянии. Мэделин укутала ее в свое пальто, словно Мия и сама ребенок, погнала в лифт, а потом в такси до аптеки на Бродвее. Из непонятной выставки коробок с самоуверенными названиями – “Предсказатель”, “Факт”, “Аккурат-Тест” – выбрала одну и сунула Мие в руки.

Тест оказался непрост. Стеклопипетка, специальный держатель, зеркало под углом. Мия наносит несколько капель мочи и ждет час. Если появится темное кольцо – значит, беременна. Они с Мэделин сорок пять минут молча просидели бок о бок на краю ванны, а потом Мэделин схватила Мию за руку.

– Смотрите, – прошептала она, склонившись к туалетному столику, и в зеркальце Мия увидела, как медленно проступает яблочко мишени металлического цвета.

* * *

Дальше все менялось стремительно. Соседки Мии ничего не замечали, пока ее не начало тошнить по утрам в ванной.

– Хорошо устроилась, – сказала одна.

А другая:

– Я бы и за миллион баксов на такое не согласилась.

Шли недели. Райаны переселили ее в маленькую студию в тихом доме без лифта неподалеку от Уэст-Энд-авеню.

– Мы ее обычно сдаем, но жильцы только что съехали, – сказала Мэделин. – Вам тут будет потише. Места побольше. Народу вокруг поменьше. И вы будете гораздо ближе к нам, когда все начнется.

Мия ушла из художественного магазина – у нее уже округлялся живот, – но две другие работы сохранила, хотя не развеивала впечатление Райанов, будто она больше не работает. После каждого визита к врачу приходила к ним с новостями; когда одежда становилась ей мала, Райаны дарили новую.

– Я тут увидела платье, – говорила Мэделин и протягивала Мие тканую магазинную сумку с цветастым платьем для беременных. – Я подумала, вам пойдет идеально.

Мэделин, понимала Мия, покупает платья для беременных, которые купила бы себе, – и Мия улыбалась, и принимала подарок, и надевала платье, направляясь к Райанам в следующий раз.

Родителям она не обмолвилась ни словом; перед Рождеством сказала только, что домой не приедет. Слишком дорого, объяснила она, зная, что они ни за что не спросят про учебу, если сама не заговорит, – и они не спросили. Но в конце января она все-таки выложила правду Уоррену.

– Ты больше совсем не рассказываешь про колледж, – как-то вечером заметил он ей по телефону.

Мия носила ребенка уже пять месяцев, могла бы все скрыть – как бы Уоррен узнал? – но неприятно было от него таиться.

– Ворон, обещаю, что маме с папой не скажешь, – начала она и вдохнула поглубже.

После в телефоне повисло долгое молчание.

– Мия, – сказал он, и она поняла, что брат серьезен: он никогда не называл ее полным именем. – У меня в голове не укладывается, что ты на это согласилась.

– Я все продумала. – Мия положила ладонь на живот – в последнее время там завелось слабое трепетание. *Живчик*, говорила Мэделин, кладя руки на кожу Мии, – старомодное слово приводило на ум живость ртуты, гибкую рыбку, что бьется внутри. – Они очень хорошие люди. Добрые. Я их выручаю, Ворон. Они так хотят ребенка. И они меня тоже выручают. Они столько для меня сделали.

– А ты не думала, каково будет этого ребенка отдавать? – спросил Уоррен. – Я бы вряд ли смог.

– Так его и рожать не тебе, правда?

– А ты не огрызайся, – сказал Уоррен. – Если б ты меня спросила, я бы тебя отговорил.

– Только маме с папой не рассказывай, – повторила Мия.

– Не буду, – после паузы ответил он. – Но тебе скажу вот что. Я этому ребенку дядя, и мне все это не нравится.

Она не припоминала его в таком гневе – во всяком случае, в таком гневе на нее.

После этого они с Уорреном некоторое время не разговаривали. Каждую неделю Мия думала ему позвонить и решала, что не стоит. Зачем звонить и опять препираться, рассуждала она. Еще несколько месяцев, и ребенок родится, она вернется к прежней жизни, и все станет по-прежнему.

– Не привязывайся, – говорила она своему животу, когда ребенок пинал ее пяткой. И даже тогда не знала наверняка, кому это говорит – ребенку, животу, себе.

Мия с Уорреном все еще не разговаривали, когда очень рано поутру позвонила мать и рассказала про несчастный случай.

* * *

Было снежно – это Мия поняла. Уоррен и Томми Флаэрти поздно возвращались домой – мать не сказала откуда – и слишком быстро свернули, и “бьюик” Томми пошел юзом, а потом перевернулся. Мия не запомнит подробностей: что крышу вдавило внутрь, что спасателям пришлось резать “бьюик”, как жестяную банку, что ни Уоррен, ни Томми не пристегивались. Она не вспомнит – по крайней мере, не сразу – про Томми Флаэрти на больничной койке, с пробитым легким, сотрясением мозга и семью переломами, хотя Томми жил от них по соседству, выше по холму, хотя Томми с Уорреном дружили годами, хотя Томми когда-то был в нее влюблен. Мия запомнит только, что Уоррен был за рулем, а теперь умер.

Билет на самолет стоил как самолет, но невыносима была мысль ждать лишние несколько часов. Мие хотелось, чтоб ее окутал дом, где они с Уорреном росли, и играли, и спорили, и строили планы, где Уоррен больше ее не ждет, куда он больше не войдет никогда. Хотелось пасть на колени у холодной обочины – там, где он умер. Хотелось увидеть родителей, не сидеть одиноко в кошмарном онемении, что грозило поглотить ее с головой.

Но когда она приехала на такси из аэропорта, и вышла, и перешагнула порог, родители застыли, сверля глазами холм ее живота, который так раздулся, что уже не застегивалась молния на пальто. Рука Мии легла на талию, будто ладонь могла заслонить то, что росло внутри.

– Мам, – сказала Мия. – Пап. Вы не то подумали. Долгая тишина серой лентой распустилась в кухне.

Мие показалось – на долгие-долгие часы.

– Расскажи мне, – в конце концов произнесла мать. – Расскажи нам, что мы подумали.

– Ну то есть. – Мия опустила взгляд на живот, точно и сама растерялась, его обнаружив. – Это не мой ребенок. – Ребенок в животе яростно дрыгнул ногой.

– Что значит – не *твой* ребенок? – переспросила мать. – Как это может быть не твой ребенок?

– Я суррогатная мать. Я его ношу для одной пары. И Мия принялась объяснять: про Райанов, и какие они добрые, и как хотят ребенка, и как будут счастливы. Напирала на то, как сильно им поможет, будто вся история – чистой воды альтруизм, благотворительность, как волонтерить в столовке для бедных или взять собаку из приюта. Но мать мигом все поняла.

– Эти Райаны, – сказала она. – Я так понимаю, ты им помогаешь только по доброте душевной?

– Нет, – признала Мия. – Они мне заплатят. Когда ребенок родится.

Лишь сейчас она заметила, что так и не сняла шарф и шапку. С подошв сапог на кремовый линолеум натекла мелкая лужица серой жижи.

Мать развернулась и направилась к двери.

– Это я сейчас не могу, – сказала она; голос ее затихал – она шла через гостиную. – Не сейчас. – У подножия лестницы она остановилась, зашипела – и ее злоба потрясла Мию: – Твой брат умер – *умер*, ты это понимаешь? – а ты являешься домой в таком виде? – И по лестнице загрохотали шаги.

Мия глянула на отца. Вот так же бывало в детстве, когда Мия что-нибудь ломала, или портила, или тратила на пленку деньги, которые мать давала на одежду: в такие минуты мать бесилась, и кричала, и убегала к себе, оставляя Мию с отцом, а тот сжимал ей руку, и обоих омывала молочная тишина, а потом отец тихонько говорил: “Купи новый” или: “Погоди час, потом сходи и извинись”, а порой просто: “Исправляй”. Так они всегда ругались. Но на сей раз отец не взял ее за

руку. Не сказал: “Исправляй”. Он лишь смотрел на ее живот, будто ему невыносимо смотреть ей в лицо. Глаза влажные, зубы стиснуты.

– Пап? – наконец сказала Мия. Лучше крики, чем это затянувшееся молчание острее ножа.

– У меня в голове не укладывается, что ты продаешь своего ребенка, – сказал он и тоже вышел.

* * *

Они не велели ей уехать, но не заговорили с ней, даже когда она повесила пальто в шкафу в прихожей, поставила сумку в своей прежней спальне. За ужином она сидела на своем прежнем месте за столом, и мать поставила перед ней тарелку, положила вилку, а отец передал запеканку, которую принес кто-то из соседей, но оба не сказали Мие ни слова, а когда она задавала вопросы – когда похороны? а они видели Уоррена? – отвечали как можно короче. Наконец Мия сдалась и принялась накручивать на вилку лапшу с тунцом. В холодильнике стоял целый штабель запеканок – косая башня завернутых в мятую фольгу жаропрочных стеклянных сотейников. Будто никто не знал, как себя вести перед лицом такой трагедии, только и мог состряпать тяжелейшее, сытнейшее, прозаичнейшее на свете блюдо – поплотнее, чтобы скорбящим было за что цепляться. Никто ни словом не помянул и даже не посмотрел на пустой стул Уоррена у окна.

Всё решили без нее – какие цветы, какая музыка, в какой гроб положить Уоррена (ореховый с синей шелковой обивкой). Тактично посоветовали Мие не выходить из дома – она, наверное, устала, сказали они, не хватало еще поскользнуться на льду, – но она поняла: они не хотели, чтоб ее увидели соседи. Когда Мия выбрала Уоррену рубашку и галстук – те, что он всегда выбирал, если его заставляли наряжаться, – мать выбрала другие, белую рубашку и галстук в красную полоску, которые купила ему, когда он перешел в старшие классы; Уоррен говорил, что похож в них на биржевого маклера, и не надевал их никогда. Оба ни словом не обмолвились ни об интересном положении дочери, ни о ее тяжелых обстоятельствах. Но когда они сказали, что на похоронах ей лучше не появляться – “Не хотелось бы,

чтоб у кого-то сложилось ложное впечатление”, как выразилась мать, – Мия сдалась. Вечером накануне похорон собрала вещи. Из глубин гардероба выволокла старый вещмешок, взяла стеганое покрывало с кровати, несколько старых одеял. А потом на цыпочках прокралась через коридор в спальню Уоррена.

Постель его стояла разворошенная; интересно, заправит ее мать или просто оголит матрас, оголит комнату, все закрасит белым и притворится, будто здесь ничего и не было? Что они сделают с вещами Уоррена? Раздадут? Сложат в ящики на чердаке – плесневеть, и блекнуть, и стареть? На пробковой доске висела фотография, которую Мия подавала с документами в колледж: выщарапанные силуэты – они вдвоем, дети, карабкаются на гору шлака. Мия отцепила фотографию и тоже упаковала. А потом на столе нашла то, что искала: ключи от машины Уоррена.

Родители спали; мать по вечерам пила снотворное, успокаивала нервы, и щель под дверью их спальни была темна. “Кролик” завелся, гортанно заворчав. «“Порше” мурлычет, – как-то раз сказал Мие Уоррен, – а “фольксваген” как бы тарыхтит”. Чтобы доставать до сцепления, пришлось сдвинуть сиденье вперед до упора: ноги у Уоррена всегда были длиннее. Мия переключила передачу, нащупала задний ход, и потемневший дом растворился в свете ее фар, а машина попятилась с дорожки.

Она ехала всю ночь и добралась до Верхнего Уэст-Сайда на рассвете. Ей раньше не приходилось парковаться на Манхэттене, и она десять минут кружила, пока не втиснулась на стоянку на 72-й улице. У себя в квартире она опустилась на чужую кровать и завернулась в лоскутное одеяло. Она знала: в следующий раз ей не скоро удастся поспать в такой удобной постели. Когда проснулась, предвечернее солнце уже опускалось за Гудзон, а Мие предстояла работа. В мешок отправилось только то, что она принесла с собой, только то, что взаправду ее: слишком узкая одежда, груда разноцветных свободных платьев из “Гудвилла”, несколько старых стеганых одеял, какие-то потертые простыни, горсть столовых приборов. Коробка с негативами и фотоаппараты. Модные платья для беременных, купленные Райанами, она аккуратно сложила и убрала в бумажный продуктовый пакет.

Закончив, села, взяла ручку и лист бумаги. Всю долгую дорогу из Питтсбурга она думала, что сказать Райанам, и в конце концов решила соврать. “Нелегко это говорить, а иначе не получается, – написала она. – Я потеряла ребенка. Мне ужасно стыдно и ужасно жаль. По нашему уговору вы мне ничего не должны, но мне кажется, что я должна вам. Здесь деньги – возвращаю вам плату за врача. Надеюсь, этого хватит – больше я отдать не могу”. Записку она положила поверх пачки купюр – девятисот долларов, отложенных с жалованья. Потом запихала их в грудь платяев в пакете.

Обычный швейцар в тот вечер не работал, а поскольку Мия прижимала к себе пальто, ночной швейцар, кажется, не заметил ее живота. Взял посылку для Райанов, ни разу не глянув Мие в лицо, и она зашагала назад к “кролику”, припаркованному за несколько кварталов от дома. Ребенок в животе разок брыкнул ногой и перевернулся, будто устраиваясь на ночь.

Она снова ехала до зари, через Нью-Джерси и Пенсильванию, и в темноте за окном отщелкивали мили дороги. Когда занялся рассвет, Мия свернула с шоссе за Эри и катила, пока не отыскала тихую сельскую грунтовку. Припарковавшись подальше от обочины, она заперла все двери, перебралась на заднее сиденье и завернулась в свое детское покрывало. Ждала, что оно пахнет стиральным порошком, как дома, и приготовилась к натиску ностальгии. Но покрывало весь последний год пролежало на ее кровати нетронутым и не пахло ничем – ни пылью, ни чистотой, вообще без запаха, и Мия, натянув его на голову от солнца, уснула.

Она ехала всю неделю, как в лихорадке: гнала, пока ее не тормозило изнеможение, спала, пока не отдохнет и не сможет ехать дальше, плевала на часы, на свет и темноту, день за днем. Иногда останавливалась в каком-нибудь городке, покупала хлеб, арахисовое масло, яблоки, наполняла водой из фонтана галлоновую канистру, стоявшую на пассажирском сиденье. В своих пожитках она попрятала две тысячи долларов, что откладывала с жалованья и чаевых с самого приезда в Нью-Йорк: в коробке с негативами, в бардачке, в правой чашке лифчика. Огайо, Иллинойс, Небраска. Невада. А потом вдруг – кипящий вихрь Сан-Франциско, и Тихий океан заворочал перед нею серо-голубым и белым, и дальше ехать стало некуда.

Что еще тут рассказать? Мия нашла жилье – комнату на Сансет, в доме, где штукатурка была цвета морской соли; суровая престарелая домовладелица воззрилась на ее живот и только спросила:

– А через неделю-другую ко мне постучится взбешенный муж?

Последний триместр беременности Мия гуляла по городу, вдоль лагуны в парке Золотые Ворота, взбиралась на башню Койт, как-то раз переходила по мосту Золотые Ворота в таком густом тумане, что слышала, но не видела, как мимо проносятся машины. Туман так точно отражал состояние ее ума, что ей мерещилось, будто она гуляет в собственном мозгу, в дымке бесформенной всепроникающей эмоции – никак не уловить, но в глубинах маячат мысли, что пугают, являясь из ниоткуда, и растворяются в белизне, не успевает она понять, что это было. Домовладелица миссис Дилейни никогда не улыбалась, встречаясь с Мией в коридоре или сталкиваясь на кухне, но шли недели, и Мия нередко приходила домой и обнаруживала в духовке тарелку, а на столешнице записку: “У меня тут осталось. Неохота выбрасывать”.

Когда родилась Пёрл – не по сезону теплым майским днем, в больнице, роды длились четырнадцать часов, – Мия взяла у медсестры карточку регистрации рождения. Мия уже не первый месяц думала, как назвать этого ребенка, мысленно прочесывала толпы знакомых людей, книжки, прочитанные в школе. Ничто не подходило, пока она не вспомнила “Алую букву”^[50], и нужное имя пришло мигом: *Пёрл*. Округлое, простое, цельное, как звон колокольчика. И, разумеется, она рождена в тяжелых обстоятельствах. Рядом, в графе “Имя матери”, она аккуратно вывела: МИЯ УОРРЕН.

А потом потянулась в кроватку возле койки и взяла дочь на руки.

В первую ночь в съемной комнате Пёрл все плакала и плакала, пока не заплакала и Мия. Она думала: может, там, в Нью-Йорке, Райаны в своей блистающей квартире еще не спят – что они ответят, если снять телефонную трубку и сказать: я солгала. Ребенок родился. Приезжайте, забирайте. Прилетят первым же рейсом, понимала она, прибегут к ней под дверь, готовые умчать Пёрл прочь. Мия сама не поняла, сокрушительна эта мысль, или соблазнительна, или то и

другое, и они с Пёрл взвыли дуэтом. Тут в дверь тихонько постучали, появилась строгая миссис Дилейни и протянула руки.

– Дай сюда, – сказала она таким непререкаемым тоном, что Мия, ни на миг не задумавшись, отдала ей мягкий сверток. – А ты ляг и отдохни, – велела миссис Дилейни, уже закрывая за собой дверь, и во внезапной тишине Мия хлопнулась на постель и мгновенно заснула.

Затем проснулась и, жмурясь сквозь марево, вышла на кухню, а оттуда в гостиную, где миссис Дилейни сидела в круге лампового света и качала спящую Пёрл.

– Отдохнула? – спросила миссис Дилейни, а когда Мия кивнула, сказала: – Хорошо, – и уложила ребенка Мие на руки. – Она твоя, – прибавила миссис Дилейни. – Позаботься о ней.

Еще несколько недель Мия провела в тумане, но что-то уже менялось. Миссис Дилейни больше ни разу не приходила забрать Пёрл, как бы та ни голосила, но вечерами стучалась в дверь с тарелкой супа, сырным сэндвичем, куском мясного рулета. Остатки, неизменно заявляла она, но Мия узнавала подарок в подарке и понимала, что хочет сказать миссис Дилейни, когда та сопровождала свои подношения ворчливым “В четверг платить за комнату” или “Не таскай грязь в коридор”.

Пёрл минуло три недели – личико по-прежнему стариковское, сплюснутое, – туман только-только начал рассеиваться, и тут позвонила Мэл.

Обустроившись, Мия разок написала Полин и Мэл – сообщила новый адрес и телефон. “У меня все хорошо, – поясняла она, – но в Нью-Йорк я не вернусь. Если понадобится, я здесь”. И теперь она понадобилась Мэл. Несколько недель назад у Полин начались головные боли. Странные симптомы.

– Ауры, – сказала Мэл. – Сказала, что я похожа на ангела и вокруг меня сияние.

Томография обнаружила у Полин в мозгу опухоль размером с мячик для гольфа.

– Я думаю, – произнесла Мэл после долгой паузы, – если ты хочешь с ней увидеться, тебе, наверное, стоит приехать срочно.

Вечером Мия купила билет на самолет – второй раз в жизни. Это сожрало почти все ее сбережения, но на автобусе через всю страну – это не один день. Слишком долго. Она явилась в квартиру Полин и

Мэл с рюкзаком на плече и Пёрл на руках. Полин, похудевшая на двадцать фунтов, как будто сгустилась – вся съежилась, вся свелась к самой сути.

Они провели вместе полдня, Мэл и Полин ворковали над ребенком, и Мия осталась у них ночевать в первый и последний раз, в гостевой комнате, с Пёрл под боком. Утром она проснулась рано, кормила Пёрл на диване в гостиной, и тут вошла Полин.

– Замри, – сказала она. Глаза ее горели почти лихорадочно, и Мие хотелось вскочить и заключить ее в объятия. Но Полин замахала руками – сиди, мол, – и поднесла к глазу камеру. – Прошу тебя, – сказала она. – Я хочу снять вас обеих.

Потратила целую пленку, снимала и снимала, а потом вышла Мэл с чайником чаю и шалью Полин на плечи, и Полин убрала камеру. К вечеру, когда Мия с Пёрл села в самолет обратно в Сан-Франциско, она уже напрочь забыла про эти снимки.

– Делай, что должна, – сказала Полин, обнимая Мию на прощанье. И впервые поцеловала Мию в щеку. – Я от тебя ожидаю великих свершений.

Она говорила в настоящем времени, словно это обычное прощание, словно она уверенно рассчитывает десятилетиями наблюдать за развитием Мииной карьеры, – и голос застрял у Мии в горле. Она притянула Полин ближе и вдохнула ее запах, ее особый аромат лаванды и эвкалипта, и отвернулась, пока та не заметила ее слез.

Спустя полторы недели Мэл позвонила снова – Мия знала, что этот звонок грянет. Одиннадцать дней, думала она. Мия знала, что все случится быстро, но не верилось, что еще одиннадцать дней назад Полин была жива. Все еще тепло, все еще июнь. Даже страница на календаре не перелистнулась. А спустя еще несколько недель пришла бандероль. “Это она отобрала для тебя”, – значилось в записке угловатым почерком Мэл. Внутри лежал десяток отпечатков, восемь на десять, черно-белые, и все они сияли, будто подсвеченные сзади, – уникальное свойство всех работ Полин. Мия баюкает Пёрл. Мия поднимает Пёрл высоко над головой. Мия кормит Пёрл, складка блузки едва скрывает бледную округлость груди. На обороте каждого снимка – безошибочно узнаваемый автограф Полин. И записка, скрепкой прицепленная к визитке: “Анита их продаст, если тебе

понадобятся деньги. Когда будешь готова, посылай свои работы ей. Я ее предупредила – она будет ждать. П.”

После этого Мия вновь начала фотографировать – с жаром, почти с облегчением. Она снова гуляла по городу, порой часами, примостив Пёрл на спине в слинге из старой шелковой блузки. Ее сбережения почти подошли к концу, каждая пленка на вес золота, и работала Мия осторожно, снова и снова кадрировала в уме, прежде чем спустить затвор. При каждом щелчке затвора думала о Полин. Когда настало лето, у нее набралось семь фотографий, и Мия сочла, что в них есть, как выражалась Полин, *нечто*.

Анита не вполне разделила ее мнение. *Многообещающе*, отозвалась она. *Но пока нет. Рискуй больше*. В ответ на это Мия отослала ей первую фотографию Полин. *Тогда мне нужно больше времени*, написала она. *Добудь мне за это как можно больше времени. Никому не говори, кто я*. После бурного аукциона Анита добыла Мие два года времени, даже после пятидесятипроцентной комиссии. (И из этого времени Мия выжмет все до капли; пройдет еще пятнадцать лет, прежде чем, увидев больничный счет за пневмонию Пёрл, она продаст следующую фотографию Полин.) Не прошло и года, Мия отослала Аните еще серию отпечатков – хронику медленного распада: мертвого тополя, дома под снос, ржавеющего автомобиля, – которую Анита готова была продавать.

– Поздравляю, – сказала она Мие, позвонив месяцем позже. – Продала одну, с машиной. Четыреста долларов. Немного, но какое-никакое начало.

Мия решила, что это знак. Уже некоторое время ей грезилась пустыни, кактусы и распахнутые красные небеса. В голове складывались новые образы.

– Я позвоню через неделю-две, – ответила она, – и скажу, куда перевести деньги.

Из окна гостиной миссис Дилейни смотрела, как Мия складывает вещи в багажник “кролика”, поплотнее запикивает корзинку Пёрл вниз, под пассажирское сиденье. Мия сняла ключ с кольца, отдала домовладелице, и та изумила ее, весьма для себя нехарактерно заключив в объятия.

– Я тебе про дочку свою никогда не рассказывала, да, – севшим голосом пробормотала миссис Дилейни, и, не успела Мия ответить,

забрала ключ, и взбежала на парадное крыльцо, и за ней с лязгом захлопнулась металлическая калитка.

Мия раздумывала об этом всю долгую дорогу, до самых окраин Прово, где решила остановиться, – для них с Пёрл то была первая в череде многочисленных стоянок за многие годы. Всю дорогу Пёрл гулила рядом в корзинке, словно даже в столь юном возрасте не сомневалась, что впереди их ждут великие и важные дела, словно сквозь время и всю страну видела, что им предстоит.

Само собой, миссис Ричардсон узнать все это было неоткуда. Ей достались только ключевые детали истории Райтов: явилась Мия с животом, заявила, что она суррогатная мать, носит ребенка для каких-то Райанов, – имен Райты не вспомнили. – Джейми, Джонни, что-то такое, – сказал мистер Райт. – Она говорила, он с Уолл-стрит. И денег куры не клюют.

– Я не очень-то поверила, – призналась миссис Райт. – Я думала, она попала в беду, а нам врет. Но потом позвонил этот адвокат.

Спустя несколько недель после отъезда Мии Райтам звонил адвокат – спрашивал, не знают ли они, как с ней связаться.

– Прислал визитку, – вспомнила миссис Райт. – На случай, если она сообщит адрес. Но от нее с тех пор ни слуху ни духу. – И она снова промокнула глаза платочком.

Порывшись там и сям, миссис Райт отыскала визитку адвоката, и миссис Ричардсон списала адрес. *Томас Райли, юридическая компания “Райли и Шварц, партнеры”*. Телефонный код 212, манхэттенский, контора на 53-й улице. Миссис Ричардсон поблагодарила Райтов и смущенно отказалась, когда миссис Райт взялась совать еще печенье. Райты предложили ей фотографии Уоррена в футбольной форме – может, сказали, газета захочет проиллюстрировать статью.

– Вы, главное, верните, – прибавила миссис Райт. – Это у нас единственные экземпляры.

Угрызения совести пауком царапались в горле у миссис Ричардсон. Вроде приятные люди эти Райты – приятные люди, которые многое пережили, приятные люди, которые могли жить по соседству с ней в Шейкер-Хайтс.

– Если газете понадобятся фотографии, я вам сообщу, – сказала она.

Хотя бы это правда, договорила она про себя.

– Вам столько пришлось пережить. Я вам так соболезную, – сказала она уже в дверях и не покривила душой. Потом замялась. – Если б вы узнали, где ваша дочь, вы бы захотели с ней связаться?

– Может быть, – сказала миссис Райт. – Мы подумывали нанять детектива, знаете, поискать ее – вдруг что и всплыло бы. Но мы

считаем, если б она захотела найтись, проявилась бы сама. У нас телефон не менялся с ее рождения. Она, наверное, думает, что мы на нее еще сердимся.

– А на самом деле? – не удержалась миссис Ричардсон, и ни мистер Райт, ни миссис Райт ей не ответили.

* * *

Телефон юридической компании – шестнадцатилетней давности, но миссис Ричардсон решила, что попробовать стоит. Позвонила из гостиницы и, к невероятному ее облегчению, секретарша сняла трубку почти мгновенно.

– “Райли, Шварц и Хендерсон”, – сказала она.

– Здравствуйте, – начала миссис Ричардсон. – Я звоню по делу, над которым много лет назад работал мистер Райли. – В краткой паузе она быстро поразмыслила. – У меня есть информация – мой клиент считает, она может вам пригодиться. Но, прежде чем я ее сообщу, я хочу удостовериться, что мистер Райли до сих пор представляет Райанов. Информация, как вы понимаете, деликатного свойства.

Секретарша помолчала.

– О каком деле, вы сказали, речь?

– Райаны. У меня информация о некоей Мие Райт. В трубке послышался скрежет ящика и шелест папок. Миссис Ричардсон затаила дыхание.

– Да, вот. Джозеф и Мэделин Райан. Да, мистер Райли по-прежнему числится их адвокатом, но... – пауза, – эту папку уже давно не открывали. Мистер Райли сейчас в офисе, я могу вас переключить. Как, вы сказали, вас зовут?

Миссис Ричардсон бросила трубку. Сердце колотилось как бешеное. Сосредоточенно подумав еще несколько минут, она открыла записную книжку и позвонила другу Майклу из “Нью-Йорк таймс”. Они познакомились в колледже, вместе работали над “Денисонцем”, и хотя Майкл перескочил оттуда в “Стэм-фордского адвоката”, а вскоре и в новостную редакцию “Таймс”, а миссис Ричардсон вернулась домой и ограничилась местными масштабами, они продолжали общаться. Некогда – она почти не сомневалась – Майкл был в нее влюблен, хотя

ничего не говорил, а теперь оба уже давным-давно обзавелись семьями. Недавно его номинировали на Пулитцера, но он проиграл какому-то репортеру из “Ассошиэйтед Пресс”, писавшему об убийствах в Руанде.

– Майкл, – сказала миссис Ричардсон. – Сделай одолжение, а?

Спустя неделю Майкл перезвонит и подтвердит то, что она подозревала и так: посредством журналистской ловкости рук, доступной лишь ему одному, он умудрится отыскать больничные счета Мии Райт за 1981 год, из Святой Елизаветы на Центральном Манхэттене. Счета оплачивал Джозеф Райан, они иссякли в феврале 1982-го, под конец шестого месяца беременности, и если у миссис Ричардсон были сомнения насчет происхождения Пёрл, они испарятся без следа. Она задумается, что делать с этими сведениями – надо ли что-то делать. Бедные Райаны до того отчаянно хотели ребенка, что пошли на такое. Уж я-то кое-что в этом понимаю, думала миссис Ричардсон, вспоминая Линду Маккалла. Но в ней шевелилось и сочувствие к Мие, новое и нежданное: как это, должно быть, мучительно – воображать, что отдаешь своего ребенка.

А что бы сделала миссис Ричардсон на месте Мии? Этот вопрос она задавала себе снова и снова, до звонка Майкла и еще неделями – месяцами даже – после. Всякий раз, сталкиваясь с этим невозможным выбором, она приходила к одному и тому же выводу. *Я бы никогда не угодила в такое положение*, говорила она себе. *Я бы с самого начала вела себя мудрее.*

До поры до времени она спрятала свои записи в папку, конспиративно помеченную “М. У.”. Завтра она возвращается домой.

* * *

По дороге из клиники Лекси никак не удавалось переварить, что с ней происходит, что произошло. Ноги, тело уверенно двигались вперед, а голова плыла за ними заторможенным воздушным шариком. Она была беременна, а теперь нет. В ней было живое, а теперь нет. Где-то глубоко в животе неотчетливо болело, теплая влажная струйка сочилась в толстую прокладку, которую выдала медсестра. Еще пачка прокладок лежала в сумке вместе с флаконом ибупрофена.

– Тебе понадобится, когда анестезия отойдет, – сказала медсестра.

Пёрл взяла Лекси под руку:

– Ты как?

Лекси кивнула; стоянка закружилась и скособочилась. Лекси покачнулась, и Пёрл ее подхватила:

– Так. Давай. Почти дошли.

По плану Пёрл должна была отвезти Лекси домой. Мать Лекси вернется только завтра под вечер, а к тому времени, думала Лекси, она уже придет в себя, сможет притвориться, будто ничего и не было. Но когда Пёрл подвела Лекси к пассажирскому сиденью “эксплорера”, стало ясно, что в таком виде Лекси домой нельзя. От анестезии ее вело, и Пёрл пришлось самой ее пристегивать.

– Так, – сказала она. – Едем ко мне.

– А твоя мама? – спросила Лекси, и, когда Пёрл ответила: “Она умеет хранить секреты”, Лекси сочла, что ничего грустнее в жизни не слышала, и разрыдалась.

В кухню на Уинслоу они вошли в самом начале первого, и Мия – она канцелярским ножом вырезала клен из журнальной рекламы – испуганно вздернула голову. При виде скальпеля у нее в руках Лекси – которая под конец поездки успокоилась – заплакала снова. Ко всеобщему удивлению – своему в том числе, – Мия заключила ее в объятия.

– Все хорошо, – сказала она. – Все будет нормально.

Лекси потом так и не поняла, она ли рассказала Мие, что случилось, или Пёрл, или Мия догадалась сама. Лекси только запомнила, как Мия крепко ее обнимала – так крепко, что мир наконец перестал вертеться, – и как Мия уложила ее в низкую мягкую постель – свою, как выяснилось позднее.

Вообще-то Мия заподозрила уже давно. Брайан предусмотрительно смывал презервативы в унитаз, но несколько раз, вытряхивая мусорную корзину в спальне Лекси, Мия находила обертки, завернутые в ком одноразовых платков. Как-то днем Мия вернулась к Ричардсонам за позабытой утром сумкой и в прихожей споткнулась о кеды Брайана – 12-го размера, – а рядом стояли сандалии Лекси на платформе. Обоих было не видать, но Мия цапнула сумку с кухонного островка и убежала из дома, отчасти боясь шумов, что могут донестись сверху, и тихонько прикрыла дверь, и

понадеялась, что наверху не услышат стука. Глядя на Лекси, Мия всякий раз поражалась, до чего та ужасно юная; не хотелось думать, чем занимается Лекси и – возможно, по ассоциации – Пёрл.

И когда Лекси возникла в дверях, слегка опираясь на руку Пёрл, Мия взгляделась в поблекшее, посеревшее лицо, в розовую выписку из клиники, все еще стиснутую в руке, в пакет с прокладками, что болтался у Пёрл на запястье, и мгновенно поняла, что произошло. Спроси ее кто месяц или даже неделю назад, что бы она почувствовала в такой ситуации, Мия напроорочила бы себе тень злорадства или хотя бы миг морального превосходства. Но в эту минуту накатило лишь острое сочувствие к Лекси, которая угодила в переплет, которой выпала боль – физическая и эмоциональная, – и ей придется пройти через эту боль, чтобы выбраться.

Лекси проснулась под свежим белым одеялом. Полдень давно миновал, шторы задернуты, но в углу горела лампа – абажур обернут полотенцем, свет приглушен, – и такая забота пронзила Лекси насквозь. В третий раз за день она разрыдалась. И рядом оказалась Мия – сидела у постели, гладила Лекси по спине.

– Ничего, – говорила Мия, и хотя говорила она только это – *ничего, ничего*, – Лекси стало полегче дышать.

Мия села по-турецки на пол и протянула Лекси салфетку, и Лекси сообразила, что постель не просто низкая – это матрас на ковролине. Она высморкалась. Мусорной корзины в окрестностях не наблюдалось, но Мия протянула руку, и Лекси, на миг смутившись, отдала ей влажный бумажный ком.

– Ты долго спала. Это хорошо. Поесть сможешь?

В кухне Мия поставила перед ней миску супа, и Лекси поднесла к губам ложку: куриная лапша, соленая, обжигаящая. Пёрл не видать, но часы духовки показывали 15:15. Уроки едва закончились. Пёрл, наверное, рассказала матери все.

– Так не должно было получиться, – выпалила Лекси.

Ужасно хотелось объясниться, чтобы Мия не думала про нее плохого. Тут в квартиру вошла Пёрл. Она покраснелась и слегка запыхалась.

– Одолжила у Сплина велик, – пояснила она. – Хотела побыстрее, проверить, как ты тут.

– Ты же не... – начала Лекси, и Пёрл потрясла головой.

– Конечно, я ему не говорила, – ответила она. – Сказала, что обещала пораньше приехать, маме помочь, но забыла. – Самой не по себе, до чего легко оказалось вновь соврать Сплину, но Пёрл отбросила эту мысль, будто паутину смела. – Ты как?

– Все будет нормально, – сказала Мия и похлопала Лекси по руке. – Я совершенно уверена.

Десять минут спустя Мия поставила плоску из-под супа в раковину отмочать, а по лестнице вновь прогрохотали шаги, и вошла Иззи. Вторую половину дня она проводила с Мией и на последних уроках гадала, над чем Мия работает, придумывала, чем с ней поделиться. Увидев Лекси, она застыла на пороге.

– А ты что тут делаешь?

Лекси насупилась.

– Пришла потусоваться с Пёрл, ты не согласишься, – рявкнула она. – Тебе что-то не нравится?

Во власти подозрений Иззи перевела взгляд на Пёрл. Лекси никогда не ездила на Уинслоу; ей больше нравилось в уютном солярии Ричардсонов – там удобные кресла, и большой телевизор, и есть чем перекусить, и диетическая кола в изобилии. А тут ни телевизора, ни даже дивана. Очень непохоже на Лекси. Чего это они с Пёрл здесь забыли? И однако вот, пожалуйста, – Лекси: бледная, мнется, глаза вроде красные, и это тоже совсем на нее не похоже.

– Я помогаю Лекси с сочинением по английскому, – сказала Пёрл. – Мы подумали, лучше тут.

– Иззи, все нормально, – сказала Мия. – Но раз девочки здесь, я сегодня не работаю. Давай завтра, ладно? – А когда Иззи замялась, Мия прибавила: – Завтра, честно. После школы. Как обычно.

Она слегка пожала Иззи локоть, разворачивая ее к дверям, и та, сердито зыркнув на Лекси, затопотала вниз. Спустя миг все услышали, как за ней с грохотом захлопнулась дверь.

– Вот она на меня выверилась, – пробормотала Лекси. – Ну что тут нового?

Иззи ушла, и Лекси тотчас выдохлась, сползла ниже по стулу, свесив хвост за спинку. Пёрл к ней пригляделась:

– Выглядишь так себе.

– В постель, – невозмутимо велела Мия. – Тебе сегодня досталось.

В спальне она снова устроила Лекси на матрасе, и накрыла одеялом, и легонько погладила по спине, точно ребенка. Это, как ни странно, утешало.

– Блин, – сказала Лекси. – Робот же звонил. Родители знают, что я прогуляла.

В школах Шейкер-Хайтс к посещаемости относились серьезно: в начале каждого урока учитель заполнял форму и помечал отсутствующих. Затем в администрации секретарша прогоняла форму через машину, и на домашний номер родителей поступал записанный звонок – мол, так и так, ваши дети прогуливают.

– Я позвонила, – сказала Мия. – Когда вы с Пёрл приехали. Сказала, что ты плохо себя чувствуешь и не придешь сегодня и завтра.

Голова у Лекси как будто одеревенела.

– Но отпрашивают же родители, – пробубнила она, приподнявшись на локтях.

Комната вокруг зашаталась.

– Я сказала, что я твоя мать. Откуда они узнают?

Мия мягко толкнула ее в плечо и уложила на подушку. Она так спокойно это сказала, подумала Лекси. Что бы ни случилось, Мия выкрутится, сразу видно.

– Отдыхай, – услышала Лекси и заснула почти мгновенно.

Когда снова проснулась, был уже поздний вечер. Она лежала в сумраке и смотрела, как темнеет небо, пока Мия не постучалась и не вошла с дымящейся кружкой чаю.

– Я подумала, ты захочешь пить, – сказала Мия, а Лекси взяла кружку и благодарно отпила. Мята. Кружка под пальцами была утешительно плотная, как теплое, сильное плечо. – Я позвонила твоему отцу, – сказала Мия.

Мать завтра к вечеру приедет домой, вдруг вспомнила Лекси.

– Блин, – прошептала она. – Вы ему сказали?

– Я сказала, что ты сегодня останешься здесь. Что Пёрл позвала тебя переночевать.

После паузы Лекси ответила:

– Спасибо.

– Можешь оставаться сколько нужно. Но я думаю, завтра ты будешь готова вернуться домой.

Лекси медленно повертела кружку в ладонях.

– А потом?

– А потом сама решишь, что делать. Кому рассказать.

Мия шагнула к двери, но Лекси в панике схватила ее за руку.

– Подождите, – сказала она. – Вы считаете, я крупно ошиблась? – Она тяжело сглотнула. – Вы считаете, я ужасная?

Прежде она толком и не задумывалась про Мию, но внезапно стало очень важно узнать, осуждает ли та Лекси. Перед лицом ее доброты Лекси не снесет ее осуждения.

– Ой, Лекси. – Мия села, не отпуская ее руки. – Ты попала в очень трудную ситуацию. Никому не пожелаешь.

– Но вдруг я поступила неправильно? – Лекси умолкла, закрыла глаза, попыталась вновь нащупать эту искру жизни, что прежде кувыркалась внутри и ощущалась так ясно. – Может, стоило его оставить. Сказать Брайану. Мы бы что-нибудь придумали.

– Ты была готова стать хорошей матерью? – спросила Мия. – Какой хочешь быть? Какую заслуживает ребенок?

Они посидели молча. На руке Лекси лежала теплая ладонь Мии. Лекси неодолимо захотелось положить голову Мие на плечо, и спустя миг она так и сделала. И впервые задумалась, каково это – расти как Пёрл, быть дочерью Мии, проживать такую жизнь. От этой мысли немножко закружилась голова.

– Ты всегда будешь об этом грустить, – тихо сказала Мия. – Но это не значит, что выбор был неверен. Просто тебе придется нести его с собой всю жизнь.

Она мягко посадила Лекси, погладила по плечу и наклонилась за пустой кружкой.

– Но вы считаете, выбор был неверен? – не отступила Лекси. Уж Мия-то наверняка знает.

Та постояла, положив ладонь на дверную ручку.

– Я не знаю, Лекси, – ответила она. – Только ты знаешь.

Дверь за ней тихонько затворилась.

* * *

Когда Лекси открыла глаза, было раннее утро. Вокруг ни души, но кто-то выключил лампу и поставил у матраса стакан воды.

Пёрл в кухне ела хлопья.

– Выглядишь получше, – сообщила она. – Ты как?

– Постепенно. – Лекси осторожно опустилась на стул напротив

Пёрл. – А твоя мама где?

– У вас. Пошла прибираться пораньше. У нее обеденная смена в ресторане.

Пёрл внезапно вспомнила позицию Лекси по делу Маккалла и решила не говорить, отчего у матери сегодня такое странное расписание: у Биби встреча с адвокатом, она готовится к слушаниям – осталось меньше двух недель – и попросила Мию подменить ее на работе. Пёрл подтолкнула к Лекси коробку с хлопьями, и та наклонила коробку, взяла горсть.

– Она спала на полу?

– Со мной.

– Извини.

Пёрл пожала плечами:

– Ничего. Мы привыкли. Иногда две кровати некуда ставить. – Она пихнула по столу миску. – Не ешь из коробки, высыпь себе. Во ненормальная.

Лекси как будто стала гораздо младше, и Пёрл не понимала, в чем дело: утренний свет, бледно-желтый и мягкий, или сама Лекси – без макияжа, распущенные волосы обрамляют лицо, – или странность этой минуты, и Лекси за завтраком у Пёрл в кухне, и все, что они пережили накануне.

– Твоя мама вчера была ко мне очень добра. – Лекси помешала хлопья в миске.

– Мама вообще добрая, – сказала Пёрл не без гордости.

– Мне всегда казалось, что я ей не нравлюсь.

– Ну-у. – Пёрл задумалась. У нее тоже сложилось такое впечатление, но, похоже, что-то переменялось. – Вы же толком не были знакомы.

– Думаешь, теперь я ей нравлюсь? – после паузы спросила Лекси.

– Не исключено, – ухмыльнулась Пёрл, и Лекси встала, обхватила ее руками и поцеловала в щеку.

Ночью они легли в узкую кровать Пёрл, и Мия протянула руку, погладила дочь по спине – годами этого не делала. С маленькой Пёрл она часто спала в одной постели: проще найти один матрас, чем два,

само собой, но вдобавок это так утешительно – лежать близко-близко, как зверьки, что зарылись поглубже в норку. Пёрл росла, спать в одной постели становилось все неудобнее, и такого уже давно не бывало.

– Бедная Лекси, – пробормотала Мия. – Как же ей тяжело. – Надо кое-что сказать, понимала она, но не знала как и спустя миг заговорила как придется: – А ты... ты же... – Пауза. – Мы с тобой никогда об этом не говорили.

Пёрл отодвинулась и резко перевернулась на спину.

– Господи, мам. Давай не будем.

– Я просто хочу убедиться, что ты умеешь беречься. – Мия потерла царапину на ногте. Порезалась накануне за работой. – Я знаю, что вы со Сплином очень близки.

Пёрл рядом застыла всем телом – и так же внезапно ее отпустило.

– Мам, – сказала Пёрл. – Мы со Сплином просто друзья.

– Но, может, однажды ты захочешь большего. Я знаю, каково это...

Мия осеклась. Я не знаю, вдруг сообразила она; я не знаю, каково это, вообще без понятия. В юности у Мии было полно друзей, мальчиков в том числе, – но не бывало такой тесной дружбы, как у дочери и Сплина. Эти двое постоянно вместе; друг за друга заканчивают фразы, говорят на своем личном шуточном наречии и сыплют цитатами, которых Мия толком не улавливает. Не раз она видела, как Пёрл беспечно склонялась к Сплину и поправляла ему воротник; на днях заметила, как Сплин вынул у Пёрл из волос листик – с нежностью, с любовью даже: иначе это не назвать. Но с Мией такого не случилось – ни в юности, ни в художественной школе, ни после. Сейчас до нее дошло, что она никогда не видела мужчину голым – разве только брата в детстве. Никогда ни к кому не прикасалась – у нее не было этого тепла, этого электрического разряда от чужой близости. Все это ей дарило только искусство – и, конечно, Пёрл. Ничего полезного я ей сообщить не могу, подумала Мия, и между ними закружилось молчание.

– Мам. – В темноте Мия не поняла, серьезна Пёрл или улыбается. – Не парься. Честно. Между нами со Сплином ничего нет. – Она перекатилась на бок, отвернулась от Мии, и голос ее заглушила подушка. – И у меня высший балл по ОБЖ. Я все знаю, что нужно знать.

Это же правда, сказала себе Пёрл; я не солгала ни единым словом. Умолчание, решила она, – не вполне ложь. Мия снова стала гладить ее по спине – эта ласка в детстве говорила Пёрл, что она не одна, что мама рядом, а значит, все будет хорошо. И, как и в детстве, это усыпило ее почти мгновенно.

Когда Пёрл тихонько засопела, Мия не убрала руку, будто она скульптор и лепит дочери лопатки. Под ладонью слабо-слабо билось сердце Пёрл. Дочь уже давно не подпускала Мию так близко. Родители, думала Мия, учатся выживать, все реже и реже касаясь детей. В младенчестве Пёрл цеплялась за мать; Мия носила ее в слинге, потому что, едва ставила на пол, Пёрл плакала. Почти весь день, минута за минутой, они прижимались друг к другу. Пёрл росла и все равно цеплялась сначала за материну ногу, потом за талию, потом за руку, будто что-то впитывала из матери через кожу. Даже если у Пёрл была своя постель, среди ночи она часто заползала к Мие и зарывалась под старое лоскутное покрывало, и поутру они просыпались, перепутавшись, – рука Мии застряла под головой Пёрл, ноги Пёрл поперек живота Мии. Став подростком, Пёрл ласкалась все реже – чмокала в щеку, одной рукой неохотно приобнимала, – и тем драгоценнее были эти ласки. Так уж оно устроено, говорила Мия себе, – но до чего же это трудно. Нечаянное объятие, голова на миг склонилась к твоему плечу, а тебе-то больше всего на свете охота прижать их к себе и держать крепко-крепко, чтобы вы срослись и никогда не расставались. Все равно что приучать себя жить на одном запахе яблока, когда охота лишь сожрать его, вонзить в него зубы и поглотить, прямо с косточками и черенком.

* * *

Пёрл ушла в школу, а Лекси провела в доме на Уинслоу все утро. Лежала поперек матраса, временами задремывала и спала, когда Мия вернулась из ресторана с двумя пенопластовыми контейнерами остатков лапши и новой идеей. В два часа дня, когда зазвонил телефон, который наконец и разбудил Лекси, Мия сидела за столом и карандашом набрасывала что-то на бумажке.

– Я понимаю, Биби, – говорила Мия, когда Лекси вышла в гостиную. – Но надо держать себя в руках. На суде будет еще хуже. Это только вершина айсберга. – Она глянула на Лекси и снова заговорила в телефон: – Все будет хорошо. Вдохни поглубже. Я тебе позвоню.

– Это что – мать... Мирабелл? – спросила Лекси, когда Мия повесила трубку. Неловко, но Лекси не вспомнила, как ребенка звали от рождения.

– Она моя подруга. – Мия снова села за стол, и Лекси подтащила стул поближе. – В газете сегодня была статья – не очень по-доброму про нее написали. Намекали, что она негодная мать. – Мия глянула на Лекси: – Может, ты уже знаешь. Раз твой отец представляет Маккалла.

Лекси вспыхнула. Ее отец в последнее время был очень занят, допоздна засиживался на работе, готовился к стремительно надвигавшимся слушаниям, но и она сама была занята – Брайан, колледж, клиника и все, что клинике предшествовало, – и особо не вникала.

– Я ничего не знала, – чопорно ответила Лекси. И затем: – А она что? Правда негодная мать?

Мия взяла карандаш и снова занялась наброском. Сеть, подумала Лекси; или нет, пожалуй, клетка.

– Прежде – может быть. Она попала в трудную ситуацию.

– Но она бросила ребенка. – Это Лекси не раз слышала от матери – та твердила так миссис Маккалла по телефону, едва речь заходила о деле, – и тезис въелся в мозг фактом.

– Мне кажется, она старалась поступить, как лучше для ребенка. Она понимала, что не справляется. – Мия нацарапала что-то в углу рисунка. – Вопрос в том, изменилось ли что-нибудь. Надо ли дать ей еще один шанс.

– И вы считаете, что надо?

Мия помолчала. А потом ответила:

– Почти все заслуживают больше одного шанса. Мы все временами делаем то, о чем жалеем. Приходится нести это с собой.

Лекси притихла. Рука ее невольно подползла к животу, где уже расцветала боль.

– Мне, наверное, пора домой, – после паузы сказала Лекси. – Уроки почти закончились, и мама, наверное, уже вернулась.

Мия смахнула со стола крошки ластика и встала.

– Ты готова? – спросила она нежно, и у Лекси внутри все заныло.

– Нет, – откликнулась она. И нервно хихикнула. – Но когда я буду готова? – И тоже поднялась. – Спасибо за... ну... Спасибо.

– Ты ей расскажешь? – спросила Мия, когда Лекси начала собираться.

Лекси поразмыслила.

– Не знаю, – ответила она. – Может быть. Не сейчас. Но, может, потом.

Она выудила из кармана ключи от машины и взяла сумку. Под сумкой лежала розовая выписка из клиники. Лекси помялась, скомкала ее, бросила в мусорную корзину и ушла.

Мия не ошиблась: до слушаний по делу об опеке вышла целая серия материалов – в печати и по телевидению – о том, насколько Биби Чжоу годится быть матерью. Одни изображали ее трудолюбивой иммигранткой, которая приехала в поисках лучшей доли и была побеждена – временно, твердила ее группа поддержки – обстоятельствами и шансами не в свою пользу. Другие были не так добры: Биби нестабильна, ненадежна, наихудший образчик матери. В последнюю неделю марта, когда начались слушания, на ступенях суда толпились настоящие журналисты вперемешку с таблоидными репортерами, и все пускали слюну, предвкушая обеды, которые им выбросят в ходе дачи показаний.

Как и все суды по семейным делам, слушания проходили в закрытом режиме, и в новости просачивались только сенсации и упрощенчество, примитивные аргументы за ту или иную сторону. Лишь те, кто был в зале, – Маккалла, их адвокат, мистер Ричардсон, Эд Лим, Биби и судья – узнали о произошедшем во всей его неряшливой сложности.

А оно, произошедшее, было сложное. Неделю мистер Ричардсон и Эд Лим жонглировали ужасно неловкой, мучительно неторопливой, болезненно интимной историей: один выдвигал аргументы в пользу своего клиента, другой мастерски подхватывал их и ловко переворачивал с ног на голову.

* * *

Когда девочку нашли, она явно недоедала. Родничок был утоплен в череп – верный признак обезвоживания, а ребра и позвонки проступали под кожей, как бусины на леске. В два месяца ребенок весил лишь восемь фунтов.

(Но ребенок не желал брать грудь. Биби пыталась снова и снова, пока не потрескались и не закровоточили соски. Она плакала – грудь полна молока, которым никак не накормить ребенка, младенец вопит у

нее на руках, яростно отворачивает личико, и от детского плача розовое молоко хлестало из сосков и текло на колени. После двух недель такой жизни молоко у Биби пропало. Последние семь долларов она потратила на молочную смесь, после чего кошелек опустел – не считая фальшивой купюры в миллион долларов, которую ей подарили на работе – на удачу.)

Судя по сильнейшей опрелости, ребенок проводил в грязных подгузниках часы – а то и дни – кряду.

(Но у Биби не было денег на подгузники. Не забывайте, она последние семь долларов потратила на молочную смесь. Она очень старалась. Снимала грязные подгузники, отчищала как могла, снова застегивала на поясе дочери. Втирала вазелин – больше ничего не было – в воспаленные красные пятна, расцветшие на младенческих ягодицах.)

Соседи слышали, как ребенок вопил часами. “Весь день, всю ночь, – говорила соседка из ЗБ. – Кричит, когда утром иду на работу. Кричит, когда прихожу с работы вечером”. Соседка подумывала вызвать полицию, но не хотела вмешиваться. “Я в чужие дела не лезу”.

(Но и Биби плакала. Да, ложилась и рыдала, иногда клала ребенка на грудь, лихорадочно гладила девочку по спине и волосам, а иногда одна, на полу возле ящика из комода, что служил кроваткой, и ребенок верещал вместе с ней, и голоса их устремлялись ввысь в душераздирающей гармонии.)

За полтора месяца своего бурного материнства Би-би ни разу не обратилась за помощью к психологу или врачу.

(А должна была, это правда. Но она не знала, куда обратиться. Английский у нее в лучшем случае средненький; умение понимать прочитанное минимально. Она не знала, где найти соцработника, который мог бы помочь; не знала даже, что такие на свете бывают. Не умела подать заявление на пособие по безработице. Не знала, что есть такая возможность. Она опускала взгляд и не видела страховочной сетки – только лес небоскребов, что вздымались иглами и грозили ее пропороть. Можно ли упрекать ее за то, что она, неудержимо падая, пристроила дочь на безопасный карниз?)

Биби оставила ребенка рано утром 5 января 1997 года на пожарной станции на Кинсмен-роуд. В ту ночь температура упала до тридцати одного градуса. С учетом ветра – до семнадцати^[51]. В

полтретьего ночи, когда пожарные открыли дверь и обнаружили ребенка в картонной коробке, только-только начался снег и все вокруг обросло серебристой кристаллической пылью.

(Когда Биби оставила ребенка на крыльце пожарной станции, и в самом деле было довольно холодно, но девочка была одета в три распашонки и две пары штанов и закутана в четыре одеяла – во все детские вещи, что были у Биби. Ручки запеленуты внутри, чтобы не мерзли, угол одеяла прикрывал головку, чтобы девочке не дуло. По всем оценкам, к тому времени, когда капитан пожарной команды открыл дверь, ребенок пробыл на улице приблизительно двадцать минут, а под снегом – минуты две. Снег засыпал одеяло совсем чуть-чуть – девочку точно засахарили или окунули в алмазную крошку.)

К рождению ребенка Биби пробыла в стране всего два года, а в городе – едва ли год. В Кливленде она успела сменить три квартиры, с одной съехала до истечения договора, на другой хронически опаздывала к сроку и недоплачивала, у нее не бывало работы, где платили бы выше минимальной ставки.

(Каждый месяц она переживала, что недотягивает. Как-то раз уплатила за квартиру всю сумму, а потом ей не хватало на продукты и электричество: что за жизнь – выбирать между голодом и темнотой. После этого она решила платить сколько может, а в те дни, когда ей щедро давали чаевые, писала свое имя на бумажке, заворачивала в нее двадцатку и подсовывала домовладельцу под дверь. Баланс она сводила на старом конверте, всегда лежавшем на кухонной столешнице. Подсчеты выглядели так:

Сент. не хватает \$ 100
09.08 заплатила \$ 20
09.13 заплатила \$ 20
09.18 заплатила \$ 20
Окт. не хватает \$ 80, всего не хватает \$ 120
10.03 заплатила \$ 20
10.14 заплатила \$ 20
10.26 заплатила \$ 20
Ноябрь не хватает \$ 70, всего не хватает \$ 130

Уже отстав, как она могла нагнать? И какую еще работу могла найти? Она плохо говорила по-английски, у нее даже какого-то подобия школьного аттестата не было.)

Во время беременности, уже незадолго до того, как Биби оставила ребенка, она работала в ресторане, где повара задержали за торговлю героином. Ранее несколько сотрудников подозревали, что между ним и Биби что-то есть. Отмечали флирт. По крайней мере, однажды этот повар подвез Биби до дома после ночной смены. Можно ли исключить вероятность, что Биби, ведя столь сомнительные знакомства, тоже причастна к противозаконной деятельности?

(Повар Винни и впрямь торговал героином. Этого отрицать нельзя. Но к Биби он питал сугубо платонический интерес. Жалел ее, глядя, как пухнет ее живот, зная, что ее парень, крысеныш этот, бросил ее ни с чем. Десятью месяцами раньше такая же история приключилась с сестрой Винни, и каждый вечер, когда он возвращался в квартиру, где они жили вместе с матерью, Тереза была все серее, ребенок вопил, лежа поперек ее коленей, или наваливался ей на плечо, как маленький старичок, и оба они сидели на диване, одряхлевшие и обессиленные. Удивительно ли, что каждое утро, когда Винни смотрел на Биби, сердце его ныло, как от синяков? Плохо ли, что он с ней шутил, добивался улыбки, какой уже не мог добиться от сестры, подвозил ее, когда видел, что ноги у нее распухли так, что едва не лопаются шнурки на ботинках?)

Что до Биби, Винни ей нравился, это правда. Но ее влечение породила в основном его доброта, а мысль о том, что мужчина – любой мужчина – прикоснется к ней, пока внутри у нее молотит пятками ребенок, наполняла ее омерзением. Когда Винни забрали копы, Биби остро грустила по нему, точно по брату, которого никогда больше не увидит.)

На нынешней официантской работе у Биби МРОТ для работников, получающих чаевые, – 2,35 доллара в час. Пятьдесят часов в неделю плюс чаевые в среднем ежемесячно приносят ей чистый заработок в \$ 317,50. Разумно ли рассчитывать, что при таких доходах она сможет растить ребенка и обеспечивать его всем необходимым? Не придется ли ей обращаться за социальным пособием, и продовольственными талонами, и льготными школьными обедами, не станут ли они с ребенком высасывать ресурсы из социума?

(Но ведь будет и любовь – будет столько любви. Если есть любовь, так мало надо. На основное хватает – на аренду, еду, одежду. Как сопоставлять материнскую любовь со стоимостью воспитания ребенка?)

Марк и Линда Маккалла располагают всеми необходимыми ресурсами – это ясно слепому. У мистера Маккалла постоянная высокооплачиваемая работа; миссис Маккалла последние четырнадцать месяцев с утра до ночи занималась ребенком и планировала жить так до бесконечности. У них собственный дом в безопасном респектабельном районе. С финансовой точки зрения они живут лучше девяноста шести процентов населения страны. Под их попечением ребенок прекрасно одет, сытно накормлен, о девочке прекрасно заботятся. Ее регулярно осматривают врачи, она много общается и обогащается духовно: чтение для малышек в библиотеке, бассейн для младенцев, музыкальные занятия “Я и мама”. Дом Маккалла тщательно обследовали и выдали сертификат о том, что нигде не обнаружен свинец.

Более того, Маккалла вполне доказали, что готовы посвятить себя воспитанию ребенка. Согласно имеющимся документам, они десять лет пытались зачать, а потом еще четыре года ждали усыновления. Они обращались за консультацией ко всем медицинским специалистам в Кливленде и окрестностях – в том числе лучшим репродуктологам Кливлендской клиники, – а затем наняли самое уважаемое агентство по усыновлению в штате. Это разве не означает, что с ними ребенок будет окружен заботой и лаской и получит все возможности для развития?

(Но у девочки уже есть мать. Кровь матери течет в ее венах. Эта мать носила ее в утробе месяцами, чувствовала, как ребенок брыкается и переворачивается внутри, двадцать один час выталкивала ее лицом вверх и кричала в ослепительные лампы родовой палаты, разразилась слезами восторга, впервые услышав голос дочери, и – еще прежде, чем медсестры обтерли ребенка, еще прежде, чем они перерезали пуповину, – ощупала ее всю, ее крошечные раздутые ноздри, и бледные тени бровей, и скользкие подошвы – проверяла, что девочка целая, что она вылезла вся, заучивала ее всю наизусть.)

Если опека вернется к Биби, она, разумеется, будет растить ребенка в статусе работающей матери-одиночки. Кто будет заниматься

девочкой, пока Биби на работе? Разве ребенку не будет лучше в семье с двумя родителями – один из которых не работает и всегда дома, посвятит ее воспитанию все свое время, – а не в детском саду с утра до ночи? И разве девочке не будет лучше с матерью и отцом, если учесть, что, согласно исследованиям, в жизни ребенка важна сильная мужская фигура?

(Вот к чему сводилась дискуссия снова и снова: что делает человека *матерью*? Только биология – или любовь?)

* * *

Мистер Ричардсон в зале судебных заседаний радовался, что никто не слышал прений последнего дня, когда вызвали миссис Маккалла. Она вышла вперед – в суде по семейным делам нет свидетельской кафедры, только кресло сбоку от судьи – и села, и он видел, как она нервничает, потому что она так и сяк скрещивала лодыжки, потому что она никак не могла решить, куда деть руки – на подлокотники или в мягкий гамак юбки. Прежде мистеру Ричардсону не приходило в голову, что кафедра в суде, пусть формальная и грозная, прячет тебя от пояса и ниже: по крайней мере, весь мир не увидит, как суеются твои ступни, – сколько бы ни судили тебя, хотя бы ноги твои никто не осудит.

Встать и приступить к допросу Эд Лим не торопился. Был он высок, особенно для азиата: шесть футов, худой и гибкий, ему в баскетбол бы играть с такой конституцией – и да, он играл, форвардом в основном составе школьной команды в шестидесятых. В школе их с миссис Маккалла разделяло всего три года, оба – уроженцы и выпускники Шейкер-Хайтс, и до этого дела Эд Лим только и помнил про миссис Маккалла, что это застенчивая пухловатая девятиклассница с длинными золотисто-каштановыми волосами. Он был одним всего из двоих азиатов в своем классе – второй была Сьюзи Чан; ребята дразнились, что эти двое вырастут и поженятся. Они, само собой, не поженились: Сьюзи сразу после выпускного уехала в Орегон, но в итоге Эд и впрямь женился на милой китайке, тоже из первого поколения, как и он; познакомились в колледже. Миссис Маккалла,

впрочем, ничего этого не помнила – не помнила даже Сьюзи Чан, с которой год выступала в команде чирлидеров.

– Итак, миссис Маккалла, – сказал Эд Лим, отложив ручку на стол. – Вы всю жизнь прожили в Шейкер-Хайтс, не так ли?

Миссис Маккалла признала, что так оно и есть.

– Средняя школа Шейкер-Хайтс, выпуск тысяча девятьсот семьдесят первого года. Вы учились в местных школах с начала до конца?

– С детского сада. На Бульваре, когда еще учились с детского сада до восьмого класса. И старшие классы, конечно.

– А потом в Университете Огайо?

– Да. Выпуск тысяча девятьсот семьдесят пятого.

– А потом уехали назад в Шейкер-Хайтс? Сразу?

– Да, мне здесь предложили работу, а мы с мужем – тогда еще женихом – хотели создать здесь семью.

Она стрельнула глазами в мистера Ричардсона, и тот легонько ей кивнул из-за стола. Они это обсуждали: главное – при каждом удобном случае напоминать судьбе, как она и мистер Маккалла хотели этого ребенка, как важна для них семья, как они преданы маленькой Мирабелл.

– То есть вы прожили в Огайо всю жизнь. – Эд Лим присел на подлокотник своего кресла. – Родители Мэй Лин, как мы все теперь знаем, приехали из Гуандуна. Или, может, вы эту область знаете как Кантон? Вы там бывали?

Миссис Маккалла поерзала.

– Разумеется, мы планируем отвезти Мирабелл, посмотреть ее наследие. Когда она чуть подрастет.

– Вы говорите на кантонском?

Миссис Маккалла потрясла головой.

– На мандаринском? Шанхайском? Тайшаньском? Любом диалекте китайского?

Мистер Ричардсон раздраженно пощелкал кнопкой ручки. Нет, ну вот теперь Эд Лим просто выпендривается.

– Вы вообще изучали китайскую культуру? – спросил тот. – Китайскую историю?

– Ну конечно, мы собираемся все это изучить, – сказала миссис Маккалла. – Нам очень важно, чтобы Мирабелл не теряла связи со

своей национальной культурой. Но, на наш взгляд, важнее всего то, что у нее полный любви дом и двое любящих родителей.

Она снова глянула на мистера Ричардсона, довольная, что удалось это впихнуть. Вас двое, говорил мистер Ричардсон; это может оказаться большим преимуществом перед матерью-одиночкой.

– Вы с мистером Маккалла, со всей очевидностью, очень любящие. Едва ли у кого-то имеются сомнения на этот счет. – Эд Лим улыбнулся миссис Маккалла, и мистер Ричардсон закаменел. Уж он-то знал юристов и чуял, когда готова захлопнуться мышеловка. – Расскажите, что именно вы делаете, дабы Мэй Лин, как вы выражаетесь, “не теряла связи со своей национальной культурой”?

Повисла долгая пауза.

– Должно быть, слишком общий вопрос. Давайте отмотаем назад. Мэй Лин прожила у вас четырнадцать месяцев, так? Каким образом вы поддерживали ее связь с китайской культурой в этот период?

– Ну-у. *(Снова пауза – и на сей раз она затянулась. Про себя мистер Ричардсон призывал миссис Маккалла сказать что-нибудь – хоть что-нибудь.)* “Жемчуг Востока” – один из наших очень любимых ресторанов. Мы стараемся раз в месяц водить Мирабелл туда. Я считаю, ей полезно слушать китайский язык – чтобы ухо привыкло. Расти, зная, что это естественно. И конечно, я уверена, она полюбит кухню, когда подрастет.

Зияющая тишина в зале. Миссис Маккалла сочла насущным заполнить эту бездну:

– Может, пойдем учиться готовить китайские блюда в общественный центр – научимся вместе. Когда она подрастет.

Эд Лим молчал, и миссис Маккалла нервно залепетала дальше:

– Мы стараемся по возможности очень чутко относиться к таким вещам. – Снизошло вдохновение. – Например, на первый день рождения мы хотели купить ей игрушечного медведя. На будущую память о детстве. Там продавался бурый медведь, белый медведь и панда, мы подумали и купили панду. Решили, что панда ей, наверное, будет ближе.

– У Мэй Лин есть куклы? – спросил Эд Лим.

– Конечно. Целая куча. – Миссис Маккалла хихикнула. – Она их обожает. Как любая маленькая девочка. Мы покупаем, и мои сестры покупают, и наши друзья... – Она снова хихикнула, и у мистера

Ричардсона свело челюсть. – У нее этих кукол, наверное, дюжина или больше.

– И как они выглядят, эти куклы? – не отступал Эд Лим.

– Как выглядят? – Миссис Маккалла наморщила лоб. – Они... ну, куклы. Как голыши или как маленькие девочки... – Ясно было, что она не понимает вопроса. – Одни пьют из бутылочки, других можно переодевать, а одна закрывает глаза, если ее положить, и почти всем можно по-разному причесывать волосы...

– И какого цвета у них волосы?

Миссис Маккалла задумалась.

– Ну... в основном светлые. У одной темные. Может, у двух.

– А кукла, которая закрывает глаза? Какого цвета у нее глаза?

– Голубые. – Миссис Маккалла скрестила ноги, снова распрямила. – Но это ничего не значит. Посмотрите на любой отдел игрушек: большинство кукол – блондинки с голубыми глазами. Ну, просто по умолчанию.

– По умолчанию, – повторил Эд Лим, и миссис Маккалла неведомо отчего почудилось, что ее раскрыли.

– Это никакой не расизм, – заупрямилась она. – Они изображают просто девочку – вообще девочку. Которая всем понравится, понимаете?

– Но она не похожа на всех, правда? Она не похожа на Мэй Лин. – Эд Лим встал – башней внезапно воздвигся над залом. – А азиатские куклы у Мэй Лин есть? Хоть какие-то куклы, похожие на нее?

– Нет... но когда она вырастет и будет готова, мы можем купить ей китайскую Барби.

– Вы когда-нибудь видели китайскую Барби? – спросил Эд Лим.

Миссис Маккалла вспыхнула:

– Ну... я никогда специально не искала. Пока что. Наверняка такие есть.

– Таких нет. “Маттел” таких не выпускает.

Его дочь Моник училась в одиннадцатом классе, но пока она подрастала, Эд Лим с женой в смятении обнаружили, что не бывает кукол, похожих на их дочь. В десять лет Моник читала почтовые каталоги игрушек, как книжки, – дорогие куклы, с именами, с биографиями, в исторических костюмах, до абсурда подробные и до крайнего абсурда дорогие. “У Дженни Коэн такая, – говорила Моник

родителям, пальцем обводя по контуру блондинистую куклу, и впрямь напоминавшую Дженни Коэн: миловидное личико, густая челка, слегка полновата. – И сейчас есть новая с рыжими волосами. Ее мама дарит такую ее сестре Саре на Хануку”. У Сары Коэн на голове пылала рыжая копна – цвета пенни на летнем солнце. Но не было куклы с черными волосами, не говоря уж о лице, хоть отдаленно напоминавшем Моник. В поисках китайской куклы Эд Лим обошел четыре магазина игрушек; он бы уплатил любую цену, но такой куклы не было в природе.

Эд Лим даже написал в “Маттел”, спросил, существует ли китайская Барби, и ему ответили, что да, есть “Восточная Барби”, и прислали ему буклет. Он очень долго смотрел на этот буклет, на странную мешанину стилей в костюме Барби: сплошь красный и золотой атлас – Эд Лим в жизни не видал такого ни на одной китайке, или японке, или кореянке, – на ее черные волосы до пояса и раскосые глаза. *Я из Гонконга*, сообщалось в буклете. *Это на Востоке, который называют Дальним. По всему Востоку люди ходят на уличные рынки, где продаются такие товары, как рыба, овощи, шелк и специи.* Годом раньше Эд Лим с женой и Моник съездили в Гонконг – Эду Лиму показалось, город похож на подушечку для булавок, утыканную мерцающими небоскребами. В гигантском застекленном торговом центре Эд Лим купил сизый кашемировый свитер – надевал его под пиджак в морозные дни. *Приезжайте на Восток. Я уверена, он покажется вам экзотическим и интересным.*

В итоге Эд Лим выбросил буклет. От друзей с детьми помладше он слышал, что в линейке дорогих кукол появилась одна кукла-азиатка – и несколько чернокожих, – но сам не видел. Моник исполнилось семнадцать, и кукол она давным-давно переросла.

Эд Лим прошелся по залу судебных заседаний. – А книги? Какие книги вы читаете Мэй Лин?

– Ну-у... – Миссис Маккалла задумалась. – Мы читаем ей много классики. “Доброй ночи, луна”, конечно. И “Погладь кролика” – она ее обожает. “Маделин”^[52].

“Элоиза”. “Черника для Сэл”^[53]. Я сохранила все мои любимые книжки детства – мне очень важно делиться ими с Мирабелл.

– А книги с китайскими персонажами у вас есть? К этому вопросу миссис Маккалла была готова.

– Вы знаете, да. Есть “Пять китайских братьев”^[54] – замечательный пересказ знаменитой китайской народной сказки.

– Я знаю эту книгу.

Эд Лим снова улыбнулся, и у мистера Ричардсона свело плечи. Уже ясно: если Эд Лим улыбается – жди беды. *Не поймешь, что на самом деле у него в голове*, про себя отметил мистер Ричардсон и тут же устыдился. *Кошмар, нельзя так думать*. И он покраснел.

– Как выглядят в этой книге пять китайских братьев? – интересовался между тем Эд Лим.

– Они... они нарисованные. Они все похожи – в смысле, друг на друга, они же братья, это часть сюжета, никто их не различает... – И миссис Маккалла умолкла.

– У них косички, да? И конические шляпы? И раскосые глаза?

Дождаться ответа Эд Лим не стал. Его дочь наткнулась на эту книгу в школьной библиотеке во втором классе и пришла домой в великом огорчении. *Папа, а у меня тоже такие глаза?*

– В тысяча девятьсот девяносто восьмом году я бы не внушал Мэй Лин вот именно такой образ китайцев. Что скажете?

– Это очень древняя сказка, – возразила миссис Маккалла. – Они в традиционном платье.

– А еще какие книги, миссис Маккалла? Еще есть книги с китайскими персонажами?

Та прикусила губу.

– Я толком не подбирала, – признала она. – Я об этом не думала.

– Я вам сэкономлю время, – сказал Эд Лим. – Их не так уж много. Значит, у Мэй Лин нет кукол, похожих на нее, и нет книг с картинками людей, похожих на нее.

Он еще прошелся. Спустя почти два десятилетия другие поднимут тот же вопрос, заговорят о книгах как *зеркала*х и *окна*х, и в душе Эда Лима, к тому времени вымотанного, благодарность будет мешаться с досадой. *Мы всегда знали, будет размышлять он; а вы-то где были все это время?*

Сейчас, в зале суда, он остановился перед миссис Маккалла:

– Вы с мужем не говорите по-китайски и плохо разбираетесь в китайской культуре и истории. Это целый пласт идентичности Мэй Лин, о котором вы, по вашим же словам, даже не задумывались. Разве не справедливо будет сказать, что, оставшись с вами и мистером

Маккалла, Мэй Лин, по сути, будет разлучена со своей национальной культурой?

Тут миссис Маккалла разразилась слезами. В первые недели она кормила Мирабелл каждые четыре часа, брала на руки, едва Мирабелл плакала, смотрела, как Мирабелл растёт, пока ее пятки не начали растягивать ползунки для новорожденных почти на разрыв. Это миссис Маккалла регулярно взвешивала Мирабелл, готовила на пару горох, и батат, и свежий шпинат, и размалывала, и скармливала Мирабелл кукольными ложечками. Когда у Мирабелл случился жар, это миссис Маккалла клала ей холодное полотенце на лоб, прижималась к нему губами, проверяя температуру. А когда выяснилось, что дело в отите, это миссис Маккалла капля за каплей роняла сироп с антибиотиком в розовый рот Мирабелл и смотрела, как та лакает, точно котенок. Я бы не могла, думала миссис Маккалла, склоняясь поцеловать девочку в горячую щечку, любить этого ребенка сильнее, даже будь она моей плотью и кровью. Всю ночь – потому что в жару Мирабелл спала, только если укачивать, – миссис Маккалла держала ее на руках и расхаживала по комнате. К утру прошагала почти четыре мили. Это миссис Маккалла после завтрака, перед купанием и перед сном щекотала носом мягкий животик Мирабелл, пока девочка от хохота не принималась булькать. Это она ловила Мирабелл в объятия, когда та спотыкалась, вставая на ножки; это к ней Мирабелл тянула ручки, когда ей было больно, или страшно, или одиноко. Миссис Маккалла узнает Мирабелл в кромешной тьме по одному вскрику – нет, по одному касанию руки. Нет, по одному дуновению запаха.

– Это не обязательно, – заявила она теперь. – Мы не обязаны быть китаеводами. Мы обязаны только любить Мирабелл. А мы ее любим. Хотим, чтоб ей лучше жилось.

Она все плакала, и судья ее отпустил.

– Ничего страшного, – сказал мистер Ричардсон, когда она села рядом. – Все прошло нормально.

Но даже в нем затрепыхалось сомнение. Конечно, Мирабелл будет хорошо с Марком и Линдой. Вопросов нет. Но не исчезнет ли из ее жизни что-то... *нечто*. Внезапно мистер Ричардсон увидел Мирабелл очень ясно – различил исполинское бремя сложного мира на плечах этого крохотного ранимого человечка.

На ступенях суда, когда им преградили дорогу репортеры, мистер Ричардсон выдал краткое безобидное заявление о вере в судебный процесс:

– Я абсолютно доверяю судье Райнбеку – он взвесит все и примет справедливое решение.

Супруги Маккалла, похоже, не заметили тонкой перемены тона – поначалу-то мистер Ричардсон не без нажима говорил, как кристально ясно, что опеку должны присудить им, как очевидно, что они лучше воспитают ребенка, как абсолютно прозрачно, что Мирабелл место у Маккалла (что она *сама* Маккалла, твердил он). И газеты, что публиковали заметки с заголовками “АДВОКАТ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ УВЕРЕН В ПОБЕДЕ”, тоже не заметили. Но, вопреки газетам, уверенности у мистера Ричардсона поубавилось.

В тот вечер за ужином, когда миссис Ричардсон спросила, как прошли слушания, он был немногословен.

– Линда давала показания, – ответил он. – Эд Лим на нее сильно давил. Выглядело так себе.

Он имел в виду – для миссис Маккалла, но едва слова сорвались с языка, мистера Ричардсона посетила идея, способ передернуть, и позже в тот вечер он позвонит знакомым в газете. Наутро “Плейн дилер” опубликует статью, где упомянет “агрессивную” тактику Эда Лима и как тот довел бедную миссис Маккалла до слез. Таким людям, сообщат в статье, не положено терять хладнокровие – хотя не уточнят, в каком смысле “таким”. Адвокатам? Или речь совсем не о том? Но если честно, – и мистер Ричардсон это понимал – сердитый азиат обманывал ожидания публики и потому внушал опасения. Азиаты могут быть диковатыми, бестолковыми и нелепыми, как Лонг Дак Донг^[55], или разве что нестрашными фиглярами, как Джеки Чан. Им не дозволено быть сердитыми, и красноречивыми, и могущественными. И, возможно, правыми, подумал мистер Ричардсон, ежась. После выхода статьи кое-кто из державших нейтралитет переметнулся на сторону Маккалла; кое у кого из сторонников Биби поугас пыл.

Но идея пока еще только вырисовывалась, и мистер Ричардсон сказал:

– Посмотрим, как сложится.

– Жалко ее, – вдруг высказалась Лекси через весь стол. – Биби. С ней, наверное, ужас что творится.

– Прошу прощения, – сказала Иззи, – это та самая Биби, про которую ты месяц назад говорила, что она халатная мать?

Лекси вспыхнула.

– О ребенке надо было заботиться лучше, – согласилась она. – Но я даже не знаю. Может, она просто себя переоценила. Не знала, на что шла.

– И поэтому беременность – не шуточки, – вклинилась миссис Ричардсон. – Слышишь меня, Александра Грейс? А ты, Изабелл Мари? – Она взяла миску посыпанной миндалем стручковой фасоли и подложила себе. – Конечно, рожать ребенка тяжело. Это переворачивает всю жизнь. Биби явно оказалась не готова, ни в бытовом плане, ни в эмоциональном. И это лучше всего доказывает, что ребенка надо отдать Линде и Марку.

– То есть одна ошибка – и все? – спросила Лекси. – Вот я рожать не готова. Но если я... – Она замялась. – Если я забеременею, ты и меня заставишь отдать ребенка?

– Лекси, такого не может быть. Мы тебя воспитали разумнее.

Мать поставила миску в центр стола и насадила фасоль на вилку.

– У кого-то сердце сегодня выросло на три размера, – заметила Иззи сестре. – Что с тобой такое?

– Да ничего, – ответила Лекси. – Я просто говорю. Это сложная ситуация, вот и все. – Она кашлянула. – Брайан рассказывал, даже его родители из-за нее спорят.

Сплин закатил глаза:

– Это дело разбивает семьи по всему Кливленду.

– И Джон, и Дебра имеют право на мнение, – сказал мистер Ричардсон. – Как и все за этим столом. – Его взгляд обежал комнату. – Трип, а что это за вести до меня доносятся про хет-трик на вчерашнем матче?

Но после ужина туман в голове у мистера Ричардсона не рассеялся.

– Ты считаешь, – спросил он жену, когда они убрали со стола, – что Марк и Линда знают, как воспитывать китайского ребенка?

Миссис Ричардсон уставилась на него.

– Как любого другого, я считаю, – чопорно ответила она, складывая тарелки в посудомойку. – В чем разница-то?

Мистер Ричардсон счистил остатки яичной лапши в измельчитель и протянул жене очередную тарелку.

– Все важное – то же самое, это да, – согласился он. – Но я о чем: когда девочка подрастет, у нее появится масса вопросов. Кто она, откуда взялась. Ребенок заинтересуется своим наследием. Они смогут ее научить?

– Ресурсов полно, – отмахнулась миссис Ричардсон, ненароком брызнув на столешницу каплями бефстроганова. – Что им помешает учиться вместе с ней? Это же их только сплотит – если они станут вместе изучать китайскую культуру?

У нее остались яркие детские воспоминания о том, как Линда пеленает свою Тряпичную Энни в старый платок и нежно укладывает спать. Миссис Ричардсон знала как никто, до чего яростно Линда Маккалла мечтала всю жизнь о ребенке, до чего глубоко в ней сидело желание стать матерью – сыграть эту магическую, восхитительную, ужасающую роль. Мия, подумала миссис Ричардсон, должна понимать: она же видела это в Райанах? Может, и пережила сама – не потому ли она сбежала с Пёрл? Миссис Ричардсон отерла столешницу пальцем, размазав пятно по граниту.

– Я считаю, Мирабелл невероятно повезло, вот честно. Она вырастет в доме, где расу не замечают вовсе. Никому ни на самую малую малость не важно, как она выглядит. Куда лучше-то? Иногда я думаю, – свирепо прибавила она, – нам всем так было бы лучше. Может, всех надо при рождении отдавать в семьи другой расы на воспитание. Тогда бы, может, проблема расизма решилась бы раз и навсегда.

Она с лязгом захлопнула посудомойку, вышла, а тарелки еще позвенели ей в спину. Мистер Ричардсон взял губку и начисто вытер липкую столешницу. Зря я рот открыл, подумал он, для нее это слишком личное; у нее перед глазами пелена; она так близко, что даже не сознает, до чего эта пелена густая. Ей кажется, тут все просто: Биби Чжоу – плохая мать, Линда Маккалла – хорошая. Одна живет по правилам, другая – нет. Но с правилами беда в том, размышлял мистер Ричардсон, что если есть правила, значит, есть верный способ поступать и неверный. А на самом деле в основном есть просто

способы, ни одного вполне верного или неверного, и не узнать наверняка, по какую сторону границы стоишь ты. Мистер Ричардсон всегда восхищался идеализмом жены – тем, как она верила, что мир можно изменить к лучшему, упорядочить, даже, пожалуй, довести до совершенства. Впервые он спросил себя, верит ли в это сам.

Вскоре, впрочем, стало ясно, что в смятении не один мистер Ричардсон. Похоже, судья тоже колебался. После слушаний миновала неделя, затем две, а решения так и не вынесли. В середине апреля Лекси предстоял контрольный визит в клинику, и, к удивлению Пёрл и Мии равно, она попросила Мию сходить с ней. – Там ничего не надо *делать*, – пообещала ей Лекси. – Но мне будет легче, если вы со мной.

Пыл ее был убедителен, и в назначенный день после десятого урока Лекси припарковала “эксплорер” перед домом на Уинслоу. Мия завела “кролика”, Лекси забралась на пассажирское сиденье, и они вместе уехали, будто Лекси – на самом деле Пёрл, будто Мия – на самом деле ее мать, везет ее по такому интимнейшему делу.

Вообще-то после первой поездки в клинику Пёрл навязчиво чудилось, будто мир перевернулся: словно, едва они с Лекси переночевали под одной крышей, Лекси заняла место Пёрл, Пёрл заняла место Лекси, и они так до сих пор и не распутались. Лекси ушла домой в одолженной футболке; Пёрл смотрела, как Лекси выходит за дверь в ее, Пёрл, одежде, и на миг накатила жуть: почудилось, что это уходит она сама. Наутро на постели Пёрл нашла рубашку Лекси, постиранную и аккуратно сложенную Мией, – видимо чтобы Пёрл вернула хозяйке в школе. Но Пёрл не сунула рубашку в сумку, а надела и в этой чужой коже как будто стала красивее, остроумнее, даже слегка дерзила на английском, позабавив и одноклассников, и учительницу. Когда прозвенел звонок, кое-кто оглянулся на Пёрл восхищенно, словно впервые заметил. Вот, значит, каково быть Лекси, подумала она. Лекси тоже пришла в школу – бледная, отчасти подавленная, с темными кругами под глазами, однако держалась.

– Ты мою рубашку сперла, стерва, – сказала она Пёрл, но с нежностью, а потом: – Тебе идет.

Прошли дни, рубашка и футболка вернулись хозяйкам, но в Пёрл по-прежнему звенела самоуверенность Лекси. И теперь, когда – редкий случай – дом опустел, Пёрл решила воспользоваться этим на всю катушку. Оставила записку Трипу в шкафчике; сказала Сплину, что во второй половине дня обещала матери помочь дома. Мия между тем

сказала Иззи, что у нее смена в ресторане (“Иди повеселись, – сказала она. – До завтра, ладно?”), и никого не было дома, когда Пёрл и Трип после школы приехали в дом на Уинслоу и поднялись в спальню. Трип был дома у Пёрл впервые, и ей казалось, что это грандиозно – лечь с ним там, где она решила сама, а не на древнем протертом диване в подвале у Тима Майклза, в компании “Плейстейшн”, настольного хоккея и старых трофеев с матчей по европейскому футболу, сувениров чужой жизни. На сей раз все произойдет в ее пространстве, в ее постели, и утром, когда Пёрл тщательно эту постель заправляла, в горле разливалось теплое сияние и она воображала, как на эту подушку ляжет голова Трипа.

Брошенный в одиночестве Сплин как раз захлопнул шкафчик и собрался домой, но тут его окликнули. Тим Майклз, с сумкой для физкультурной формы через плечо. Тим был высок, и крепок, и обыкновенно не то чтобы добр к Сплину: много лет назад, когда Тим и Трип дружили теснее и Тим забегал к Ричардсонам поиграть в видеоигры, он прозвал Сплина *Плинтус* – “Плинтус, принеси мне еще колы”, “Плинтус, убери башку, ты мне загораживаешь”. Сплин имел смелость предположить, что это из дружелюбия, но потом услышал слово в школе и понял, что оно означало на местном сленге. “Дэйв Мэттьюз Бэнд” – чума; Брайан Адамс – плинтус^[56]. Добраться до третьей базы – чума; наказали родители – плинтус. После этого, когда приходил Тим, Сплин отсиживался наверху и злорадствовал, когда Тим и Трип постепенно раздружились. А сейчас Тим окликал Сплина по имени – вспомнив его настоящее имя, – и трусил к нему по коридору театрального крыла.

– Чувак, – сказал Тим, добежав. – Знаешь чего-нибудь про таинственную телку твоего братана?

Сплин переварил этот вопрос не сразу.

– Таинственную телку?

– Он таскает ко мне домой телку, пока я на тренировке. Не говорит, кто она. – Тим перебросил сумку на другое плечо. – Трип – он, знаешь, не очень таинственный. Я прикидываю, либо она совсем левая, либо он сильно втюрился.

Сплин помолчал. Тим идиот, но лишен воображения. Он сочинять не будет. Закрадывалось подозрение.

– И ты ничего про нее не знаешь? – спросил Сплин.

– Вообще. Уже месяца, типа, два. Прямо подмывает как-нибудь сбегать домой и их застукать. Он тебе ничего не говорил?

– Он мне никогда ничего не говорит, – ответил Сплин, и толкнул дверь, и вышел на газон.

В беспокойстве он вернулся домой и узрел Иззи с книжкой на диване.

– А ты что так рано? – спросил он.

– У Мии сегодня другая работа, – ответила Иззи. Перевернула страницу. – Куда все провалились? А Пёрл не с тобой?

Сплин не ответил. Подозрение неприятно затвердевало. “У мамы новый проект, – сказала Пёрл. – Нужна лишняя пара рук”. Но вот же Иззи – прекрасная лишняя пара рук, и она дома и говорит, что Мия на работе. Не ответив сестре, Сплин бросил сумку на кофейный столик и пошел в гараж за велосипедом.

Всю дорогу до Уинслоу он твердил себе, что ему мерещится. Нет ничего такого, просто совпадение. Но через дорогу от дома, как он и предполагал, была припаркована машина Трипа. Сплин стоял, глядя на окно Пёрл, стараясь не думать о том, что творится внутри, не в силах отвести взгляд; ему показалось, это длилось часами. Он такой невинный, этот скромный кирпичный домик с чистой белой дверью, с бледно-красной опушкой цветов на персиковом дереве в парадном дворе.

Трип и Пёрл вышли, держась за руки, но Сплина потрясло не это. Между ними царил непринужденность, какая бывает – Сплин не сомневался – только между людьми, привычными к телам друг друга. Как они сталкивались плечами, шагая по дорожке. Как Пёрл наклонилась застегнуть молнию у Трипа на рюкзаке, как он потянулся убрать беглую прядь с ее лица. Затем оба подняли взгляды, и на тротуаре увидели Сплина верхом на велосипеде, и застыли. Они не успели вымолвить ни слова – Сплин брыкнул педаль и умчался.

Ему и в голову не пришло выяснять отношения с братом: от Трипа он ничего другого и не ждал. Всю свою ярость он берег для Пёрл, и под вечер, когда она на цыпочках поднялась по лестнице и постучалась к нему в спальню, Сплин был не в настроении выслушивать ее отмазки.

– Так само получилось, – сказала Пёрл, закрыв дверь.

По ее тону Сплин понял, что она не врет, но это едва ли утешало. Он закатил глаза – она сейчас слишком походила на персонажа подросткового сериала – и снова взялся настраивать гитару.

– Да пофиг, – сказал он. – Если тебе охота трахаться с этим лузером... – Пёрл поморщилась, и он невольно осекся. – Ты же в курсе, что он тебя использует, да? – после паузы сказал Сплин. – Он только это и делает. У него всерьез не бывает. Ему становится скучно, и он сваливает.

Пёрл вызывающе молчала. На сей раз все иначе – она была уверена. И оба не ошибались. Трип в самом деле быстро начинал скучать и редко вспоминал девушек, едва они исчезали с глаз. Но он никогда не встречал таких, как Пёрл: она не смущалась быть умной, не вполне встраивалась в упорядоченный мир Шейкер-Хайтс, хотя, может, сама того не сознавала. За последние два месяца она прокрадывалась в его мысли в самые неурочные часы: в химической лаборатории, на тренировке, по ночам, хотя обычно он засыпал быстро и смотрел банальные сны. Местные девчонки, с которыми он рос, – да и парни, если уж на то пошло, – были такие целеустремленные; такие амбициозные; такие самонадеянные; обо всем судили так уверенно. Они немножко походили на его мать и сестер: убежденно делили мир на правильное и неправильное, не сомневались, что умеют различать. Пёрл была умнее их всех, но ее не смущало неведомое: ей было уютно в серых лакунах. Она, обнаружил Трип, думала о важном, и в эти дни, после того как они были вместе, разговоры в итоге съезжали на важное. Как ему тяжело, что он не ладит со Сплином (“Мы братья, – сказал Трип. – Братья ведь дружат, да?”). Как в свои семнадцать он не понимает, чем заняться в жизни: все спрашивают, ему полагается думать про колледж, полагается *знать*, а он не знает, вообще ни малейших идей. Еще есть время, утешала его Пёрл, время всегда есть. Трипу рядом с Пёрл распахивался мир, а она рядом с Трипом прочнее стояла на земле, становилась не так абстрактна, реальнее.

– Ты в нем ошибаешься, – в конце концов сказала Пёрл Сплину.

– Да ничего, – ответил тот. – Ну, если тебя не парит, что ты его очередная победа. Я просто думал, ты себя больше уважаешь. – Он знал, что если поднять взгляд, в ее лице он прочтет боль, и подчеркнуто сверлил глазами гитару на коленях. – Я думал, ты умнее

этих шлюх, которые обычно с ним гуляют. – Он пальцем подергал струну, чуть потуже завернул колок. – Видимо, не угадал.

– Зато меня по крайней мере кто-то хочет. Зато я по крайней мере не доживу до конца школы озлобленной девственницей. – Пёрл подавила в себе порыв вырвать гитару у Сплина из рук и расколошматить об стол. – И, к твоему сведению, я не победа. Знаешь что? Я с ним первая начала.

Сплин еще никогда не видел, как Пёрл злится, и, к его смущению, первым делом ему захотелось разрыдаться. Он сам не знал, что тут сказать, – *Прости меня, я не хотел* – и только все острее жалел, что между ними так все повернулось, отчаянно и тщетно жаждал вернуться к тому, что было прежде. Вместо этого он закусил изнутри щеку, чтобы не расплакаться, и по языку растеклась едкая соленая кровь.

– Да пофиг, – после паузы сказал Сплин. – Но, знаешь... сделай одолжение, давай не будем об этом говорить. Хорошо?

Как выяснилось, разговаривать они перестали вообще. Наутро впервые пошли в школу поодиночке, сели в противоположных углах класса на первом уроке и на всех следующих уроках тоже.

В основном, твердил себе Сплин, он разочарован в Пёрл. Какая она все-таки мелкая: выбрала Трипа – Трипа, это надо же. Сплин не надеялся, что она выберет *его*, – конечно нет; он не из тех, в кого влюбляются девушки. Но Трип... это непростительно. Сплин будто нырнул в глубокое прозрачное озеро и обнаружил, что это не озеро никакое, а мелкий прудик по колено. Ну что делать? Встаешь. Смываешь тину с коленок, вытаскиваешь ноги из грязи. И с тех пор ведешь себя осторожнее. С тех пор знаешь, что мир не так уж и огромен.

Посреди алгебры, когда Пёрл ушла в туалет и никто не смотрел, Сплин открыл ее сумку и вытащил черный блокнотик-молескин, подаренный много месяцев назад. Как Сплин и предполагал, судя по корешку, блокнот даже не открывали. Вечером, одиноко сидя у себя в спальне, Сплин горстями выдирает страницы, мял и швырял в мусорную корзину. Когда в корзине выросла гора бумажных комьев, Сплин кинул сверху кожаную обложку – опустевшую, обвисшую, как стержень кукурузного початка, – и пнул корзину под стол. Пёрл даже

не заметила, что блокнот пропал, и от этого было почему-то больнее всего.

* * *

Между тем у Лекси тоже случились романтические невзгоды. После клиники она, по понятным причинам, чуралась спать с Брайаном, и напряжение сказывалось. Лекси не рассказала Брайану про аборт, и аборт отгораживал их друг от друга ширмой, затуманивал. Терпение Брайана истощалось.

– Да что с тобой такое? – проворчал он однажды, когда наклонился поцеловать Лекси, а она снова отвернула лицо и подставила щеку. – Опять ПМС?

Лекси вспыхнула.

– Мужчины, а? Всё на свете из-за гормонов. Из-за гормонов и месячных. Если б у мужчин случались месячные, они бы от боли сворачивались на полу клубочком, уверяю тебя.

– Слушай, если ты злишься, скажи, что я сделал. Я же не телепат, Лекс. Я не буду извиняться наугад.

– Кто сказал, что мне нужны извинения? – Лекси посмотрела на свои руки, будто ища шпартгалок на ладонях. – Кто вообще сказал, что я на тебя злюсь?

– А если не злишься, чего ты такая?

– Я просто хочу небольшой дистанции. Необязательно вечно меня лапать.

– Дистанции. – Брайан хлопнул ладонями по рулю. – У тебя месяц дистанция просто марафонская. Ты меня ни разу не поцеловала, типа, за неделю. Какой тебе еще дистанции?

– Может, бесконечной. – Слова выпали изо рта камнями. – Я уезжаю в Йель, ты будешь в Принстоне – может, так лучше.

Машину переполнила ошалелая тишина – оба размышляли, что это она такое сказала.

– Ты хочешь так? – в конце концов переспросил Брайан. – Ладно. Тогда все. – Он щелкнул кнопкой на дверце. – Ну пока.

Лекси закинула сумку на плечо и вышла из машины. Они припарковались в тихом переулке – они часто сюда приезжали, когда

хотели побыть наедине. *Не может быть, что он возьмет и уедет*, подумала она. *Не может быть, что все по правде закончится так*. Но едва она хлопнула дверцей, двигатель заворчал и машина тронулась. Брайан не оглянулся, хотя Лекси, кажется, заметила, как его глаза стрельнули в зеркальце заднего вида – всего разок, прямо у поворота.

Она бездумно зашагала: по тротуару, за угол, на центральную улицу, где часто ездила, но редко ходила пешком. Они с Брайаном дружили с восьмого класса, встречались почти два года. Лекси вспоминала все, что они делали вместе, – вопили с самой верхушки трибун на матчах “Индейцев”, Четвертого июля со стоянки у школы смотрели, как город пуляет фейерверки в ночную небесную вышину. Осенний бал – Брайан надевает розовый букетик Лекси на запястье, итальянские блюда у “Джованни”, которые оба не умели произнести, танцы в спортзале под “Фуджиз”^[57] до бисерин пота, а затем – склеившись в обнимку под “Не хочу ничего упустить”^[58], так близко, что их пот перемешивался. А теперь ничего этого нет. Лекси шла и шла, следуя изгибам дороги, изредка останавливаясь, чтобы пропустить машины, и наконец увидела, что ноги привели ее к месту назначения, которого она себе не назначала, хотя лишь здесь и хотела сейчас очутиться: не дома, а на Уинслоу. В окне второго этажа она разглядела Мию – та усердно работала, – и Лекси знала, что Мия скажет нужные слова и даст время все обдумать, осмыслить, что произошло, что произойдет дальше, почему Лекси бросила идеального, казалось бы, парня, идеальные отношения, как вышло, что все это вдруг развалилось.

Лекси взобралась по лестнице и открыла дверь в кухню; за столом подле Мии сидела Иззи – из бумажек складывала журавликов. Груды журавликов всевозможных размеров уже лежали на столе – разлетелись по столу, точно конфетти. Иззи покосилась на Лекси враждебно, но не успела открыть рот – Мия ее перебила:

– Лекси. Я тебе рада.

Она уступила Лекси стул, и та села, и лицо у нее совсем застыло – даже Иззи заподозрила неладное. Как будто Лекси вот-вот станет физически дурно. Иззи никогда не видела сестру такой.

– Ты что, больна? – спросила Иззи.

– Нормально, – пересохшими губами сложила Лекси. – Я нормально.

– Ты нормально, – сказала Мия, пожав ей плечо. – Все будет нормально.

Она достала из серванта еще одну кружку и поставила чайник.

Не глядя Иззи в глаза, Лекси сказала:

– Пока ты не спросила: мы с Брайаном расстались.

– Это жалко, – ответила Иззи, и оказывается, не соврала. Брайан всегда был с ней мил, пару раз, когда они с Лекси только начали встречаться, а Иззи еще училась в средних классах, разрешал ей пойти с ними выпить молочных коктейлей в “Искренне ваших”; иногда подвозил домой, если ехал мимо и замечал ее на тротуаре. Иззи глянула на Лекси, потом на Мию. – Мне как... лучше уйти?

Мия у плиты, вскрывая чайный пакетик, сделала вид, что очень занята. Лекси покачала головой.

– Остайся, – сказала она. – Все нормально. Я нормально. Просто... остайся.

После паузы Иззи подтолкнула к ней по столу бумажный квадрат, и Лекси взяла его и стала повторять за сестрой: сложить вдвое, потом назад, потом к центру, наружу, а затем взялась за уголки и потянула, и журавлик расцвел у нее в руках бледным цветком.

* * *

– Судья Райнбек говорит, что пока не готов принять решение, – сообщил мистер Ричардсон жене в последнюю неделю апреля.

Хэролду Райнбеку было шестьдесят девять лет – седовласый, давний поклонник бокса, увлеченный охотник-любитель, но при этом чуткий человек; он прекрасно сознавал, до чего эмоционально прихотливо это дело. Собственно говоря, весь месяц, с окончания слушаний, он не спал ночами, лежал часами кряду и думал про маленькую Мэй Лин Мирабелл, как он называл ее про себя, – педантично выказывая справедливость, он, слыша одно имя, про себя подставлял и другое, и в голове у него имена слились. С девочкой сидела няня, на слушания ребенка не брали – известно, что младенцы не любят продолжительных судебных заседаний, – и Эд Лим мудро водрузил себе на стол увеличенную фотографию Мирабелл, и все в зале смотрели на портрет с утра до ночи. В результате судья,

обдумывая выслушанные за день показания, воображал это детское личико и чем больше размышлял, тем безвыходнее становилось это дело. Судья уже остро сопереживал царю Соломону и по утрам, не выспавшись и не обретя легкости в мыслях, ни за что ни про что рывкал на клерков и секретаря, сам не понимая, с чего бы вдруг.

– Мука мученическая, – сказала миссис Маккалла подруге за сочувственной чашкой кофе. Как всегда, миссис Ричардсон пришла к ней, подальше от чужих глаз. – Чего еще ему надо? Что тут такого сложного?

Радионяня на столе затрещала, и миссис Маккалла сделала чуть погромче. Обе женщины примолкли, и кухню наполнило тихое сонное дыхание Мирабелл.

– А еще что-нибудь ты можешь сказать судье? – спросила миссис Ричардсон. – Как-то дополнить контекст? Может, ему стоит взвесить еще какие-то факторы. – Она подалась к миссис Маккалла: – Может, вы с Биллом о чем-то забыли? Почему опеку лучше присудить вам? Или... – Она замаялась, но все равно договорила: – Или почему Биби – негодная мать? Хоть что-нибудь.

Миссис Маккалла погрызла ноготь. У нее с детства водилась такая нервическая привычка, и в последнее время миссис Ричардсон снова ее подмечала.

– Ну... – начала миссис Маккалла и осеклась. – Это, наверное, неправда.

– Линда, это, может, твой последний шанс, – мягко сказала миссис Ричардсон. – Лучше выложить все, что есть.

– Просто подозрение. У меня нет никаких доказательств. – Миссис Маккалла вздохнула. – Месяца три назад я заметила, что Биби как-то... пополнела. Лицо округлялось, я прямо видела, когда она приходила с соцработницей за Мирабелл. И... грудь. И соцработница сказала странное. Она сказала, что в одну из встреч Биби внезапно убежала в туалет. Они сидели в библиотеке, Биби вдруг сунула ребенка Эдриэнн и умчалась. Эдриэнн сказала, что слышала, как Биби тошнит. – Миссис Маккалла посмотрела на миссис Ричардсон. – И я вот подумала: а вдруг она беременна? Она тогда такая измученная была. Меня прямо что-то укололо. Беременные – они такие... ну, видно, если присмотреться. Столько лет прошло, мы столько раз пытались, мои подруги беременели одна за другой – и каждый раз я

знала прежде, чем они говорили. Я каждый раз знала, что ты беременна. Помнишь, Елена?

– Ты знала, – подтвердила та. – Каждый раз. Я даже не успевала сказать.

– А потом, с месяц назад, она вдруг стала прежняя. Лицо разгладилось. Опять тощая и прямая как палка. И я вот подумала. – Миссис Маккалла вдохнула поглубже. – Я подумала, может, была беременность, но Биби ее прервала.

– Аборт. – Миссис Ричардсон выпрямилась в кресле. – Серьезное обвинение.

– Я не обвиняю, – возразила миссис Маккалла. – Я же говорю – доказательств нет. Только подозрение. И ты сама сказала – *что угодно*. – Она глотнула остывший кофе. – А если она сделала аборт, это что-то изменит?

– Не исключено. – Миссис Ричардсон поразмыслила. – Аборт, конечно, не делает ее плохой матерью. Хотя, если новость выплывет, общественное мнение будет, пожалуй, против нее. Люди не любят слушать про аборты. А делать аборт, когда пытаешься вернуть ребенка, которого бросила? – Она побарабанила пальцами по столу. – Как минимум это значит, что ей хватило опрометчивости опять забеременеть. – Миссис Ричардсон взяла подругу за руку, сжала. – Я проверю. Вдруг найду что-нибудь полезное? Если найду, сообщим судье.

– Елена, – вздохнула миссис Маккалла. – Ты всегда знаешь, как поступать. Что бы я без тебя делала?

– Биллу и Марку ни слова, – велела та, беря сумку. – Не будем их заранее обнадеживать. Доверься мне. Я все устрою.

На самом деле Биби не беременела. Стресс перед слушаниями, сегодня съемочная группа толчется у дверей ресторана, завтра репортер останавливает Биби на улице и тычет микрофоном ей в лицо, газеты, такое ощущение, высказываются чуть не каждый день, начальник ворчит, потому что Биби то и дело отпрашивается к адвокату, – короче, у нее развилось пристрастие к нездоровой еде: “Орео”, картошка фри, как-то раз – целый пакет свиных шкварок; за месяц Биби набрала пятнадцать фунтов. Восполняя отгулы, она брала лишние смены, работала до двух или трех ночи, закрывала ресторан, а назавтра приходила к девяти утра открывать. Этот период в памяти ее

запечатлелся лишь размытым пятном. А потом она отравилась – контейнер с остатками из ресторана слишком долго простоял в холодильнике, – и ее стошнило прямо в библиотеке перед соцработницей. После этого Биби не ела несколько дней, а когда оклемалась, выяснилось, что теперь, за считанные недели до суда, она так нервничает, что есть не может вообще. К началу слушаний она сбросила набранные пятнадцать фунтов и еще десять вдобавок.

Однако миссис Ричардсон ничего этого не знала. Не в силах доказать то, чего нет, она, что логично, отправилась на поиски доказательств того, что есть. Я могу раскопать что угодно, напоминала она себе. Даже если сама не знаю, всегда есть знакомые. На следующее утро она достала свой “Ролодекс” и перелистала до “М”: *Мэнуилл, Элизабет*.

Миссис Ричардсон и Элизабет Мэнуилл делили комнату на первом курсе колледжа, и хотя позднее переехали к другим соседкам, друг друга не теряли до самого выпуска и потом тоже. Они возродили свое приятельство, когда Элизабет переехала в Кливленд и возглавила медицинскую клинику чуть восточнее Шейкер-Хайтс – оказывается, единственную клинику в Ист-Сайде, где делают аборт.

У миссис Ричардсон был крошечный вопросик – крошечный, nepозволительный, слегка противозаконный вопросик. Нельзя ли глянуть в медкарты клиники и проверить, нет ли Биби Чжоу в списках тех, кто недавно делал аборт?

– Неофициально. Не для печати, – заверила миссис Ричардсон подругу, зажав трубку плечом и для надежности еще раз глянув, закрыта ли дверь в кабинет.

– Элена, – сказала Элизабет Мэнуилл, тоже закрывая дверь. – Ты сама понимаешь, что я не могу.

– Тут же ничего такого. Никто не узнает.

– Но это конфиденциальные данные. Ты знаешь, какие за это штрафы? Про этику я вообще молчу.

Элизабет Мэнуилл много лет дружила с миссис Ричардсон и немало ей задолжала, хотя сама она ни за что бы так не выразилась. В Денисон приехала как Бетси Мэнуилл, болезненно застенчивая девочка из Дейтона, – она вздыхала с облегчением, сбежав от насмешек, сопровождавших ее все старшие классы, страшилась, что в колледже все повторится. В свои восемнадцать Элизабет Мэнуилл

была легкой мишенью: очки вечно съезжают с носа, лоб шишковатый от прыщей, одежда старомодна и плохо сидит. Ее новая соседка походила на высокомерных девиц, испортивших ей последние годы в школе: красивая, роскошно одетая, со всем миром на ты, и в первую ночь Бетси плакала, пока не уснула.

Но Елена взяла ее под крыло и преобразила. Она одалживала Бетси губную помаду и лосьон, водила по магазинам, учила по-новому причесываться. Шагая на лекции с Эленой, сидя подле Элены в столовой, Элизабет набиралась уверенности. Заговорила как Елена – будто не сомневалась, что люди хотят слышать ее мнение, – стала держаться прямее, как танцовщица. К выпуску Элизабет стала другим человеком – Лиз Мэнуилл, в брючных костюмах, на каблуках, в круглых очках, почти выдававших ее ум; человеком, который позднее с легкостью займет пост руководителя клиники. В дальнейшие годы Елена – теперь уже миссис Ричардсон – по-прежнему ей помогала. У нее были обширные местные связи, она замолвила словечко за Элизабет, когда та подала заявление в клинику, а когда Элизабет взяли на работу и она переехала в Кливленд, Елена представила ее куче разного народу, в профессиональных кругах и личных. Собственно говоря, Элизабет и с мужем познакомилась на коктейльной вечеринке, много лет назад устроенной Ричардсонами; муж ее был коллегой мистера Ричардсона. Миссис Ричардсон никогда не просила вернуть долг, не намекала даже, и обе они остро это сознавали.

– Как там, кстати, Деррик? – внезапно спросила миссис Ричардсон. – И Маккензи?

– Все хорошо. У обоих. Деррик, конечно, на работе выкладывается.

– Не верится, что Маккензи уже десять, – задумчиво сказала миссис Ричардсон. – Как ей в Лорел?

– Счастлива. Стала гораздо увереннее. Мне кажется, школа для девочек – это многое меняет, знаешь? – Элизабет Мэнуилл помолчала. – Еще раз спасибо, что замолвила словечко.

– Бетси! Ну что за глупости. Я только рада. – Миссис Ричардсон побарабанила ручкой по столу. – Мы же друзья.

– Ты же понимаешь, я бы с удовольствием помогла. Но если узнают...

– Нет, естественно, ты не можешь мне *показать*. Разумеется. Но если мы, например, пойдем обедать, я заеду за тобой и нечаянно гляну тебе через плечо на список за последние месяцы, никто не скажет, что ты нарочно мне его показала, правда?

– А если эта женщина там есть? – спросила Элизабет. – Толку-то? Билл не сможет использовать это в суде.

– Если она там есть, он поищет другие доказательства. Бетси, я понимаю, что это громадное одолжение. Ему просто нужно знать, стоит ли копать. Если нет – ну и суда нет.

Элизабет Мэнуилл вздохнула.

– Ладно, – наконец сказала она. – В ближайшие дни я занята, но, может, в четверг?

Они уговорились вместе пообедать, и миссис Ричардсон повесила трубку. Скоро все разъяснится. Внезапно проснулось великодушие. Бедняжка, подумала она про Биби. Кто ее упрекнет, если она сделала аборт? Посреди дела об опеке, на низкооплачиваемой работе, после всего, что пережила с первым ребенком. Аборт – это всегда сожаления, подумала миссис Ричардсон; аборт – последняя мера, когда вариантов больше нет. Нет, миссис Ричардсон не могла упрекнуть Биби, хотя по-прежнему надеялась, что ребенок достанется супругам Маккалла. *Но она всегда сможет родить другого*, подумала миссис Ричардсон, как только встанет на ноги, – и снова открыла дверь кабинета.

Благодушие к Биби не иссякало в сердце миссис Ричардсон до самого обеда с Элизабет Мэнуилл. – Бетси, – сказала она, когда в четверг ее по звонку коммутатора впустили в кабинет. – Сколько же мы не виделись? Когда в последний раз? – Не помню. На каникулах в том году, наверное. Как дети?

Миссис Ричардсон минутку потратила на бахвальство: планы Лекси в Йеле, последний матч Трипа по лакроссу, хорошие оценки Сплина. Мимо темы Иззи она, как обычно, просквозила, но Элизабет не заметила. До этого самого мгновенья она собиралась помочь Элене; все-таки Элена столько для нее сделала, и вообще Элена Ричардсон не остановится, пока не добьется своего. Элизабет даже нашла потребные записи – список всех пациентов, прошедших процедуру в клинике за последние месяцы; список был открыт в отдельном окне на экране, прятался за таблицей с бюджетом. Но Элена трещала про своих расчудесных детей, про громкий судебный процесс мужа, про перестройку заднего двора, которую Ричардсоны устроят, едва настанет лето, – и Элизабет передумала. До встречи лицом к лицу она как-то запамятовала, что Элена зачастую разговаривает так, будто Элизабет – дитя малое, будто она, Элена, специалист по всем вопросам, а Элизабет надлежит за ней записывать. Ну, короче, вот что: Элизабет уже не дитя. Это ее кабинет, ее клиника. При виде Элены она по привычке взяла ручку, но теперь отложила.

– Странно будет в следующем году, когда в доме останутся только трое, – разглагольствовала тем временем миссис Ричардсон. – И, конечно, Билл с этим делом совсем вымотался. Помнишь Линду и Марка, нет? Вы у нас на каких-то вечеринках встречались. Линда пару лет назад рекомендовала тебе зооняню. Мы все надеемся, что эта история скоро закончится и ребенок останется у них навсегда.

Элизабет встала.

– Пошли обедать? – спросила она и потянулась за сумкой, но миссис Ричардсон и не приподнялась из кресла.

– Я хотела с тобой посоветоваться, Бетси, – сказала она. – Помнишь? – И одной рукой толкнула дверь.

Элизабет снова села и вздохнула. Ага, жди – так Елена и позабудет, зачем пришла.

– Елена, – сказала Элизабет. – Прости. Я не могу.

– Бетси, – тихо ответила миссис Ричардсон, – мне только одним глазком быстро глянуть. И все. Просто знать, есть ли там что выяснять.

– Не в том дело, что я не хочу помочь...

– Я бы никогда тебя не подставила. Я не стану *использовать* эти данные. Мне только понять, надо ли копать глубже.

– Я бы с радостью помогла, Елена. Но я подумала и...

– Бетси, сколько раз мы друг друга прикрывали? Сколько мы сделали друг для друга?

Бетси Мэнуилл, подумала миссис Ричардсон, всегда была малодушна. Вечно ее надо пинать – иначе не сделает даже того, чего сама хочет. На каждую мелочь ей нужно разрешение – намазать губы, купить красивое платье, поднять руку на семинаре. Рохла. Ей требуется твердая рука.

– Это конфиденциальная информация. – Элизабет выпрямилась. – Извини.

– Бетси. Должна признаться, мне обидно. Что после стольких лет дружбы ты мне не доверишь.

– Дело не в доверии, – начала Элизабет, но миссис Ричардсон продолжала, будто ее не перебивали.

Я столько для нее сделала, думала миссис Ричардсон. Я ее воспитывала, я ей была вместо родной матери, я выманивала ее из скорлупы, а теперь она сидит за большим столом в шикарном кабинете на работе, которой я помогла ей добиться, и крохотное одолженье не хочет мне сделать.

Миссис Ричардсон открыла сумочку, достала золотистый тюбик помады и карманное зеркальце.

– Ты же доверяла моим советам весь колледж, правда? И когда я сказала, что надо пойти на рождественскую вечеринку? Ты мне доверяла, когда я велела позвонить Деррику самой, а не ждать, пока не позвонит он. И ты была помолвлена... когда? К Дню святого Валентина. – Крохотными четкими мазками миссис Ричардсон обвела губы по контуру и со щелчком закрыла помаду. – Ты мне доверяла, и теперь у тебя есть муж и ребенок, и, по-моему, прежде от доверия ко мне тебе выходила только польза.

Эта филиппика подтвердила давние подозрения Элизабет: все эти годы Елена наращивала кредит. Может, она взаправду хотела помочь, может, действовала по доброте душевной. И однако вела учет всего, что сделала для Элизабет, до последней крохи поддержки, и теперь ждала уплаты. Елена считает, что я ей должна, сообразила Элизабет; Елена считает, что это по справедливости, что по правилам она должна получить то, что заслужила.

– Надеюсь, ты не думаешь, что и всем своим браком я обязана тебе, – сказала Элизабет, и миссис Ричардсон опешила от ее резкости.

– Конечно, я не о том... – начала она.

– Я всегда помогу тебе чем смогу, ты знаешь. Но есть закон. И этика, Елена. Я разочарована – удивительно, что ты вообще об этом просишь. Ты же всегда так переживала, что правильно, а что неправильно.

Глаза их скрестились над столом; миссис Ричардсон никогда не видела у Бетси такого ясного, такого прямого, такого яростного взгляда. Обе молчали, и в раздувшемся пузыре тишины на столе зазвонил телефон. Элизабет еще миг не отводила глаза, а потом сняла трубку:

– Элизабет Мэнуилл. (*Невнятное бормотание в динамике.*) Ты меня застал на пороге. Я ухожу на обед. (*В трубке еще побормотали. Миссис Ричардсон показалось, что там извиняются.*) Эрик, мне не нужны оправдания – мне нужно, чтобы все было сделано. Нет, я жду уже неделю. Больше ни минуты. Так, слушай, все, я сейчас спущусь. – Элизабет повесила трубку и повернулась к миссис Ричардсон: – Мне надо сбегать вниз – я жду отчета и приходится пинать их на каждом шагу. Одна из прелестей директорства. – Она поднялась. – Пять минут. Я вернусь, и сходим пообедать. Я с голоду умираю, а в полвторого у меня совещание.

Она ушла, а миссис Ричардсон посидела одна в ошеломлении. Бетси Мэнуилл так с ней разговаривала? Правда? Бетси Мэнуилл намекала, что она, миссис Ричардсон, поступает неэтично? И эта колкость напоследок, про *директорство* – словно Бетси напоминала ей, до чего она важная птица, словно говорила: *я теперь буду поважнее тебя*. Хотя миссис Ричардсон и помогла ей получить эту самую работу. Миссис Ричардсон поджала губы. Дверь в кабинет закрыта; снаружи никто не заглянет. Она обогнула стол, пихнула

мышь по коврику, и черный монитор Элизабет воссиял: таблица с расходами от начала года и по сей день. Миссис Ричардсон задумалась. Наверняка в клинике есть какая-то база данных с картами пациентов. Щелчком мыши она свернула таблицу – и опля, фокус-покус: окно со списком пациентов за нужный период. Миссис Ричардсон окатило самодовольство. Значит, Бетси передумала в последний момент. А я что говорила? Рохля.

Миссис Ричардсон склонилась над столом и торопливо пролистала список. Биби Чжоу не нашла. Но в глаза бросилось имя в конце, в первых числах марта. *Пёрл Уоррен*.

Спустя шесть минут, когда Элизабет Мэнуилл вернулась, миссис Ричардсон вновь сидела в кресле, безмятежная и невозмутимая, и только одной рукой стискивала подлокотник. Она опять открыла на экране таблицу с бюджетом, усыпила монитор, и Элизабет, после обеда вернувшись за стол, ничего не заметит. С облегчением закроет список пациентов, гордясь собой: наконец-то она бросила вызов Элене Ричардсон.

– Пошли обедать, Элена?

За сааг панир и курицей тикка масала миссис Ричардсон взяла Элизабет за локоть:

– Мы давние подруги, Бетси. Мне было бы очень больно, если бы эта история нас рассорила. Надеюсь, не стоит говорить, что я прекрасно все понимаю и не держу обиды.

– Ну конечно, – сказала Элизабет, вилоккой пыряя кусок курицы.

С самой клиники Элена Ричардсон была чопорна и холодновата. Всегда такая была, думала Элизабет: обворожительная, и великодушная, и сыплет любезностями, а потом, если ей что-то нужно, не сомневается ни секунды, что ты не сможешь отказать. Ну, значит, Элизабет совершила невозможное: она отказала.

– А Лекси по-прежнему в театре? – спросила она, и до конца обеда они сводили светскую беседу к общим знаменателям: дети, дорожные пробки, погода. Вообще-то эти две женщины обедали вместе последний раз, хотя до конца жизни будут сердечно друг с другом раскланиваться.

Выходит, невинная деточка Пёрл не так уж и невинна, размышляла миссис Ричардсон, возвращаясь на работу. Насчет личности отца у нее не было ни малейших сомнений. Она давно

подозревала, что Пёрл и Сплин не просто дружат, – в их годы, если мальчик и девочка столько времени проводят вместе, непременно случается *что-то*, – и она была в ужасе. Как они могли так сглупить? Миссис Ричардсон знала, до чего серьезно в Шейкер-Хайтс подходят к сексуальному воспитанию; два года назад она заседала в комитете школьного совета, когда одна родительница пожаловалась, что ее дочери на ОБЖ велели для тренировки надеть презерватив на банан. Подростки будут заниматься сексом, говорила тогда миссис Ричардсон; возраст, гормоны, мы не в силах помешать; лучшее, что тут можно сделать, – научить их беречься. Похоже, я была слишком наивна, думала она теперь. Какая безответственность – как они могли? И более настоятельный вопрос: как они умудрились скрыть от нее? Как это могло произойти прямо у нее под носом?

С минуту она подумывала заехать в школу, вызвать их из класса, поинтересоваться, что же это они за идиоты. Лучше обойтись без скандала, решила она. Иначе узнают все. Девушки в Шейкер-Хайтс время от времени делали аборт – это уж наверняка, они же подростки, – но подобные вещи, разумеется, скрывались. Никто не станет трубить о своей безответственности на весь мир. Все начнут судачить – миссис Ричардсон знала, как разлетаются слухи. И знала, что такое остается с девушкой навсегда. Уже не отмыться. Первым делом, как вернется домой, миссис Ричардсон поговорит со Сплином.

В редакции она едва успела снять пальто, и тут зазвонил телефон.

– Билл, – сказала она. – Что случилось?

Говорил мистер Ричардсон глухо, из трубки доносилась далекая суматоха.

– Судья Райнбек только что огласил постановление. Вызвал нас час назад. Мы такого совсем не ожидали. – Он откашлялся. – Она остается с Марком и Линдой. Мы выиграли.

Миссис Ричардсон опустила в кресло. Линда, наверное, так счастлива, подумала она. И в то же время в груди просквозила верткая змейка разочарования. Миссис Ричардсон предвкушала, как станет раскапывать прошлое Биби, найдет секретное оружие, которое закроет тему раз и навсегда. Но ее услуги и не понадобились.

– Это прекрасно.

– Они от счастья вне себя. Но Биби Чжоу это подкосило. Она кричала. Приставы вывели ее наружу. (*Пауза.*) Бедная. Ничего не могу

поделать – жалко ее.

– Она сама отказалась от ребенка, – откликнулась миссис Ричардсон. Она твердила дословно то же самое уже полгода, но на сей раз прозвучало не так убедительно. Она тоже откашлялась. – А Марк с Линдой где?

– Готовятся к пресс-конференции. Репортеры прознали и лезут из всех щелей – мы пообещали им официальное заявление в три. Так что я побегу. – Мистер Ричардсон испустил глубокий вздох. – Но все закончилось. Она теперь с ними. Надо только продержаться, пока история выдохнется, и всем можно жить дальше.

– Это прекрасно, – повторила миссис Ричардсон. Весть о Пёрл и Сплине давила на плечи, словно тяжелый мешок, ужасно хотелось выпалить эту весть, разделить с мужем бремя, но миссис Ричардсон прикусила язык. Не сейчас, сказала она себе. И решительно выбросила Сплина из головы. Сейчас надо праздновать победу с Линдой.

– Я приеду в суд, – сообщила она. – В три, ты сказал?

На другом конце города, у Мии на Уинслоу, за кухонным столом плакала Биби. Едва огласили постановление, она услышала ужасный вопль, такой пронзительный, что она зажала уши и свернулась клубком. Лишь когда пристав взял ее за локоть и повел из зала, до Биби дошло, что крик вырывается из ее рта. Пристав, у которого была дочь, примерно сверстница Биби, вывел ее в приемную и сунул в руки стаканчик еле теплого кофе. Биби пила этот водянистый кофе, глоток за глотком, зубами впивалась в пенопластовый ободок стакана всякий раз, когда в горле снова поднимался крик, и стаканчик, когда опустел, был весь изгрызен на куски. Слов не было – только пустота, кошмарная пустота, будто все нутро вычерпали по живому.

Когда Биби допила кофе и успокоилась, пристав мягко вынул обломки пенопласта у нее из рук и выбросил в корзину. А потом отвел Биби к задним дверям, где ждало такси.

– Отвезите ее, куда ей надо, – велел он, протянув шоферу две двадцатки из собственного бумажника. А Биби сказал: – Все будет нормально, милая. Все будет хорошо. Пути Господни неисповедимы. Не вешай нос.

Он захлопнул дверцу и пошел назад, качая головой. Так Биби избежала и телекамер, и съемочных групп, что выстроились у парадного входа, и пресс-конференции, которую днем проведут

Маккалла, и репортеров, надеявшихся спросить, собирается ли она в связи с вынесенным решением рожать снова. Вместо Биби все репортерские подачи отбивал Эд Лим, а такси мчалось по Стоукс-бульвару к Шейкер-Хайтс, и Биби, обхватив голову руками, привалившись к окну, упустила шанс в последний раз мельком увидеть дочь – соцработница из службы опеки пронесла ту из приемной по коридору и передала в заждавшиеся руки миссис Маккалла.

Спустя сорок пять минут – на дорогах были пробки – такси подъехало к домику на Уинслоу. Мия еще сидела дома, заканчивала работу; взглянув на Би-би, она тотчас все поняла. Подробности она узнает позже – кое-что от самой Биби, когда та успокоится, кое-что из вечерних теленовостей и утренних газет. Полная опека передана штату, с рекомендацией ускорить процесс оформления удочерения супругами Маккалла. Отмена права на посещение. Судебный запрет дальнейших контактов Биби с дочерью без маловероятного согласия Маккалла. Пока же Мия просто заключила Биби в объятия, отвела в кухню, поставила перед ней горячий чай и дала выплакаться.

Новости поползли по школе, едва прозвенел звонок с последнего урока. Моник Лим получила на пейджер сообщение от своего отца, Сара Хендрикс – ее отец работал на Пятом канале – от своего, а дальше слухи прыснули во все стороны. Иззи, однако, ничего не подозревала, пока после школы не явилась к Мие, не вошла в незапертую дверь, как обычно, и не поднялась в кухню, где увидела Биби, обвисшую за кухонным столом.

– Что случилось? – прошептала Иззи, хотя уже все поняла.

Она никогда не видела, чтобы взрослые так плакали – так позвериному выли. С таким безрассудством. Словно больше нечего терять. Она еще годами будет порой просыпаться по ночам с сердцебиением, потому что ей будет чудиться, что она вновь слышит эти душераздирающие рыдания.

Мия вскочила, выпроводила Иззи обратно на лестницу, прикрыла кухонную дверь.

– Она что... умирает? – шепнула Иззи.

Дурацкий вопрос, но она по-честному испугалась, что так оно и есть. Если душа может покинуть тело, она кричит вот так: будто скрежещет гвоздь, выдираясь из старой деревяшки. Иззи инстинктивно прижалась к Мие и зарылась в нее лицом.

– Она не умирает, – сказала Мия, обхватила Иззи руками, обняла покрепче.

– Но с ней все будет нормально?

– Она выживет, если ты об этом. – Мия погладила Иззи по волосам – они пушились под пальцами, как дымные клубы. Как у Пёрл, как у Мии в детстве: чем больше приглаживать, тем отчаяннее они стремятся на волю. – Она прорвется. Она обязана.

– Но как? – Не верилось, что человек может вытерпеть такую боль и выжить.

– Не знаю, честное слово. Но она прорвется. Иногда кажется, что всему конец, и тут находишь выход. – Мия поразмыслила, как лучше объяснить. – Как после пожара в прерии. Я однажды видела, много лет назад, в Небраске. Будто конец света наступил. Земля сожжена, вся почернела, зелени – ни клочка. Но после пожара почва богаче – и вырастает новая зелень. – Мия отодвинула Иззи, кончиком пальца отерла ей щеку, напоследок еще разок пригладила волосы. – С людьми, знаешь, то же самое. Начинают заново. Находят выход.

Иззи кивнула, шагнула прочь, обернулась снова.

– Скажите ей, что мне ужасно жалко, – попросила она.

Мия тоже кивнула:

– До завтра, ладно?

* * *

Тем временем Лекси и Сплин вернулись домой, и автоответчик сообщил им, что дело закрыто. *Закажите пиццу*, проинструктировал их материн голос сквозь шум. *Деньги в ящике под телефонным справочником. Я вернусь, когда сдам статью. Папа сегодня поздно – заканчивает с документами после слушаний.* “А Пёрл уже знает?” – подумал Сплин, но после ссоры они почти не разговаривали, и он удалился к себе, изо всех сил постарался не думать, чем сейчас занята Пёрл. Как он и догадывался, Пёрл была с Трипом и узнала новости лишь спустя несколько часов, вернувшись домой и увидев, что за кухонным столом по-прежнему сидит притихшая Биби.

– Всё, – вполголоса сказала дочери Мия, и этого хватило.

– Мне так жаль, Биби, – сказала Пёрл. – Мне... мне так жаль.

Биби не подняла головы, и Пёрл ушла в спальню и закрыла дверь.

Мия и Биби сидели в молчании, пока за окном не стемнело; в конце концов Биби поднялась.

– Она всегда будет твоим ребенком, – сказала ей Мия, взяв за руку. – Ты всегда будешь ее матерью. Этого не изменить.

Она поцеловала Биби в щеку и отпустила. Биби ни слова не произнесла – все это время она не произносила ни слова; может, колебалась Мия, спросить, о чем она думает; может, оставить ее здесь; с ней ничего не случится? На месте Биби, решила она, я бы не хотела, чтоб меня принуждали к беседе, – и чувство такта победило. Позже Мия поймет, что, видимо, Биби поняла иначе. Что в словах Мии она услышала дозволение. А если бы я надавила, станет гадать Мия, она бы рассказала, что задумала? А я, если б знала, остановила бы ее или помогла? Даже многие годы спустя Мия так и не сможет удовлетворительно ответить себе на этот вопрос.

Пресс-конференция непредвиденно затянулась: почти у всех СМИ нашлись вопросы к Маккалла, и те, ослепленные своей удачей, не уходили, пока не ответят всем. Они рады, что эта пытка закончилась? Еще бы, конечно, рады. Каковы их планы на ближайшие дни? Теперь, когда Мирабелл с ними насовсем, они возьмут передышку, побудут дома. Не терпится жить семьей. Что они приготовят для Мирабелл дома первым делом? Макароны с сыром, ответила миссис Маккалла, ее любимое. Когда завершится оформление документов на удочерение? Они надеются, что очень скоро.

На задах толпы подняла руку журналистка с Девятнадцатого канала. А они сочувствуют Биби Чжоу, которая больше никогда не увидит свою дочь?

Миссис Маккалла закаменела.

– Давайте не будем забывать, – огрызнулась она, – что Биби Чжоу не смогла позаботиться о Мирабелл, что Биби Чжоу бросила дочь, отказалась от своих материнских обязанностей. Конечно, мне грустно, что кому-то на долю выпало такое. Но важно помнить: суд решил, что мы с Марком – самые подходящие родители для Мирабелл, и теперь у нее будет надежный стабильный дом. По-моему, это говорит само за себя, нет?

Когда пресс-конференция завершилась и супруги Маккалла насовсем увезли Мирабелл домой, дело близилось к половине

шестого. Поскольку мистер Ричардсон участвовал в процессе, его жена не могла писать для “Сан-пресс” заметку о постановлении судьи, и вместо нее отрядили Сэма Леви. Миссис Ричардсон взяла его темы – муниципальную политику. Она наконец сдала материалы и прибыла домой лишь около девяти. Дети разбежались кто куда. Машин Лекси и Трипа нет, в кухне на столешнице нашлась записка: *Мам, уехала к Сирине, вернусь ~ 23 Л.* От Трипа записки нет, но это типично: Трип вечно забывал оставить записку. Обычно это раздражало, но сейчас миссис Ричардсон вздохнула с облегчением: когда в доме столько народу, непременно соберется чуткая аудитория, а сегодня ей аудитории не надо.

Дверь у Иззи была закрыта, в комнате завывала музыка. Иззи ушла наверх прежде, чем принесли пиццу, и с тех пор сидела у себя, размышляла о Биби – о том, какая та была уничтоженная. Иззи хотелось кричать, поэтому она сунула в проигрыватель диск Тори Эймос и посильнее выкрутила громкость, чтоб Тори Эймос покричала за нее. А еще Иззи хотелось плакать – а она никогда не плакала, не плакала уже много лет. Она лежала на кровати и, чтобы не лить слезы, впивалась ногтями в ладони, оставляя на них рядок полумесяцев. К тому времени, когда мать прошла мимо ее двери и дальше по коридору, к спальне Сплина, Иззи прослушала альбом четыре раза и как раз приступила к пятому.

Будь сегодня нормальный день, миссис Ричардсон открыла бы дверь, велела бы сделать потише, пренебрежительно отметила бы, до чего гнетущую и агрессивную музыку вечно слушает Иззи. Но сегодня у миссис Ричардсон были дела поважнее. Она прошагала по коридору и постучалась к Сплину.

– Мне надо с тобой поговорить, – сказала она.

Сплин валялся на кровати, что-то корябая в тетради, а рядом с ним валялась гитара.

– Чего, – сказал он, не подняв глаз.

Когда мать вошла, он не потрудился встать, и это раздосадовало ее еще больше. Она закрыла дверь, шагнула к постели и вырвала тетрадь у Сплина из рук.

– Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, – скомандовала она. – Я все знаю, между прочим. А ты думал, я не узнаю?

Сплин вытаращился:

– Что ты знаешь?

– Ты думал, я слепая? Ничего не замечу? – Миссис Ричардсон захлопнула тетрадь. – Вы оба вечно сбегаете куда-то. Я же не дура, Сплин. Конечно, я знала, чем вы занимаетесь. Но я не думала, что ты настолько безответственный.

Музыка у Иззи в спальне выключилась, но ни Сплин, ни мать не заметили.

Сплин оттолкнулся от кровати и неторопливо сел. – Ты о чем?

– Я все знаю, – повторила миссис Ричардсон. – О Пёрл. О ребенке. – Его потрясение, его огорошенное молчание ответило ей на все вопросы. Он не знает, догадалась она. – Она тебе не сказала? *(Взгляд Сплина медленно расфокусировался, отплыл от ее лица, точно лодка в дрейфе.)* Она тебе не сказала, – произнесла миссис Ричардсон, опускаясь рядом на постель. – Пёрл сделала аборт. – Ее уколола совесть. А если бы Сплин знал, вышло бы иначе? Сплин не отвечал, и миссис Ричардсон наклонилась, взяла его за руку. – Я думала, ты знал, – продолжала она. – Я сочла, что вы это обсудили и решили прервать.

Сплин медленно, холодно отнял руку.

– Мне кажется, ты ошиблась сыном, – сказал он. Настал черед миссис Ричардсон опешить. – Между нами с Пёрл ничего нет. Ребенок не мой. – Он усмехнулся – получился сдавленный, горький кашель. – Спроси лучше у Трипа. Это же он ее трахает.

Одной рукой Сплин забрал тетрадь у матери с колен и снова открыл, изо всех сил вперяя глаза в собственный почерк, чтобы не выпустить наружу слезы. Вот теперь это правда – правдивее прежнего. Она была с Трипом, он занимался с ней любовью, и она ему позволила, и вот что получилось. Миссис Ричардсон, впрочем, ничего не заметила. Она в ошеломлении поднялась и ушла к себе – обмозговать. “Трип? – размышляла она. – Да ну?” Ни она, ни Сплин не заметили, что в спальне Иззи вдруг повисла тишина, что дверь Иззи на щелочку приоткрыта, что Иззи тоже сидит в огорошенном молчании и переваривает услышанное.

* * *

На работу в пятницу утром миссис Ричардсон уехала рано – вышла на полчаса раньше, чтобы не встречаться с детьми. Накануне Лекси вернулась ближе к полуночи, Трип еще позже, и хотя обычно миссис Ричардсон распекала их за то, что явились поздно, хотя завтра в школу, на сей раз она не вышла из спальни и сделала вид, будто не слышит, как они стараются понезаметнее прокрасться по лестнице. Миссис Ричардсон пыталась разобраться. Из-за чрезмерного стресса она позволила себе второй бокал вина, уже теплого. Трип и Пёрл? Понятно, конечно, отчего Пёрл влюбилась в Трипа, с девушками это часто случалось, но вот что Трип нашел в Пёрл – это вопрос. Миссис Ричардсон уснула, беспомощно об этом гадая, и пробуждение ясности не принесло. Трип не из тех парней, размышляла она, задом выезжая из гаража, что влюбляются в серьезных интеллектуалок. Она, миссис Ричардсон, готова это признать, хоть она и мать Трипу, хоть она его и обожает. Трипу, ее прекрасному, солнечному, поверхностному мальчику, только внешность подавай, а внешне миссис Ричардсон не видела, чем Пёрл могла его привлечь. Так и у кого тогда скрытые глубины – у Пёрл? Или у Трипа? Этот вопрос занимал миссис Ричардсон до самой работы.

Все утро она прикидывала, что делать. Поговорить с Трипом? Поговорить с Пёрл? Поговорить с обоими? Чета Ричардсон не обсуждала с детьми их личную жизнь – когда у Лекси, а потом у Иззи начались месячные, миссис Ричардсон побеседовала с обеими про их обязанности. (“Уязвимости”, – поправила ее Иззи и удалилась из комнаты.) Но в целом миссис Ричардсон исходила из того, что детям ее хватает ума решать самостоятельно, а знаниями их вооружает школа. Если они *что-то творят*, как она иносказательно про себя выражалась, ей не нужно, ей неохота знать. Встать перед Трипом и этой девчонкой и сказать им: “Я знаю, чем вы занимались” – стыд и ужас, все равно что раздеть обоих догола.

В конце концов ближе к одиннадцати она, сама не соображая, что делает, села в машину и покатила к домику на Уинслоу. Мия, известное дело, сидит дома, корпит над своими фотографиями. Миссис Ричардсон открыла общую боковую дверь и вошла, не постучавшись. Это же все-таки ее дом, а не Мии; миссис Ричардсон тут домовладелица, имеет право. В квартире на первом этаже стояла тишина: одиннадцать утра, мистер Ян на работе. Но Мия в кухне:

наверху заурчал закипающий чайник, свисток ожил и умолк, когда чайник сняли с плиты. Миссис Ричардсон взобралась по лестнице, отметив, что по углам ступеней уже отстаёт линолеум. Надо починить, подумала миссис Ричардсон. А лучше всю лестницу – да нет, всю квартиру – ободрать и переделать.

Дверь была не заперта; миссис Ричардсон вошла в кухню, и Мия испуганно вздернула голову.

– Я никого не ждала, – сказала она. Чайник слабо взвизгнул, когда она поставила его на горячую конфорку. – Вы что-то хотели?

Взгляд миссис Ричардсон обмахнул квартиру: раковину, где еще стояли тарелки после завтрака Пёрл, груды подушек, что неубедительно изображала диван, полуоткрытую дверь в спальню Мии, где на ковролине лежал матрас. Какая убогая жизнь, подумала миссис Ричардсон; у них же почти ничего нет. А потом она заметила знакомую вещь, что висела на спинке одного из разномастных кухонных стульев, – куртку Иззи. Иззи забыла куртку в свой прошлый визит, и такая непринужденная беспечность оскорбила миссис Ричардсон. Можно подумать, Иззи живет здесь, можно подумать, здесь у нее дом, можно подумать, это Мия ей мать, а не миссис Ричардсон.

– Я всегда знала: что-то в вас такое кроется, – произнесла она.

– Пардон?

Миссис Ричардсон ответила не сразу. *Даже настоящей кровати нет, подумала она. Даже настоящего дивана. Какая взрослая женщина будет сидеть на полу, спать на полу? Что это за жизнь?*

– Вы думали, вам удастся спрятаться, да? – осведомилась она у кухонного стола, где Мия бережно сращивала фотографии собаки и человека. – Думали, никто никогда не узнает.

– Я вас не понимаю... – начала Мия. Она стискивала кружку, и костяшки побелели.

– Да ну? А вот Джозеф и Мэделин Райан наверняка понимают.

Мия умолкла.

– Наверняка они захотят узнать, где вы. И ваши родители захотят. Наверняка им ужасно любопытно будет узнать, где Пёрл. – Миссис Ричардсон стрельнула в Мию взглядом. – И не врите даже. Вы очень хорошо врите, но я все знаю. Я знаю о вас все.

– Что вам нужно?

– Я почти решила промолчать. Я подумала: пусть прошлое останется в прошлом. Может, она построила новую жизнь. Но, я вижу, дочь вы вырастили такой же аморальной.

– Пёрл? – Мия распахнула глаза. – Вы о чем говорите?

– Ну вы и лицемерка. Сначала крадете ребенка у Райанов, потом отнимаете у Маккалла.

– Пёрл – *мой* ребенок.

– Но сделали вы его не без чужой помощи, правда? – Миссис Ричардсон задрала бровь. – Мы с Линдой Маккалла дружим сорок лет. Она мне как сестра. И никто на свете не заслуживает ребенка больше, чем она.

– Вопрос не в том, кто чего заслуживает. Я считаю, мать имеет право растить своего ребенка.

– Да ну? Или вы так себя утешаете, чтоб спокойнее спалось по ночам?

Мия вспыхнула.

– Если бы Мэй Лин могла выбирать, вам не кажется, что она выбрала бы остаться со своей настоящей матерью? С матерью, которая ее родила?

– Может быть. – Миссис Ричардсон взгляделась в Мию пристальнее. – Райаны богаты. Они отчаянно хотели ребенка. Подарили бы ему чудесную жизнь. Если бы Пёрл могла выбирать, как думаете, она бы выбрала остаться с вами? Жить бродяжкой?

– Вас это нервирует, да? – вдруг спросила Мия. – У вас в голове не укладывается. Почему человек может выбрать не такую жизнь, как у вас. Почему человек может захотеть другого – не большого дома с большим газоном, новой машиной и работой в офисе. Почему человек может выбрать не то, что выбрали вы. – Настал ее черед взглядываться в миссис Ричардсон, словно ключ к пониманию таился в ее лице. – Вас это пугает до смерти. Вдруг вы что-то упустили? Отвергли что-то – и даже не знали, что оно желанно. – Улыбка жалости вздернула уголки ее губ. – Что это было? Мальчик? Призвание? Или вся жизнь?

Миссис Ричардсон перетасовала обрезки фотографий на столе. Осколки собаки и осколки человека под пальцами разделялись, и путались, и складывались вновь.

– Я думаю, вам пора съезжать, – сказала она. Сняла со спинки стула куртку Иззи и отряхнула, будто куртка замаралась. – К

завтрашнему дню. – Она выложила на столешницу сложенную сотенную купюру. – Это более чем возместит аренду до конца месяца. И на этом разойдемся.

– Зачем вы так?

Миссис Ричардсон направилась к лестнице.

– Спросите свою дочь, – ответила она, и дверь захлопнулась у нее за спиной.

В пятницу, когда в начале второго прозвенел звонок на седьмой урок, Пёрл села и кинула сумку возле стула. После школы она встретится с Трипом у его машины: утром он оставил ей записку в шкафчике. Лекси тоже оставила ей записку, после обеда: *Сегодня кино? “Столкновение с бездной”?*^[59]. Почти можно забыть, что со Сплином Пёрл больше не дружит. Они виделись в школе каждый день, но обычно он вскакивал, едва звенел звонок, и мчался за дверь, не успевала Пёрл закрыть папку. Сейчас Сплин сидел через проход, склонившись над “Отелло”. Пёрл гадала, вернется ли все на круги своя, будет ли между ними все как прежде. Секс многое меняет, понимала она теперь, – и не только между тобой и партнером, но между тобой и всеми остальными.

Она еще вертела в голове это открытие, и тут в классе зазвонил телефон. Обычно это означало, что у дирекции вопросы – потеряли список присутствующих, спрашивают опоздавшего ученика, – и Пёрл не обратила внимания, но затем миссис Томас повесила трубку, подошла и присела у ее парты.

– Пёрл, – вполголоса сказала она, – в дирекции говорят, за тобой приехала мать. Сказали взять с собой вещи.

Она вернулась к доске, где конспектировала третий акт “Отелло”, а Пёрл в недоумении собрала книжки. Надо к врачу, а она забыла? Случилось несчастье? Она инстинктивно глянула на Сплина за соседней партой – уже которую неделю у них не случилось ничего более похожего на разговор. Но Сплин тоже растерялся, и последнее, что она запомнила, уходя из класса, – его лицо, мгновение их общего смятения.

Пёрл вышла через естественно-научное крыло и увидела мать – та припарковалась у тротуара, стояла, привалившись к маленькому бежевому “кролику”, ждала.

– Вот ты где, – сказала Мия.

– Мам. Ты что тут делаешь?

Пёрл глянула через плечо – типическая реакция любого подростка, столкнувшегося с родителем на публике.

– У тебя в шкафчике осталось что-то важное? – Мия расстегнула сумку Пёрл и заглянула внутрь. – Кошелек? Документы? Хорошо, поехали. – Она повернулась к машине, и Пёрл вырвалась.

– Мам. Я не могу. У меня сейчас контрольная по биологии. И я встречаюсь... у меня встреча после школы. Мы дома увидимся, ладно?

– Я не об этом, – сказала Мия, и Пёрл разглядела морщинку у нее между бровей – значит, мать сильно переживает. – Нам пора уезжать. Сегодня.

– Что?

Пёрл огляделась. Перед ними разлегся тихий зеленый овал. Все сидят по классам, только стайка школьников сгрудилась прямо за границей школьной территории, на ближайшем островке безопасности, и курит. Все вокруг такое нормальное.

– Я не хочу уезжать.

– Я знаю, миленькая. Но надо.

Прежде, всякий раз, когда мать решала уезжать, Пёрл жалела разве что мимолетно – и всегда о мелочах: мальчик, которым она восхищалась издали, скамейка в парке, или тихий уголок, или библиотечная книжка, которую ужасно не хотелось оставлять. В основном, однако, она уезжала с облегчением: можно выскользнуть из этой жизни и начать новую, как змея, что сбрасывает кожу. На сей раз в ней поднялся лишь вал горя и гнева.

– Ты обещала, что мы останемся, – сипло сказала Пёрл. – Мам. У меня тут друзья. У меня...

Она огляделась, словно сейчас как из-под земли рядом вырастет кто-нибудь из детей Ричардсонов. Но Лекси в Комнате Отдыха доедает обед. Сплин сидит на английском, дискутирует об “Отелло”. А Трип... Трип будет ждать ее после школы, по ту сторону овала. Пёрл не появится, и он уедет. Ее посетила дикая мысль: если успеть добежать до дома Ричардсонов, она спасена. Миссис Ричардсон поможет – Пёрл не сомневалась ни секунды. Ричардсоны возьмут ее к себе. Ричардсоны никогда ее не отдадут.

– Ну пожалуйста. Мам. Пожалуйста. Пожалуйста, давай не будем уезжать.

– Я тоже не хочу. Но надо.

Мия протянула руку. Пёрл на миг вообразила, как превращается в дерево. Пускает корни глубоко-глубоко, и ничто не сдвинет ее с места.

– Пёрл, милая моя, – сказала мать. – Мне так ужасно жаль. Нам пора.

Она взяла дочь за руку, и Пёрл, выдранная с корнем, следом за матерью шагнула к машине.

* * *

В доме на Уинслоу их немногочисленные пожитки уже были упакованы: покрывало содрано с дивана, сам диван разобран на подушки; фотографии, которые Мия лепила на стены, уже в коробках. Мия паковалась быстро, умела впихнуть гору вещей в крошечное пространство. Но за год в Шейкер-Хайтс вещей накопилось больше прежнего – на сей раз и оставлять придется больше.

– Я думала, что все успею сама, – пояснила Мия, кладя ключи на стол. – Но надо было кое-что закончить. Сложи свою одежду. Что влезет в вещмешок.

– Ты обещала, – сказала Пёрл. В безопасном коконе их дома – их настоящего дома, уже привыкала думать Пёрл, – потекли слезы, сошла удушающая лавина ярости. – Ты говорила, мы останемся насовсем. Ты говорила, на этом *всё*.

Мия обхватила ее рукой:

– Я знаю. Я обещала. Прости меня. Тут кое-что случилось...

– Я не поеду.

Пёрл сбросила кеды на пол и ринулась прочь. Мия услышала, как грохнула дверь в спальню. Вздохнула, подобрала кеды за задники и пошла по коридору. Пёрл хлопнулась на постель – раскрыла учебник по математике, рывком выдергивала тетрадь из сумки. Олицетворенная ярость.

– Пора.

– Мне надо делать уроки.

– Нам надо сложить вещи. – Мия мягко закрыла учебник. – А потом нам надо уезжать.

Пёрл выхватила учебник и швырнула через всю комнату в стену – осталось черное пятно. За учебником полетели тетрадь, и ручка, и хрестоматия по истории, и стопка карточек, и сумка осела на полу, точно сброшенная кожа, а все, что было внутри, валялось по всей

комнате. Мия тихонько сидела рядом и ждала. Пёрл больше не плакала. Вместо слез – холодное безразличное лицо, выпяченный подбородок.

– Я тоже думала, что мы сможем остаться, – наконец сказала Мия.

– Почему? – Пёрл подтянула коленки к груди, обхватила их руками и взглядом прожгла мать. – Я никуда не поеду, пока не объяснишь почему.

– Справедливо.

Мия вздохнула. Она сидела подле Пёрл на кровати, разглаживала покрывало. Вторая половина дня. Солнечно. За окном ворковала плачущая горлица, тихо загудела газонокосилка, мимолетное облачко на миг накрыло их тенью и уплыло. Можно подумать, день как день.

– Я давно думаю, как тебе рассказать. Ты не представляешь, как давно.

Пёрл застыла, не сводя глаз с матери, – терпеливо ждала, понимая, что сейчас узнает нечто очень важное. Мия вспомнила Джозефа Райана – как он сидел за ужином, смотрел через стол, ждал ее ответа.

– Давай, – сказала Мия, вдохнув поглубже, – я сначала расскажу про твоего дядю Уоррена.

* * *

Когда Мия договорила, Пёрл посидела молча, пальцем водя по спиральной строчке, что вилась по стеганому покрывалу. Мия изложила историю в общих чертах, но обе понимали, что подробности будут всплывать еще долго. Будут просачиваться по капле, по крохе – вспоминаться внезапно, если дернуть за случайную ниточку: с памятью такое нередко бывает. Еще годами, заметив у дороги желтый домик, или помятую машину ремонтников, или двоих детей, что взбираются по холму, Мия будет говорить: “А я тебе рассказывала?..” – и Пёрл, наострив уши, станет подбирать очередные блистающие осколки своей истории. *Всё*, поймет она, в родстве с бесконечностью. До конца они, пожалуй, не дойдут, но могут добраться до той точки, где она, в сущности, узнает все, что нужно. Просто потребуется время – и терпение. А пока Пёрл узнала достаточно.

– И почему ты мне рассказываешь? – спросила она. – В смысле, почему *теперь*?

Мия глубоко вздохнула. Как объяснить человеку – как объяснить ребенку, любимому ребенку, – что предмету его восхищения нельзя доверять? Мия попыталась. Объясняла как могла и смотрела, как лицо Пёрл омывает смятение, затем боль. Пёрл не понимала: миссис Ричардсон всегда была так к ней добра, столько хорошего про нее говорила. Миссис Ричардсон, чей сверкающий внешний глянец завораживал Пёрл ее собственным отражением.

– Но она права, – договорила Мия. – Райаны подарили бы тебе чудесную жизнь. Любили бы тебя. И мистер Райан – твой отец. – Она никогда не произносила этого вслух, никогда не позволяла себе даже складывать эти слова в голове, и у них был странный привкус. – Твой отец, – повторила Мия. И краем глаза увидела, как Пёрл вылепливает слова губами, точно примеряет. – Хочешь с ними познакомиться? Можем съездить в Нью-Йорк. Их нетрудно найти.

Пёрл раздумывала очень долго.

– Не сейчас, – ответила она. – Может, потом. Но не сейчас. – Она, как в детстве, вжалась в объятия матери, умогилась под материным подбородком. И после паузы спросила: – А твои родители?

– Что мои родители?

– Они еще живы? Ты знаешь, где они?

Мия замялась.

– Да, – сказала она. – Пожалуй, знаю. Хочешь познакомиться с ними?

Пёрл склонила голову набок, и жест так отчетливо напомнил Мие Уоррена, что у нее перехватило дыхание.

– Когда-нибудь, – сказала Пёрл. – Может, когда-нибудь съездим.

Еще миг Мия обнимала дочь, зарывшись носом ей в пробор. Всякий раз утешало, что Пёрл пахла всегда одинаково. Она пахнет, вдруг подумала Мия, домом, словно *дом* – никакое не место; дом всегда был вот этим человечком, которого Мия таскает с собой.

– А теперь нам пора собираться, – сказала она. Половина четвертого. Уроки кончились, подумала Пёрл, складывая одежду. Сплин сейчас заходит в дом. Трип уже плюнул – или до сих пор ее ждет? Пёрл не появилась – он поедет ее искать? Матери она о Трипе так и не рассказала; пока не знала, расскажет ли когда-нибудь.

В дверь внизу постучали. Пёрл будто вызвала Трипа силой мысли – и обернулась к Мие, распахнув глаза.

– Пойду посмотрю, кто там, – сказала та. – Ты останься. Собирайся.

Если там миссис Ричардсон, подумала она... но нет, пришла Иззи – потерянно стояла на дорожке.

– Почему дверь заперта? – спросила она.

Месяцами Иззи каждый день приходила помогать Мие, и боковую дверь никогда не запирали. Дверь была открыта ей – всем детям Ричардсонов, сообразила она сейчас, – в любое время дня и ночи, какая бы ни приключилась беда.

– Я... у меня тут были дела.

Про Иззи Мия забыла напрочь и сейчас выдумывала правдоподобную отговорку.

– А Биби еще здесь? – Иззи не знала, почему еще Мия могла не пустить ее, отослать прочь.

– Нет, ушла домой. Я просто... была занята.

– Ладно. – Иззи на полшажка попятилась, и наружная дверь, которую она придерживала ногой, тихонько взвизгнула. – А Пёрл дома? Я... я хотела ей кое-что сказать.

Иззи пыталась перехватить Пёрл весь день; Иззи даже звонила ей вечером, но было занято: утешая Би-би, Мия сняла трубку с рычага и забыла положить обратно. Иззи звонила и звонила, а в первом часу ночи решила наконец, что разыщет Пёрл в школе. Надо ей рассказать, что говорил про нее Сплин; предупредить, что миссис Ричардсон в курсе про Трипа. Но Иззи не знала, как Пёрл ходит из класса в класс – по центральной лестнице, где толчея, или по задней, которая ведет в крыло английского? Обедает в столовой, или внизу в Эвакуации, или вообще на газоне? Всякий раз Иззи не угадывала, и бесилась, что снова и снова проморгала Пёрл, и еще больше бесилась от того, что оказывается, так плохо ее знает. После школы, пообещала себе Иззи, найду ее и все расскажу.

А теперь Иззи по лицу Мии видела, что дела плохи, но не понимала, что случилось. Мия уже знает? Пёрл досталось? Мия почему-то злится и на Иззи тоже?

Мия сверху вниз глядела в ее встревоженное лицо и не понимала, что Иззи будет больнее – ложь или правда. В итоге решила обойтись

без того и другого.

– Я ей передам, что ты заходила, ладно? – сказала Мия.

– Ладно, – повторила Иззи.

Держась за дверную ручку, она сквозь челку глянула на Мию. “Я что-то не то сделала? – гадала она. – Рассердила Мию?” Иззи, всегда говорила Лекси, не суждено играть в покер, и это правда: скрывать чувства Иззи не трудилась и не умела. В эту минуту она была такая юная, такая растерянная, и ранимая, и одинокая, и собственное предательство чуть не подкосило Мию.

– Помнишь, что я говорила? – спросила она. – Про пожар в прерии? Что иногда надо сжечь все под корень и начать заново? (*Иззи кивнула.*) Ну вот, – сказала Мия. Между ними распустилась долгая пауза. Мия не знала, как попрощаться. – Не забывай, – закончила она. – Иногда нужно начинать с нуля. Ты понимаешь?

Иззи не была уверена, что поняла, но снова кивнула. – До завтра? – спросила она, и сердце у Мии надломилось. Она не ответила, лишь притянула Иззи к себе и поцеловала в макушку – так она часто целовала Пёрл.

– Скоро увидимся, – сказала Мия.

Пёрл слышала, как затворилась дверь, но Мия поднялась в квартиру лишь спустя несколько минут, тяжело волоча ноги по ступеням.

– Кто там был? – спросила Пёрл, хотя уже и сама сообразила.

– Иззи, – ответила Мия, – но она ушла. И свернула к себе в спальню собираться.

Они уже столько раз это проделывали: два стакана один в другой, внутрь букетик приборов, стаканы в гнезда мисок, миски в гнездо кастрюли, кастрюлю в гнездо сковородки, все обернуть бумажным пакетом и проложить продуктами, которые долго хранятся, – пачка крекеров, банка арахисового масла, половина буханки хлеба. В другом пакете шампунь, кусок мыла, тюбик зубной пасты. Вещмешки с одеждой Мия запихала вниз под сиденья и покрыла одеялами. Ее фотоаппараты и расходники отправились в багажник вместе с посудой и туалетными принадлежностями. Все прочее – стол-книжка, который они выкрасили голубым, разномастные стулья, кровать Пёрл, и матрас Мии, и подушечная кочка, которую они называли диваном, – останется здесь.

Закончили они уже в глубоких сумерках, и Пёрл все думала о Трипе, и Лекси, и Сплине, и Иззи. Они сейчас у себя, в своем красивом доме. Трип гадает, почему она не пришла. Я его больше никогда не увижу, подумала Пёрл, и в горле вспыхнуло огнем. Лекси присела на кухонную столешницу, накручивает локон на палец, гадает, где Пёрл. А Сплин... им так и не выпадет шанс помириться.

– Это несправедливо, – сказала она, когда мать сунула остаток вещей в бумажный пакет.

– Да, – согласилась Мия. – Это уж точно.

Пёрл подождала родительской банальности: *Жизнь несправедлива или Справедливо не всегда означает правильно*. Но Мия лишь на миг притянула ее к себе, поцеловала в висок и вручила пакет:

– Иди отнеси в машину.

Когда Пёрл вернулась, мать выкладывала на кухонную столешницу бурый конверт.

– Это что? – спросила Пёрл, невольно заинтересовавшись.

– Это Ричардсонам, – ответила Мия. – Прощание, наверное.

– Письмо? А можно я прочту?

– Нет. Там фотографии.

– Ты их оставляешь здесь?

Прежде мать никогда нигде не оставляла свои работы. Съезжая с очередной квартиры, они забирали все взаправду свое – и не было ничего важнее фотографий Мии. Как-то раз, когда в багажнике “кролика” не хватало места, Мия, чтобы влезли снимки, повыбрасывала половину их одежды.

– Они не мои. – И Мия взяла со столешницы ключи.

– А чьи тогда? – не отступила Пёрл.

– Иногда, – сказала Мия, – фотографии принадлежат фотографу. А иногда – тем, кто на фотографиях. Готова?

И она щелкнула выключателем.

* * *

На другом конце города Биби сидела на тротуаре в тени припаркованного БМВ и через улицу наблюдала за домом Маккалла. Она так просидела довольно долго, а теперь уже половина восьмого, и

в доме ее дочь, наверное, купается. Линда Маккалла любит строгий режим, это Биби знала. “Я всегда считала, что устоявшиеся привычки привносят в жизнь покой”, – не раз говорила она Биби, особенно когда Биби опаздывала забрать дочь. Как будто, думала Биби, как будто просто высказывается, ничуть не судит, как будто говорит, что яблоки ей нравятся больше груш.

Включился свет в ванной наверху, и Биби вообразила эту картину: Мэй Лин держится за белую фаянсовую кромку ванны, одна ручка тянется потрогать воду, льющуюся из крана. Улица затихла, в гостиных мягко засияли лампы, кое-где голубизной мерцал телевизор, но, закрывая глаза, Биби почти слышала, как ее дочь хохочет, когда мелкие брызги усеивают крапинами ее лицо. Мэй Лин всегда любила воду; даже в те голодные дни она успокаивалась, если Би-би опускала ее в кухонную раковину вместо ванны, а когда не стало сил даже на это – Биби боялась, что ребенок вывернется из рук, боялась, что просто ляжет на потертый линолеум, а ребенок погрузится под воду, – Мэй Лин кричала громче. У миссис Маккалла, конечно, целая куча парфюмерии: всякие лосьоны, и мыла, и кремы специально для маленьких, с маслом ши, и с миндальным маслом, и с лавандой. Стоят рядом на краю ванны – нет, на красивой стеклянной полке, подальше от любопытных детских ручек, – и еще есть игрушки, целые ведра игрушек, а не старая банка из-под йогурта, чтобы споласкивать ей волосы, – нет, уточки и заводные лягушки. Дельфины. Лодочки и самолетики. Миниатюрные версии чудесной жизни, что предстояла Мэй Лин с Маккалла.

После купания миссис Маккалла завернет Мэй Лин в пушистое белое полотенце, такое мягкое, что, когда она его развернет, в нем отпечатается тело маленькой девочки, вплоть до пупка, будто вдавленного большим пальцем. Миссис Маккалла причешет Мэй Лин волосы – прямые, когда сухие, но волнистые, когда мокрые, в точности как у ее матери, – и засунет ее влажные руки и ноги в пижаму. Потом даст Мэй Лин бутылочку и уложит в постель. Биби посмотрела, как в ванной погас свет, а спустя миг – как свет зажегся в глубине дома, в спальне Мэй Лин. Мэй Лин уснет в тепле и сытости, в уютной кровати, уютившись под вручную связанную одеяльцем, и целая стена подушек будет оберегать ее от твердых прутьев. Мэй Лин уснет, миссис Маккалла включит ночник, закроет дверь и, сама ложась в

постель, уже будет предвкушать утро, когда она войдет в детскую, где ее ждет дочь Биби.

Биби привалилась головой к БМВ и подождала, когда у дочери в спальне погаснет свет.

* * *

Иzzi вернулась от Мии в пустой дом. С родителями все понятно – они на работе, но кто-нибудь из старших детей обычно дома. “Где Лекси? – подивилась она. – Где Сплин?” Трип, рассудила Иззи, наверное, с Пёрл, – хорошо бы перехватить ее до того, как вернется мать.

На самом же деле Трип и Сплин явились домой раньше обычного – Сплин сразу после школы, Трип, как ни странно, вскоре после. Трип был сварлив и не находил себе места; Сплин заподозрил – и угадал, – что Трип планировал встретиться с Пёрл, но что-то не сложилось.

– Не задался день?

Трип что-то буркнул.

– Она не пришла, – продолжал Сплин, цокнув языком. – Хреново, чувак. Но если подумать, а ты чего ждал?

– Что ты несешь? – сказал Трип, наконец обернувшись к Сплину, и того прошила дрожь злорадства.

– А ты что думал – ты у нее один? – сказал Сплин. – Ты думаешь, кому-то хватит тупости беречь себя для *тебя*? Поразительно, что до тебя раньше не дошло.

Сплин засмеялся, и тогда Трип бросился на него. Они так не дрались годами, с самого детства, и с внезапным облегчением Сплин засмеялся опять, хотя Трип заехал ему в живот и оба рухнули на пол. Пару секунд они повозились на плитке, полосуя дверцы шкафчиков грязью с подошв, а потом Трип зажал Сплина в захват, и на том драка закончилась.

– Заткнись, – прошипел Трип. – Заткни свою пасть, нахер.

С самого первого поцелуя Трип гадал, что Пёрл в нем нашла, гадал, не решит ли она – рано или поздно, – что ошиблась с выбором. Сплин будто заглянул ему в голову и вслух прочел все его страхи.

Сплин что-то лепетал, тянул Трипа за руку, и в конце концов Трип отпустил его и вылетел за дверь. Полчаса бесцельно покружив по улицам, он поехал к Дэну Саймону. До появления Пёрл Трип, Дэн и другие хоккеисты часами горбились вокруг Дэновой “Нинтендо”, играя в “Золотой глаз”, и Трип надеялся, что игровое марево отвлечет его от слов Сплина, от раздумий о том, правдивы ли эти слова. Сплин тем временем направился на озеро Подкова, где про себя перебирал все то, что хотел высказать брату – сегодня и за многие годы.

Иzzi, одна дома, снова и снова вертела в голове слова Мии. *Иногда нужно начинать с нуля.* В пять вечера Мия так и не приехала готовить ужин, и под ложечкой у Иззи неприятно засосало. И засосало пуще, когда в половине шестого позвонила мать.

– Мия сегодня не может, – сказала она. – Я по дороге куплю какой-нибудь китайской еды.

Когда наконец в самом начале седьмого вернулся Сплин, Иззи сбежала вниз.

– Где все? – спросила она.

Дернув плечами, Сплин выбрался из фланелевой рубашки и кинул ее на диван. Не один час он просидел на озере, бросал камешки в воду, размышлял о Пёрл и о брате. *Ты посмотри, что ты с ней сделал, в ярости думал он. Что ей пришлось пережить. Как ты мог?* Он закинул в воду все камешки, какие нашел, и ему все равно не хватило.

– Мне-то откуда знать? – ответил он Иззи. – Небось Лекси у Сирины. Где Трип – хер его знает. – Сплин умолк. – А тебе-то что? Я думал, ты любишь одна.

– Я искала Пёрл. Ты ее не видел?

– Видел на английском. – Сплин пошел в кухню за газировкой, Иззи следом. – С тех пор нет. Она ушла раньше. – Он глотнул из банки.

– Может, она с Трипом? – предположила Иззи.

Сплин сглотнул и промолчал. Заметив, что он не опровергает ее гипотезы, Иззи воспользовалась преимуществом.

– Это правда, что ты вчера говорил про Трипа и Пёрл?

– Судя по всему.

– Зачем ты маме рассказал?

– Я не знал, что это секрет. – Сплин отставил банку на столешницу. – Не то чтобы они прямо шифровались. И я не подписывался их покрывать.

– Мама сказала... – Иззи замялась. – Мама сказала, Пёрл сделала аборт?

– Сказала.

– Пёрл не делала аборт.

– А ты откуда знаешь?

– Оттуда.

Иззи не могла объяснить, но знала точно. Трип и Пёрл – в это поверить легко. Иззи месяцами замечала, как Пёрл смотрит на Трипа – точно мышь на кота, жаждет, чтоб ее сожрали. Но беременность? Пёрл? Иззи сосредоточилась. Может, Пёрл была какая-то странная?

Иззи замерла. Она вспомнила день, когда пришла к Мие, а там сидела Лекси. Что Лекси тогда сказала? Что приехала к Пёрл, Пёрл помогает ей с сочинением. Лекси, обычно вся такая причесанная, была лохматая и бледная, волосы в вислом хвосте, и Мия очень быстро Иззи шуганула. Иззи поразмыслила еще. Лекси вернулась на следующий день, в любимой зеленой футболке Пёрл, той, что с Джоном Ленноном на груди. С пластиковым пакетом – в пакете что-то лежало. Лекси весь вечер просидела у себя, не вышла к ужину – опять же, на нее не похоже, аппетит у нее будь здоров – и ходила кислая еще не одну неделю. В сущности, даже сейчас сестра не так кипуча, не так бойка, точно в ней закрыли заслонку. И они с Брайаном расстались.

– Где Лекси? – снова спросила Иззи.

– Я же говорю. По-моему, у Сирины. – Сплин схватил Иззи за локоть: – Насчет Трипа и Пёрл ни слова, поняла? По-моему, она не знает.

– Что ж ты за мудака, а? – Иззи вырвала руку. – Пёрл не была беременна. Ты вообще понимаешь, что ее теперь, наверное, убьют, и мама, и ее мать, а ты ее с потрохами сдал вообще не пойми почему?

Сплин побелел, но лишь на миг. Затем тряхнул головой:

– Плевать. Она заслужила.

– *Заслужила?* – вытаращилась Иззи.

– Она тайком бегала к Трипу. К *Трипу*, ты вдумайся. Ей по барабану, что... – Он осекся, будто слишком сильно нажал на свежий синяк. – Слушай, она решила давать кому попало. Дальше сама виновата. Заслужила.

– У меня нет слов.

Иззи никогда не видела брата таким. Сплин, самый рассудительный в семье; Сплин, кто всегда за нее, даже если она предпочитает не слушать его советов. Сплин, единственный здесь, на кого она всегда могла положиться, потому что он все понимает лучше нее.

– Ты сознаешь, – сказала Иззи, – что мама, наверное, все свалит на Мию?

Сплин переступил с ноги на ногу.

– Ну, – сказал он, – может, Мие стоило получше следить за дочерью. Может, стоило учить ее отвечать за свои поступки.

Он потянулся за банкой газировки, но Иззи его опередила. Холодный металл вмазался Сплину в скулу, в лицо ударили брызги шипучки и пены. Когда Сплин проморгался, Иззи уже исчезла, и он остался один, и только банка медленно катилась по мокрым плиткам.

* * *

Сирина жила на Шейкер-бульваре, у здания средних классов школы, почти в двух милях от Ричардсонов. Спустя сорок минут Сирина открыла дверь на звонок и на крыльце узрела задыхающуюся Иззи.

– Ты что тут забыла, психичка? – спросила Лекси, спустившись к двери следом за Сириной.

– У меня к тебе вопрос, – ответила Иззи.

– А про телефоны ты никогда не слыхала?

– Заткнись. Это важно.

Иззи потянула сестру за локоть в гостиную, и Сирина, знакомая с семейной динамикой Ричардсонов, удалилась в кухню, чтоб они поговорили наедине.

– Ну что, – сказала Лекси, когда они остались одни.

– Ты сделала аборт?

– Что? – Лекси перешла на шепот.

– Когда мама уезжала из города. Сделала?

– Не твое собачье дело. – Лекси отвернулась, но Иззи так запросто с пути не свернешь.

– Ты сделала аборт, да? Когда говорила, что ночевала у Пёрл.

– Это не преступление, Иззи. Куча людей делает аборты.

– И Пёрл ездила с тобой?

Лекси вздохнула:

– Она меня возила. И пока ты не перешла к высоконравственным нотациям...

– Лекс, мне твоя нравственность до фонаря. – Иззи нетерпеливо отбросила волосы с лица. – Мама считает, что аборт сделала Пёрл.

– Пёрл? – рассмеялась Лекси. – Извини, но это смешно. Наша маленькая Пёрл, дева невинная.

– Видимо, у нее есть причины.

– Я записалась к врачу под ее именем, – сказала Лекси. – Пофиг. Пёрл не возражала. – Лекси опять шагнула к двери и снова развернулась: – И не смей никому рассказывать. Ни Сплину, ни маме, никому. Поняла меня?

– Эгоистичная ты сука, – сказала Иззи.

Не попрощавшись, она мимо Лекси вылетела в прихожую и по дороге к двери чуть не сбила с ног Сирину.

Еще сорок минут она пешком добиралась на Уинслоу, а добравшись, поняла: что-то не так. Все окна наверху темны, на дорожке нет “кролика”. Иззи помялась перед домом, поковыряла пальцем персиковое дерево, на котором съезживались и бурели цветы. Потом обошла дом и звонила в боковую дверь, пока ей не открыл мистер Ян.

– А Мия дома? – спросила Иззи. – Или Пёрл?

Мистер Ян покачал головой:

– Уехать, может бывать, пять, десять минут.

Сердце у Иззи свинцово похолодело.

– А они не сказали, куда едут? – спросила она, но уже знала правду: она не успела, их больше нет.

Мистер Ян опять покачал головой:

– Мне они не сказать.

Он выглянул из-за штор и успел заметить, как Мия с Пёрл осторожно пятятся со двора в машине, набитой сумками и коробками, и уезжают в сгущающуюся темноту. Хорошие они люди, грустно подумал он и пожелал им счастливого пути, куда бы они ни держали путь.

Записка, в панике подумала Иззи; наверняка есть записка. Мия не уехала бы, не попрощавшись.

– А можно я зайду и кое-что проверю в квартире? – спросила она. – Я там ничего не трону, честное слово.

– Есть ключ? – Мистер Ян открыл дверь, и Иззи захохотала вверх по лестнице. – Может быть, дверь запертая?

Дверь и впрямь оказалась заперта; Иззи стучала, трясла дверную ручку, потом сдалась и опять спустилась.

– У меня нет ключ, – сказал мистер Ян. Он придержал наружную дверь, и Иззи выскочила на крыльцо. – Просить твою маму, у нее ключ.

Двадцать пять минут Иззи шла до дома, куда – хотя она об этом не узнает – Мия и Пёрл только что завезли ключи от дома на Уинслоу. Еще полчаса искала материны запасные – нашлись в кухне, в ящике для мелочей. Действовала она тихо, на оставленную ей коробку с остатками ло-мейн и курицы с апельсинами даже не глянула, старалась не потревожить ни братьев, ни родителей, которые к тому времени разбрелись по дому и попрятались по своим углам. На Уинслоу-роуд она вернулась в половине десятого, и мистер Ян – который по будням, когда водил школьный автобус, вставал в 4:15 и соблюдал режим – уже лег в постель. Так что никто не слышал, как Иззи вошла через боковую дверь, отперла квартиру Мии и Пёрл и наконец-то перешагнула порог, в глубине души зная, что опоздала, что они уехали навсегда.

* * *

К девяти утра дом Ричардсонов тоже почти опустел. Мистер Ричардсон уехал в офис, наверстывать, как он часто поступал субботними утрами, – из-за последних событий в деле Маккалла он запустил все остальное. Лекси спала на другом конце города в громадной постели Сирины. Трипа и Сплина тоже не было: Трип уехал отвлекаться, погонять мяч в общественном центре, а Сплин на велосипеде покатыл к Пёрл, где намеревался извиниться, но – к своему оцепенелому ужасу, – обнаружил запертую дверь и не нашел “фольксвагена”. И Иззи знала, что утром в субботу миссис Ричардсон всегда ездит в общественный центр плавать в бассейне. Мать – такая

рабыня своих привычек, что Иззи даже не заглянула к ней в спальню. Уверена была, что в доме никого.

Одна-единственная мысль билась у Иззи в голове всю ночь: это несправедливо, все это ужасно несправедливо. Что Мие и Пёрл пришлось уехать, что они наконец-то создали себе дом, а их оттуда изгнали. Иззи в жизни не встречала таких добрых людей, таких заботливых, таких искренних, а ее семья, семья Иззи, их выперла. Про себя она перечисляла предательства. Лекси соврала; она использовала Пёрл. Трип ею злоупотребил. Сплин ее предал – нарочно. Отец Иззи крадет детей. А мать... о, мать – корень всех зол.

Иззи вспоминала дом Мии, что сиял золотым теплом. Всю жизнь Иззи была жестка и сердита; мать вечно придиралась, Лекси и Трип вечно насмехались. Мия была не такая. И с Мией Иззи была другой – она и не подозревала, что может такой быть: Мия приняла ее и словно околдовала, и Иззи стала любопытна, и добра, и открыта. Смогла наконец говорить, не врезаясь немедленно лбом в затвердевший панцирь своей уютненькой жизни, точно увидела вдруг, что прочные стены, заточившие ее, – на самом деле решетки и между прутьями прорехи, и они широки, и сквозь них можно ускользнуть. Сейчас Иззи воображала, как вернется к прежней жизни – к жизни в их красивом, идеально упорядоченном, обильно обставленном доме, где трава всегда подстрижена, листья всегда аккуратными кучами и никогда никакого мусора на виду; в их красивом, идеально упорядоченном районе, где на каждом газоне деревце, а улицы изгибаются так, чтобы никто не носился сломя голову, и каждый дом под цвет соседних; в их красивом, идеально упорядоченном городе, где все между собою ладят, и все живут по правилам, и все должно быть красиво и идеально снаружи, а какой бардак внутри – это никого не волнует. Иззи не могла притворяться, будто ничего не было. Мия отворила в ней дверь, которую уже не захлопнуть.

А потом она вспомнила день, когда познакомилась с Мией, и как Мия спросила ее: *И что ты будешь делать?* Тогда Иззи впервые в жизни поняла: что-то сделать можно. А теперь она еще вспомнила, что Мия сказала ей в последнюю встречу, – слова, что с той минуты отдавались в голове неумолчным эхом: что иногда нужно начинать с нуля. Земля сожжена, сказала Мия, и тут Иззи поняла, что будет делать.

Она планировала всю ночь и теперь, когда час настал, даже не задумалась. Она словно выступила за пределы себя и смотрела, как действует кто-то другой. У отца в гараже всегда стояла канистра горючего – для снегоочистителя и для генератора, на случай, если в грозу вырубится электричество. На постели сестры, затем на постелях братьев Иззи жидкостью из канистры нарисовала аккуратные кружочки. На цветастом покрывале Лекси осталось темное масляное пятно, и на подушке Трипа, и на клетчатых простынях Сплина. Когда закончила в спальне у Сплина, канистра опустела, и Иззи удовольствовалась тем, что оставила ее под закрытой дверью родительской спальни. Затем положила ключи от дома на Уинслоу обратно в ящик и достала коробок спичек.

Не забывай, сказала Мия. Иногда надо сжечь все под корень и начать заново. После пожара почва богаче – и вырастает новая зелень. С людьми, знаешь, то же самое. Начинают заново. Находят выход. Иззи подумала о Мие, и глаза стало жечь, и Иззи чиркнула первой спичкой о коробок. На плече у нее висела сумка, куда она запихала смену одежды, все деньги, что у нее были. Вряд ли они успели далеко уехать, думала она. Еще есть время их отыскать. Шкурка на коробке заскребла под спичечной головкой, как ногти по школьной доске, и пахнуло серой, и головка ярко вспыхнула, и тогда Иззи уронила спичку на цветастое одеяло сестры и выбежала за дверь.

Пожарные машины уехали, скорлупа дома Ричардсонов зияла чернотой и тихонько дымилась; миссис Ричардсон плотно закуталась в банный халат и приступила к инвентаризации. Вот мистер Ричардсон – на их бывшей парадной дорожке беседует с капитаном пожарной команды и двумя полицейскими. Вот Лекси, и Трип, и Сплин – сидят на капоте машины Лекси на той стороне улицы, наблюдают за родителями, ждут указаний. От внимания миссис Ричардсон не укрылось, что Иззи нет, но – она была уверена – об этом муж и беседует сейчас с полицией. Дает им описание, просит ее отыскать. *Изабелл Мари Ричардсон*, подумала миссис Ричардсон в ярости пополам со стыдом. *Что же ты натворила?* Ровно то же она сказала и полицейским, и пожарным, и детям, и сконфуженному супругу.

– Вот безголовая, – сказала миссис Ричардсон. – Как она могла?

Позади нее пожарный поставил обгорелые останки канистры в машину – несомненно, переправить в страховую компанию.

– Когда Иззи вернется, – вполголоса заметила Лекси Трипу, – мама ее *уроет*.

Лишь когда капитан спросил, где они будут жить, миссис Ричардсон явилось самоочевидное решение.

– В нашем арендном доме, – сказала она. – На Уинслоу-роуд, возле Линнфилда. – Озадаченному мужу и детям она пояснила только: – Он вчера освободился.

Пришлось поманеврировать, чтобы уместить три машины на узкую дорожку у дома, и когда Лекси наконец припарковала “эксплорер” у обочины, миссис Ричардсон вдруг испугалась, что квартира не пуста: что они поднимутся по лестнице, и откроют дверь, и увидят, что Мия с Пёрл по-прежнему там, безмятежно обедают за столом, не желают уезжать. Или, может, Мия сделала напоследок некое заявление: бардак, который придется убирать, битые окна или вмятины в стенах – на прощанье показать средний палец домовладельцам. Но когда семейство Ричардсон все-таки припарковало все четыре машины и вошло по лестнице – к немалому замешательству мистера Яна, – наверху не было ни души, лишь

несколько предметов мебели. Миссис Ричардсон кивнула, одобрительно и с облегчением.

– Тут все совсем по-другому, – пробормотала Лекси.

И в самом деле. Три оставшихся отпрыска Ричардсонов теснились в дверях между гостиной и кухней, так близко, что почти касались друг друга плечами. Шкафчики в кухне пусты, два разномастных стула аккуратно задвинуты под шаткий стол. Сплин думал о том, сколько раз сидел за этим столом подле Пёрл, делал уроки, жевал хлопья из коробки. Лекси окинула взглядом гостиную: лишь несколько подушек штабелем на ковролине, стены голы, не считая редких дырок от кнопок в штукатурке. Трип покосился на спальню – через открытую дверь он видел кровать Пёрл, без простыней и одеял, оголенную до матраса и рамы.

Прекрасно сгодится, решила миссис Ричардсон. Две спальни, одна для взрослых, другая для мальчиков. Девочки – она по-прежнему была убеждена, что Иззи вскоре к ним вернется, – могут спать на застекленной террасе. Ванная комната и туалет с раковиной – ну, придется делиться. Это же ненадолго, пока они не найдут что-нибудь более подходящее, пока не отремонтируют их дом.

– Мам, – окликнула Лекси из кухни. – Мам, смотри.

На столешнице лежал большой манильский конверт, набитый бумагами. Может, забыли по случайности – какие-то документы Мии или школьная работа Пёрл, например, не замеченные в спешке отъезда. Но еще прежде, чем рука прикоснулась к конверту, миссис Ричардсон поняла, что нет, не по случайности и не забыли. Бумага под пальцами была точно атлас, клапан аккуратно закрыт, но не заклеен, и когда миссис Ричардсон ногтем подцепила скрепку и открыла конверт, оставшиеся Ричардсоны сгрудились вокруг посмотреть, что внутри.

Каждому по одной. Мия бережно вложила их внутрь – то ли портреты, то ли пожелания, уловленные бумагой. Миссис Ричардсон аккуратно рядом выкладывала фотографии на стол, и каждый Ричардсон понимал, которая предназначена ему, узнавал мгновенно, как узнал бы собственное лицо. Для других – просто фотография, но для них – нестерпимо интимно, все равно что мельком заметить свое нагое тело в зеркале.

Лист бумаги, разрезанный на полосы, тонкие, как спички, сплетенные в сеть. В этой сети завис округлый тяжелый камень. Текст

располосован на нечитабельные фрагменты, но Лекси мгновенно узнала этот бледно-розовый цвет – выписка из клиники. На одной полоске различалась нижняя половина ее подписи – нет, ее подделанной подписи: имя Пёрл почерком Лекси. Она оставила выписку у Мии, и та ее преобразила. Коснувшись фотографии, Лекси разглядела, что под весом камня прихотливая сеть раздувается, но не рвется. Тебе придется нести это с собой всю жизнь, сказала ей Мия, и Лекси впервые почувствовала, что, пожалуй, сможет.

Хоккейный нагрудник валяется на земле, треснул посередке, испещрен дырами. Мия взяла молоток и горсть кровельных гвоздей – загоняла гвозди в толстую белую пластмассу, точно стрелы, потом вынимала. Можно быть ранимым, ничего страшного, думала она всякий раз, пробивая дыру. Можно не торопиться и посмотреть, что вырастет. Нагрудник Трипа она наполнила землей и раскидала по ней семена и неделю терпеливо поливала, пока из каждой дырочки сквозь трещину не пробились зеленые вспышки: тоненькие щупальца, крошечные свернувшиеся листочки, что ползли вверх, к свету. Мягкая, хрупкая жизнь, что рождается в твердом панцире.

Стая миниатюрных бумажных птиц, что устремляются в полет, самая крупная – размером с ладонь, самая маленькая – с ноготь, и все тонко расчерчены тетрадными линейками. Сплин узнал их с первого взгляда, еще прежде, чем разглядел морщинки бумажной текстуры: страницы из блокнотика Пёрл, который он подарил, а потом забрал, и уничтожил, и смял, и выбросил. Мия разгладила страницы, но на птичьих крыльях по-прежнему рябили складки, точно ветер топорщил перья. Птицы были выложены на фотографии неба, как разбросанные лепестки, воспаряли прочь с шагреневого гравия к высокому, к лучшему. И ты тоже воспаришь, думала Мия, одну за другой раскладывая птиц по бумажным небесам.

Следующая фотография начала рождаться, когда Мия, подметая, нашла под комодом вставку в воротник рубашки мистера Ричардсона. Мия ее припрятала: у него было полно других, целая коробка на комод, он вставлял их в воротник каждый день, чтобы уголки были прямые. Снова и снова вертя в пальцах крошечную стальную полоску, Мия вспоминала научный опыт, который в детстве ставила на естествознании. Она терла такую вот вставку магнитом, а потом пускала плавать в миске с водой, и вставка крутилась туда и сюда, пока

медленно не выравнивалась, указывая на север. Долгая выдержка запечатлела пятно, похожее на галстук-бабочку, точно призрачные бабочкины крылья, затем яркую полоску вставки, что почуяла север и замерла. Мистер Ричардсон, глядя на серебристую стрелу – ровную, и мерцающую, и уверенную в туманной воде, – пощупал воротник и прикинул, в какую сторону света смотрит сам.

И последняя – и она всполошила миссис Ричардсон больше всех: бумажный силуэт птичьей клетки – разбитой, словно что-то очень мощное вырвалось оттуда на свободу. Приглядевшись, миссис Ричардсон различила, что клетка сделана из газеты. Мия бритвой аккуратно вырезала все слова – получились бреши между прутьями. Миссис Ричардсон не усомнилась, что это одна из ее статей, но поскольку все слова исчезли, никак не разобрать, которая из них – восхваление благотворительного сбора в пользу Центра природы, репортаж об открытии новой колоннады общественного центра, развитие проекта “Гражданская дружина”? Любая ее заметка – миссис Ричардсон старательно стряпала их годами, из них, вопреки ее намерениям, и сложилась львиная доля ее карьеры. Каждый треснувший прут грациозно изгибался наружу, точно лепесток хризантемы, а в центре пустой клетки лежало одинокое золотое перышко. Из этой клетки что-то сбежало. Что-то обрело крылья. Готовя эту фотографию, Мия не могла придумать для миссис Ричардсон лучшего пожелания.

Они не замечали, что одной фотографии не хватает, пока миссис Ричардсон не взяла последнюю и не обнаружила под ней стопку негативов. Смысл послания был ясен: Мия не станет продавать эти снимки; не станет ими делиться и не прибережет на будущее, рычагами давления. *Это ваше, словно говорила стопка, это вы. Делайте с ними что хотите.* На негативах были их портреты, перевернутые и зеркальные, все темное – светлое, все светлое – потемнело. Но нашелся негатив, что не совпал ни с одним отпечатком: Иззи забрала отпечаток накануне вечером, когда пришла в пустую квартиру и увидела, что Мия с Пёрл уехали, на прощанье оставив лишь конверт с фотографиями. Она сразу поняла, что это для нее: черная роза, упавшая на потрескавшийся квадрат тротуара, лепестки вырезаны из черной обувной кожи – ее любимых ботинок, в которых она чувствовала себя яростной, которые мать выбросила; наружные

лепестки – из потертых носов, внутренние лепестки темнее, из языка. Шнурок с обтрепанным наконечником вытянулся стеблем. Желтые фрагменты строчки, вынутой из ободка подошвы, сложились в тонкие тычинки сердцевины. Жесткость обернулась нежностью, даже красотой. Иззи сунула фотографию в сумку, а затем снова закрыла конверт, и выключила свет, и заперла за собой дверь. Ее родные, которым достался лишь негатив, увидели только крошечную инверсию снимка: бледный цветок, поблекший до лунной белизны на пасмурном ночном небе темно-серой плиты.

Лишь позднее, ближе к вечеру, мистер Ричардсон проверил голосовую почту на телефоне и узнал новости. На шуршащей записи Марк Маккалла так рыдал, что мистер Ричардсон толком не разбирал слова. Ночью и Марк, и Линда, измученные после вердикта, и пресс-конференции, и вообще этого прогона сквозь строй, уснули, как не спали месяцами: глубоко, без грез, не просыпаясь. Поутру они очнулись осовелые, опьяненные таким долгим отдыхом, миссис Маккалла глянула на часы на тумбочке и увидела, что уже половина одиннадцатого. Обычно Мирабелл будила их на рассвете, рыдала, требуя завтрак, новый подгузник, и, едва увидев красные цифры на часах, миссис Маккалла поняла, что дела очень плохи. Она выскочила из постели, кинулась в спальню Мирабелл, даже не надев шлепанцы и халат, и Марк Маккалла – который все пытался проморгаться в ярком утреннем свете – услышал, как она закричала. Кровать была пуста. Мирабелл исчезла.

Пройдут целые сутки, прежде чем полиция соберет улики и поймет, что произошло: отпертые раздвижные двери в задний патио – такой безопасный район, у нас ничего такого никогда не бывает; щеколда внутри и снаружи покрыта отпечатками пальцев. Прогул Биби на работе; пустая квартира Биби и, наконец, билет на имя Биби, на вчерашний рейс в Гуандун в 23:20. После этого, сказали супругам Маккалла, нет ни тени шанса ее выследить. Китай – большая страна, объяснил им инспектор без тени иронии. Биби уже долетела до Гуандуна, и кто знает, куда она подается дальше? Иголка в стоге сена. Вы все деньги спустите, ее выслеживая, сказали супругам Маккалла.

Почти год спустя – когда новый дом Ричардсонов почти достроили, когда Маккалла потратили не все свои деньги, но десятки тысяч долларов на детективов и дипломатические пререкания, особо

не добившись результатов, – миссис Маккалла и миссис Ричардсон обедали в “Сэффрон пэтч”. Они виделись в прошедшие бурные месяцы, как виделись десятилетиями взлетов и падений прежде и будут видеться на всевозможных пиках и в разнообразных долинах, что им предстоит.

– Мы с Марком подали заявку на усыновление ребенка из Китая, – сказала миссис Маккалла, положив курицу тикка масала на горку риса.

– Это прекрасно, – ответила миссис Ричардсон.

– Агент по усыновлению говорит, что мы идеальные кандидаты. Она считает, нам смогут подобрать подходящего ребенка в течение полугода. – Миссис Маккалла глотнула воды. – Говорит, если ребенок из Китая, шансы, что его семья попробует восстановить опеку, почти равны нулю.

Миссис Ричардсон наклонилась через стол и сжала руку старой подруги.

– Этому ребенку очень сильно повезет, – сказала она.

Вот что будет терзать миссис Маккалла больше всего: что Мирабелл не закричала, когда Биби наклонилась, и взяла ее, и унесла. Невзирая ни на что – невзирая на домашнюю еду, и игрушки, и дежурства допоздна, и любовь, столько любви, миссис Маккалла и вообразить не могла, что бывает столько любви, – невзирая на все это Мирабелл считала, что в объятиях Биби ей безопасно, что в объятиях Биби ей самое место. Этот следующий ребенок, говорила себе миссис Маккалла, будет из приюта и у него в жизни не будет другой матери. Эта девочка будет бесспорно принадлежать им. У миссис Маккалла уже кружилась голова от любви к этому еще не встреченному ребенку. Она старалась не думать о том, как Мирабелл, их потерянная дочь, где-то там проживает другую, чужеземную жизнь.

* * *

В тот последний вечер, когда Пёрл с лязгом швырнула в почтовый ящик ключи, и села в машину, и они уже отъезжали от дома Ричардсонов, она наконец вслух задала вопрос, что висел на кончике языка:

– А если бы эти фотографии тебя прославили? Нет, Мию прославят не они – прославит ее идея, что едва-едва замерцала в голове, когда Мия щелчком включила фары, – обрывок идеи, которая еще не срослась в образ, не говоря уж о словах. Вообще-то Ричардсоны так и не продадут эти снимки. Сберегут их, и фотографии останутся тревожными фамильными реликвиями, о которых позднейшие поколения будут гадать, наконец обнаружив и вскрыв эту пыльную коробку на чердаке: откуда взялись, кто их сделал, что они означают.

А пока Мия включила первую передачу.

– Тогда я была бы должна им гораздо, гораздо больше, нежели цена этих фотографий.

“Кролики” обогнул утиный пруд, пересек Ван Эйкен и трамвайные пути, покатыл к Уорренсвилл-роуд, а оттуда они выедут на шоссе, прочь из Кливленда и дальше.

– Я бы хотела попрощаться.

Пёрл думала о Сплине, о Лекси и Трипе, о ниточках, что по-прежнему, хоть и по-разному, связывали ее с каждым из них. За многие годы, на протяжении всей жизни она не раз попытается распутать эти ниточки и всякий раз будет обнаруживать, что они безнадежно перепутались.

– И Иззи. Хорошо бы в последний раз ее повидать. Мия помолчала – она тоже думала про Иззи.

– Бедная Иззи, – сказала она в конце концов. – Она так оттуда рвется.

Бешеными золотистыми петлями в голове у Пёрл складывалась идея.

– Можно вернуться и ее забрать. Я залезу на крышу заднего крыльца, постучусь к ней в окно и...

– Милая моя, – сказала Мия. – Иззи всего пятнадцать. Насчет таких штук имеются законы.

Но когда машина помчалась по Уорренсвилл-роуд к Ай-480, Мия ненадолго позволила себе пофантазировать. Они будут ехать по двухполосной дороге, по какому-нибудь захолустному шоссе из тех, что она предпочитала, – из тех, что змеятся сквозь маленькие городки, состоящие из магазина, кафе и бензоколонки. Они будут ехать, а пыль – вздыматься клубами, как золотые облака. Они обогнут

дорожную излучину и в этой золотой дымке различат на обочине темную фигуру, что поднимает руку, выставив большой палец. Мия притормозит, и когда пыль уляжется, первым делом они разглядят ее волосы – облако золота на золоте, опознают эти одичалые волосы, эту золотую одичалость, еще прежде, чем узнают ее лицо, еще прежде, чем остановятся, и настежь распахнут дверцу, и ее впустят.

* * *

В субботу утром, когда Мия и Пёрл пересекали границу Айовы, Иззи – чьи волосы еще пахивали дымом – забралась в “грейхаунд” до Питтсбурга. На другом конце города ее семья как раз собиралась на берегу утинового пруда и смотрела, как пожарные костер за костром тушат дом Ричардсонов. В заднем кармане у Иззи лежала бумажка с адресом из материных записей, которые она пролистала в ночи накануне, уже сложив вещи в сумку. *Джордж и Реджина Райт. Бетел-Парк, Пенсильвания.* Номер телефона тоже был, но Иззи понимала, что по телефону требуемых ответов не добьется. В папке у матери на столе – опрятно помеченной “М. У.” материнским аккуратным почерком – было очень много чего, и Иззи все прочла, сидя под лампой в материнском офисном кресле, пока все спокойно спали себе наверху. Под адресом Райтов она записала другой: *Анита Риз, “Галерея Риз”.* Где-то в Нью-Йорке. Мия – это Иззи знала – начинала там, когда была немногим старше Иззи. Интересно, каково это.

Может, кто-нибудь из них поможет ей отыскать Мию там, куда она едет. Может, отошлют Иззи обратно к родителям. А если отошлют? Она уедет снова. Она будет уезжать снова и снова, пока не повзрослеет, и тогда никто не сможет отослать ее назад. Она будет искать, пока не найдет. Ее манил Питтсбург, а за ним и Нью-Йорк: прошлое Мии, но будущее Иззи. Они как-нибудь приведут ее к Мие.

Устроившись на сиденье и привалившись головой к окну, она вообразала, как это произойдет. Сначала она заметит Мию со спины – но, конечно, мгновенно узнает. Иззи знала ее очертания, как силуэт, что обводила снова и снова, пока не выучила наизусть. Она отыщет

Мию, и Мия обернется, и раскинет руки, и обнимет Иззи, и возьмет с собой, куда бы ни направилась дальше.

* * *

В ту первую ночь, впервые ложась спать в доме на Уинслоу, миссис Ричардсон думала – и будет думать еще очень долго – о своем младшем ребенке. Шумы в доме были чужие – гудел холодильник, слабо урчал обогреватель внизу, скрипела ветка, что терлась о шиферную крышу, – и миссис Ричардсон встала, и вышла, и села на ступеньках двухквартирного домика, плотно закутавшись в халат. Цементное крылечко под ногами было прохладно и влажновато, словно только что отступил туман.

Весь день миссис Ричардсон ярилась на Иззи, про себя и вслух. Неблагодарный ребенок, говорила она. Как она могла. Уж миссис Ричардсон ей покажет, когда найдет. Она будет наказана до конца дней своих. Отправится в пансион. В военное училище. В монастырь. Миссис Ричардсон отчасти подумывала предоставить Иззи полиции: пускай за решеткой постигает, что такое последствия твоих поступков. Муж и дети, привычные к ее вспышкам гнева на Иззи, тихонько кивали, не мешали разглагольствовать. Но на сей раз все было иначе. На сей раз Иззи перешла все границы, а теперь – и это постепенно доходило до всех членов семьи – может и вовсе не вернуться.

Полиция, естественно, ищет; разослали оповещения – мол, ребенок сбежал, возможно, в опасности, – и в ближайшие дни миссис Ричардсон выдаст им фотографии для объявлений и плакатов, одного за другим разыщет друзей и одноклассников Иззи, будет вычислять подсказки – куда она могла деться. Но те, кто мог знать, сообразит она, уже уехали. По улице в оба конца все дома похожи друг на друга – но внутри живут люди, и кто-то счастлив, а кто-то прячется, а кто-то собирается с духом, чтобы выйти к миру, ищет лучшего. За этими дверями разворачивается столько жизней, и она их никогда не познает.

Почти подступила полночь, и по Уинслоу, включив фары дальнего света, шмыгнула машина, будто спешила по важному делу, и исчезла в темноте. Соседи, наверное, считают, что я чокнутая, подумала миссис Ричардсон, – сижу на крыльце в темноте; но в кои веки ей было все

равно. Злость, которую она копила весь день, перегорела, как с приходом вечера сгорает жар послеполуденного солнца, и осталась лишь одна мысль, холодная, и ясная, и пронзительная, как звезда: Иззи нет. Все, что бесило ее в Иззи еще прежде, чем та сделала первый вдох, прорастало из этого единственного страха – страха ее потерять. А теперь миссис Ричардсон ее потеряла. Тихий вой вырвался у нее из горла, режущий, как лезвие ножа.

Впервые сердце ее шло трещинами при мысли о том, что ее ребенок неведомо где в этом мире. Иззи – дитя, что причинило миссис Ричардсон столько хлопот, что так беспокоило ее, дергало ее и заставляло дергаться, чья неутомимая энергия в конце концов погнала ее прочь. Это дитя, которое миссис Ричардсон считала своей противоположностью, на самом деле в глубине нутра унаследовало, пронесло и раздуло искру, которую мать давным-давно затоптала, – пылающую убежденность в том, что разница между добром и злом кристально ясна. Миссис Ричардсон подумала – как нередко будет думать годами – про фотографию с одиноким золотым пером: это ее портрет или ее дочери? Она птица, что рвется на свободу, – или она клетка?

Полиция найдет Иззи, сказала себе миссис Ричардсон. Иззи найдут, и я смогу все исправить. Она толком не знала как, но свято верила, что исправит. А если полиция не найдет Иззи? Тогда миссис Ричардсон будет искать сама. Сколько придется – вечно, если потребуется. Возможно, минуют годы, обе они изменятся, но миссис Ричардсон была уверена, что все равно узнает своего ребенка как себя саму, сколько бы времени ни прошло. Тут сомнений нет. Месяцы, годы, весь остаток жизни она будет искать свою дочь, будет заглядывать в лицо всякой встречной молодой женщине, сколько придется, – в лицах незнакомцев ловить знакомую искру.

Благодарности

В рекламном турне после выхода “Всё, чего я не сказала” кто-то из зала спросил: “Если посчитать, вы в «Благодарностях» сказали спасибо шестидесяти пяти разным людям – почему столько?” Я объяснила, что хотя на обложке значится только мое имя, по ходу дела мне помогли очень-очень многие и без них не было бы этой книги. Во второй заход это тем более правдиво.

Как обычно, спасибо вам, моя суперагент Джули Бэрер и все в *The Book Group* – я так признательна, что меня приняли в Племя Бэрер. Благодаря мастерскому наставничеству моего хладнокровного редактора Вирджинии Смит Юнс, эта книга стала лучше и богаче, а Джейн Каволина с величайшим терпением выправляла мою хронологию и курсивы. Джулиана Киян, Энн Бэдмен, Сара Хатсон, Мэттью Бойд, Скотт Мойерс, Энн Годофф, Кэтрин Корт, Патрик Нолан, Мэделин Макинтош и вся команда в *Penguin Press* и *Penguin Books* проделали фантастическую работу, выводя эту книгу в мир, – спасибо вам за то, что снова прикрывали мне спину.

Мой верный писательский клуб *The Chunky Monkeys* (Чип Чик, Калвин Хенник, Дженнифер Делеон, Соня Ларсон, Александрия Мардзано-Лесневич, Уитни Шэрер, Адам Стумахер, Грейс Талюсан и Бекки Тук) были этой книге первыми читателями; их чирлидерство помогло мне закончить, а наши ветки в переписке больше походили на спасательные тросы. Айлет Эмитти, Энн Стамешкин и моя компания в магистратуре изящных искусств: как водится, вы торите путь. Джес Хейберли и Дэниэлла Лазарин, посылаю вам фургон пончиков. А мои друзья, которые не писатели, помогли мне сохранить здравость рассудка и не съехать с рельсов на этом безумном аттракционе; в частности, мне самой не верится, что Кейти Кэмбл, Саманта Цзинь и Энни Сью по сей день меня терпят.

Огромная благодарность моим читателям – и этого романа, и первого. Тем, кто писал мне письма, электронные и бумажные, передавал записки на чтениях или болтал со мной за раздачей автографов, – спасибо. Не могу описать, как я вам признательна. Огромное спасибо и моим друзьям в *Twitter*: каждый день вы

напоминаете мне о том, до чего остроумными, веселыми и добрыми бывают люди.

И наконец, последнее и самое большое спасибо моей семье. Лили и Ивонн Инг поощряли мою привычку к писательству с первых дней; я бы не оказалась здесь без вас – и фигурально, и буквально. Мой муж Мэтт задолго до меня уверился, что писательство – моя работа, и твердил об этом мне. Спасибо тебе за все, что ты делаешь. И моему сыну, по-прежнему лучшему моему творению: *это еще одна заповедь*, но я стараюсь изо всех сил.

notes

СНОСКИ

1

Оркестр американского дирижера Мейера Дэвиса (1895–1976) – американская франшиза популярных танцевальных оркестров, выступавших по всей стране на более или менее официальных и семейных мероприятиях, в крупных отелях и т. д. – *Здесь и далее примеч. перев. Переводчик благодарит за поддержку Бориса Грызунова.*

2

“Огненные шары” (*Great Balls of Fire*, 1957) – песня Отиса Блэкуэлла и Джека Хэммера, впервые записанная Джерри Ли Льюисом в 1957 г., классическая рок-н-рольная композиция. “Эй, Джуд” (*Hey Jude*, 1968) – баллада *The Beatles*, написанная Полом Маккартни (формально – Джоном Ленноном и Полом Маккартни).

3

“Простые дары” (*Simple Gifts*, 1848) – религиозный гимн, написанный старейшиной шейкеров Джозефом Брэккеттом.

Нидерландский художник и скульптор Виллем де Кунинг (1904–1997) и его жена, американская художница и арт-критик Элен де Кунинг (Элен Мария Фрид, 1918–1989) – ключевые фигуры абстрактного экспрессионизма второй половины XX в., представители нью-йоркской школы. Энди Уорхол (Эндрю Уорхола, 1928–1987) – американский художник, антрепренер, кинематографист, продюсер, издатель, ведущий представитель и один из идеологов движения поп-арта. Джорджия Тотто О'Кифф (1887–1986) – американская художница, “мать американского модернизма”.

5

“Кливлендские индейцы” (*Cleveland Indians*, с 1901) – кливлендская профессиональная бейсбольная команда Главной лиги.

6

“Кливлендские кавалеры” (*Cleveland Cavaliers*, с 1970) – кливлендская профессиональная баскетбольная команда Национальной баскетбольной лиги.

Миссис Кэрол Брейди – персонаж ситкома компании ABC “Семейка Брейди” (*The Brady Bunch*, 1969–1974), созданного американским телепродюсером Шервудом Шварцем, о семье, состоящей из отца с тремя сыновьями и матери с тремя дочерьми; миссис Брейди сыграла Флоренс Хендерсон. Миссис Элиз Китон – персонаж ситкома компании ABC “Семейные узы” (*Family Ties*, 1982–1989) американского телепродюсера Гэри Дэвида Голдберга, мать троих детей, бывшая хиппи; ее роль сыграла Мередит Бакстер.

8

Дженет Вуд Рино (1938–2016) – генеральный прокурор США (1993–2001) при президенте Билле Клинтоне, первая женщина, занимавшая этот пост.

9

“Гинденбург” – крупнейший на момент постройки (1936) дирижабль, загоревшийся и взорвавшийся при посадке 6 мая 1937 г. на авиабазе Лейкхёрст в Манчестер-Тауншип, штат Нью-Джерси, по прилете из Германии; катастрофа стала началом упадка и конца эры дирижаблей. Горящий “Гинденбург” изображен на обложке первого альбома *Led Zeppelin*.

10

Обман зрения (*фр.*), техника изображения псевдообъемных объектов.

Сэр Микс-а-Лот (Sir Mix-a-Lot, Энтони Рэй, р. 1963) – американский рэпер и музыкальный продюсер. “Смэшинг Пампкинз” (*The Smashing Pumpkins*, с 1988) – американская альтернативная рок-группа из Чикаго. “Спайс Гёрлз” (*Spice Girls*, 1994–2000) – английская девичья поп-группа, невероятно популярная по всему миру во второй половине 1990-х.

12

Килрой – персонаж граффити, популярного в 1940–50-х гг. в англоязычных странах, выглядывающий из-за стены носатый и лысый человек.

13

Маргарет Мид (1901–1978) – американский антрополог, этнопсихолог, изучала отношения между различными возрастными группами в традиционных обществах.

Эдуар-Виктуар-Антуан Лало (1823–1892) – французский композитор; его “Испанская симфония ре-минор” (*Symphonie espagnole*, 1874) входит в стандартный репертуар для скрипки с оркестром.

“Дилия” (*Delia's Inc.*, с 1994) – американская компания, по каталогам (а затем через интернет) продающая одежду и аксессуары для девочек – детей и подростков.

“Ти-Эл-Си” (*TLC*, 1990–2005) – американская девичья R&B-группа.

Клифф и Клэр Хакстембл – персонажи ситкома компании NBC “Шоу Косби” (*The Cosby Show*, 1984–1992), созданного американским комиком Биллом Косби, врач и адвокат соответственно, сыгранные Биллом Косби и Филишей Рашад.

“Элоиза” (*Eloise*, 1955–1959, 2002) – серия детских книг американской писательницы и музыканта Кей Томпсон с иллюстрациями Хилари Найт про девочку, которая живет в “Плазателе” в Нью-Йорке с няней, собакой и черепахой; по одной из версий, персонаж был вдохновлен Лайзой Миннелли.

19

Обязателен (*фр.*).

В пародийной кинотрилогии Джея Роуча про супершпиона Остина Пауэрса (1997, 1999, 2002) с Майком Майерсом в нескольких ролях фемботы – гиперсексуальные роботы, разработанные как оружие против главного героя, блондинки с дулами пистолетов, торчащими из сосков.

Пафф Дэдди (Puff Daddy, Шон Джон Комз, р. 1969) – американский рэпер, актер и продюсер. Мейс (Mase, Мейсон Дрелл Бета, р. 1975) – американский рэпер, автор песен, затем священник и проповедник; в 1996–1999 гг. записывался на студии Комза *Bad Boy Records*.

Бигги (The Notorious B. I. G., Кристофер Джордж Латор Уоллес, 1972–1997) – американский рэпер, одна из крупнейших звезд жанра.

“Бойз ту Мен” (*Boyz II Men*, с 1985) – американская вокальная R&B-группа.

Диего Ривера (1886–1957) – мексиканский художник-муралист левого толка; в 1934 г. из-за фрески “Человек на перепутье” (*Man at the Crossroads*), заказанной Ривере для Рокфеллер-центра, разразился скандал, поскольку на ней он изобразил Ленина и парад на Первое мая.

Дороти Хэмилл (р. 1956) – американская фигуристка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира 1976 г.; стрижку, которую она носила в 1976 г., придумал стилист Юсукэ Суга, и некоторое время она была очень модной.

Цитаты из первого опубликованного стихотворения англо-американского поэта Томаса Стёрнса Элиота (1888–1965) “Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока” (*The Love Song of J. Alfred Prufrock*, 1915); пер. А. Сергеева.

“И еще одна заповедь” (*This Be The Verse*, 1971) – стихотворение английского поэта и писателя Филипа Артура Ларкина (1922–1985); пер. А. Нестерова. Иззи успела продекламировать только первую строку.

Синди Шерман (Синтия Моррис Шерман, р. 1954) – американская художница и концептуальный фотограф.

29

Положение обязывает (*фр.*).

Нелли Блай (Элизабет Кокрэн Симен, 1864–1922) – американская журналистка, писательница, изобретательница и филантроп, одна из родоначальниц жанра расследовательской журналистики; в 1887 г. провела 10 дней в женской психиатрической больнице пациенткой, расследуя условия содержания в заведении; в 1889 г. совершила кругосветное путешествие за 72 дня, вдохновляясь романом Жюль Верна “Вокруг света за 80 дней”. Лоис Лейн – персонаж комиксов Джерри Сигела и Джо Шустера про Супермена, ушлая журналистка, возлюбленная главного героя, которая (в классический период) систематически пытается его разоблачить и/или женить на себе.

31

Быт. 2:23.

Долли Ребекка Партон (р. 1946) – американская кантри-певица, музыкант, автор песен и музыкальный продюсер, актриса, светская львица, большая поклонница пластической хирургии и прочих техник усовершенствования внешности.

“Зеленые просторы” (*Green Acres*, 1965–1971) – ситком американского продюсера Джея Соммерса о семейной паре, из глубинки переехавшей в Нью-Йорк.

Тропа Свободы – бостонский экскурсионный маршрут по 16 достопримечательностям истории США.

Пол Ревир (Пол Ривьер, 1734–1818) – американский промышленник, серебряных дел мастер и гравёр, герой Войны за независимость США, один из организаторов Бостонского чаепития; известен также тем, что накануне сражений при Лексингтоне и Конкорде, в ночь с 18 на 19 апреля 1775 г., предупредил повстанцев о приближении британских войск; бостонский дом Пола Ревира – одна из достопримечательностей Тропы Свободы.

Государственными секретарями в администрации 25-го президента США (1897–1901) Уильяма Маккинли (1843–1901) служили два выходца из Огайо: Джон Шерман в 1897–1898 гг. и Уильям Р. Дей в 1898 г.

“Песнь Юга” (*Song of the South*, 1946) – музыкальный игровой и анимационный фильм Уолта Диснея по мотивам “Сказок дядюшки Римуса” Джоэля Чандлера Харриса. “Анна и король Сиам” (*Anna and the King of Siam*, 1946) – драма Джона Кромвелла по мотивам одноименного романа Маргарет Лэндон (1944), основанного, в свою очередь, на дневниках (1870) Анны Леонуэнс, гувернантки при дворе сиамского короля.

“Браун против Совета по образованию” (1954) – групповой иск, поданный родителями детей-афроамериканцев в Топике, штат Канзас, и в итоге рассмотренный в Верховном суде США; 17 мая 1954 г. судьи Верховного суда единогласно признали существование отдельных школ для белых и для афроамериканцев неконституционным, что в итоге привело к отмене сегрегации.

Бойкот автобусов в Монтгомери (1955–1956) – успешная годовичная кампания протеста против сегрегации в общественном транспорте в столице штата Алабама, начавшаяся после ареста афроамериканки Розы Паркс, которая в автобусе отказалась уступить место белому, 5 декабря 1955 г.; в кампании участвовали многие борцы за права афроамериканцев, в том числе Мартин Лютер Кинг-мл.

Девятеро из Литтл-Рок – группа из девяти афроамериканских старшекласников, поступивших во все еще сегрегированную Центральную среднюю школу Литтл-Рок в 1957 г., куда им поначалу запрещали заходить – по указанию губернатора Арканзаса школу охраняла Национальная гвардия штата; школьников допустили к занятиям после вмешательства президента Дуайта Д. Эйзенхауэра.

Марш на Вашингтон за рабочие места и свободу 28 августа 1963 г. – акция протеста в защиту прав афроамериканцев, в которой участвовало от 200 до 300 тысяч человек; на этом марше Мартин Лютер Кинг-мл. произнес речь “У меня есть мечта”.

Баптистский священник, борец за права афроамериканцев, гражданский активист Мартин Лютер Кинг-мл. был убит 4 апреля 1968 г.; американский политик, младший брат президента Джона Ф. Кеннеди, генеральный прокурор США (1961–1964) и сенатор от штата Нью-Йорк (1965–1968), ключевая фигура американского политического либерализма 1960-х Роберт Фрэнсис Кеннеди – убит 6 июня 1968 г.

Теодор Джон Казински, он же Унабомбер (р. 1942), – американский математик, анархист, неолуддит, террорист; рассылал бомбы по почте в знак протеста против ограничения человеческих свобод; был задержан в 1996 г., а в 1998 г. осужден к пожизненному заключению.

Мэн Рэй (Эммануэль Радницкий, 1890–1976) – американский художник и фотограф, связанный с дадаизмом и сюрреализмом, классик фотографии; имеется в виду его работа “Скрипка Энгра” (*Le Violon d'Ingres*, 1924).

Энсел Истон Адамс (1902–1984) – американский фотограф и натуралист. На экране его фотография “Гора Маккинли и озеро Уандер” (*Mount McKinley and Wonder Lake*, 1947), снятая в национальном парке Денали на Аляске.

Пыльная Лоханка – период пыльных бурь в 1930–1936 гг., совпавший с периодом Великой депрессии и усугубивший и без того тяжелое положение жителей района прерий. Доротея Ланж (1895–1965) – американская фотожурналистка, фотограф-документалист, в годы Великой депрессии работала на Администрацию по защите фермеров; очевидно, студентам показывают ее классическую работу “Мать-переселенка” (*Migrant Mother*, 1936), портрет уроженки Оклахомы Флоренс Оуэнс Томпсон, сделанный в лагере поденных рабочих в Калифорнии.

Элизабет Бишоп (1911–1979) – американский поэт и прозаик, лауреат Пулитцеровской премии 1956 г. и Национальной книжной премии 1970 г., крупная фигура поэзии XX в. Энн Секстон (1928–1974) – американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии 1967 г., автор глубоко исповедальной лирики. Эдриэнн Сесиль Рич (1929–2012) – американский поэт, публицист, известная феминистка.

Имеется в виду работа Пабло Пикассо “Треуголка” (*Le Tricorne*, 1919), написанная на театральном занавесе для одноименного балета Мануэля де Фальи в постановке Русского балета Дягилева; в ресторане “Времена года” (*Four Seasons*) работа находилась в 1959–2015 гг.

Упомянуты две нью-йоркские профессиональные бейсбольные команды, входящие в Главную лигу бейсбола, “Нью-Йорк Метс” (*New York Mets*, с 1962, Куинз) и “Нью-Йорк Янкиз” (*New York Yankees*, с 1913, Бронкс).

“Алая буква” (*The Scarlet Letter: A Romance*, 1850) – роман Натаниэля Готорна о пуританах колонии Массачусетского залива; главная героиня романа рождает дочь Пёрл от любовника, чье имя упрямо скрывает, наказана, клеймена на всю жизнь и в какой-то момент рискует потерять дочь.

51

По Фаренгейту; $-0,6$ и -8° по Цельсию соответственно.

“Доброй ночи, луна” (*Goodnight Moon*, 1947) – детская книга Маргарет Уайз Браун с иллюстрациями Клементы Хёрда. “Погладь кролика” (*Pat the Bunny*, 1940) – детская книга-игрушка Дороти Кунхардт с разными предметами, которые можно трогать (мех, наждачная бумага и т. д.). “Маделин” (*Madeline*, 1939–1985) – серия детских книг Людвига Бемельманса про 7-летнюю девочку, которая учится в парижском пансионе; с 1999 г. серию продолжает внук автора Джон Бемельманс Марсиано.

“Черника для Сэл” (*Blueberries for Sal*, 1948) – иллюстрированная детская книжка Роберта Маккроски про мать с дочерью и медведицу с медвежонком, которые собирают чернику на одном холме.

“Пять китайских братьев” (*The Five Chinese Brothers*, 1938) – детская книга американской писательницы Клэр Юше Бишоп с иллюстрациями Курта Визе; в оригинальной китайской сказке братьев было десять.

Лонг Дак Донг – персонаж комедии Джона Хьюза “Шестнадцать свечей” (*Sixteen Candles*, 1984), китайский студент, приехавший по обмену; его роль сыграл этнический японец Гэддэ (Гэри) Ватанабэ.

“Дэйв Мэттьюз Бэнд” (*Dave Matthews Band*, с 1991) – вирджинская группа на стыке рока, джаза и фанка, выпустившая 7 платиновых альбомов. Брайан Гай Адамс (р. 1959) – канадская поп-звезда, певец, гитарист, автор песен, музыкальный продюсер и филантроп.

“Фуджиз” (*Fugees*, 1990–1997) – американская хип-хоп-группа, популярная в 1990-х.

“Не хочу ничего упустить” (*I Don't Want to Miss a Thing*, 1998) – рок-баллада группы *Aerosmith*; вообще-то стала известна широкой публике по саундтреку фильма “Армагеддон”, появившегося на экранах только 1 июля 1998 г., а синглом вышла 18 августа.

“Столкновение с бездной” (*Deep Impact*, 1998) – научно-фантастический фильм-катастрофа американского режиссера Мими Ледер, вышел в прокат 8 мая 1998 г.

“Майти Майти Босстонз” (*The Mighty Mighty Bosstones*, 1983–2003) – бостонская ска-панк-группа; считаются одними из родоначальников жанра ска-панк.

Рики Пэмела Лейк (р. 1968) – американская актриса, ведущая светского ток-шоу “Рики Лейк” (*Ricki Lake*, 1993–2004).

Table of Contents

[Селеста Инг И повсюду тлеют пожары](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[Благодарности](#)

[Сноски](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)
[13](#)
[14](#)
[15](#)
[16](#)
[17](#)
[18](#)
[19](#)
[20](#)
[21](#)
[22](#)
[23](#)
[24](#)
[25](#)
[26](#)
[27](#)
[28](#)
[29](#)
[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)

[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)

